

ISSN 2686-7494

Два века

РУССКОЙ
ИМИТАЦИИ

ISSN 2686-7494

ISSN 2686-7494

Два века **Two centuries**
русской классики **of the Russian classics**
[Dva veka russkoi klassiki]

Научный журнал Academic Journal
Выходит с 2019 года Is published since 2019

2021 Том 3 № 1 2021 Volume 3 No. 1

Учредитель и издатель: Founder and publisher:
Институт A. M. Gorky
мировой литературы Institute
им. А.М. Горького of World Literature
Российской of the Russian
академии наук Academy of Science

Два века
РУССКОЙ
КЛАССИКИ

Редакционная коллегия журнала «Два века русской классики»



Главный редактор

Щербакова Марина Ивановна (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия)

Заместитель главного редактора

Виноградов Игорь Алексеевич (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия)

Ответственный секретарь

Андреева Валерия Геннадьевна (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия)

Редакционная коллегия

Гулин Александр Вадимович (Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук, г. Москва, Россия), Гуминский Виктор Мирославович
(Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук,
г. Москва, Россия), Ивинский Александр Дмитриевич (Институт мировой литературы
им. А. М. Горького Российской академии наук, г. Москва, Россия), Троицкий Всеволод
Юрьевич (Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук,
г. Москва, Россия), Воропаев Владимир Алексеевич (Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия), Генералова Наталья Петровна
(Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, г. Санкт-
Петербург, Россия), Захаров Владимир Николаевич (Петрозаводский государственный
университет, г. Петрозаводск, Российский фонд фундаментальных исследований,
г. Москва, Россия), Коровин Владимир Леонидович (Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия), Лебедев Юрий Владимирович
(Костромской государственный университет, г. Кострома, Россия), Михайлова Наталья
Ивановна (Государственный музей А. С. Пушкина, г. Москва, Россия), Мосалева Галина
Владимировна (Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия), Николаева
Евгения Васильевна (Московский педагогический государственный университет, г. Москва,
Россия), Николаева Светлана Юрьевна (Тверской государственный университет, г. Тверь,
Россия), Федоров Алексей Владимирович (издательство «Русское слово», г. Москва, Россия),
Чернышева Елена Геннадьевна (Московский педагогический государственный университет,
г. Москва, Россия)

Международный редакционный совет

Авидзба Василий Шамониевич (научно-исследовательский центр «Абхазская
энциклопедия», г. Сухум, Абхазия), Гини Джузеппе (Университет им. Карло Бо, г. Урбино,
Италия), Донсков Андрей Александрович (Славянская исследовательская группа при
университете Оттавы, г. Оттава, Канада), Кваццц Антонелла (Университет им. Карло Бо,
г. Урбино, Италия), Луцевич Людмила Федоровна (Варшавский университет,
г. Варшава, Польша), Михед Павел Владимирович (Институт литературы им. Т. Шевченко
Национальной академии наук Украины, г. Киев, Украина), Олджай Тюркан (Стамбульский
университет, г. Стамбул, Турция), Пиотровска Иоанна (Варшавский университет, г. Варшава,
Польша), Саверченко Иван Васильевич («Институт литературоведения им. Янки Купалы»
Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Беларусь), Рафаэль Гусман Тирадо
(г. Гранада, Испания)

The editorial board of the journal “Two centuries of the Russian classics”



Editor-in-Chief

Marina I. Shcherbakova (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Deputy Editor-in-Chief

Igor' A. Vinogradov (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Managing Editor

Valeria G. Andreeva (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)

Editorial Board

- Alexander V. Gulin (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Victor M. Guminsky (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Alexander D. Ivinsky (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Vsevolod Yu. Troitsky (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia),
Vladimir A. Voropayev (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia),
Natalya P. Generalova (Institute of Russian Literature (The Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia),
Vladimir N. Zakharov (Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russian Foundation for Basic Research, Moscow, Russia),
Vladimir L. Korovin (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia),
Yuriy V. Lebedev (Kostroma State University, Kostroma, Russia),
Natalya I. Mikhaylova (State Museum of A. S. Pushkin, Moscow, Russia),
Galina V. Mosaleva (Udmurt State University, Izhevsk, Russia),
Evgenia V. Nikolaeva (Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia),
Svetlana Yu. Nikolaeva (Tver State University, Tver, Russia),
Alexey V. Fedorov (Russian Word publishing house, Moscow, Russia),
Elena G. Chernysheva (Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia)

International Editorial Council

- Vasily Sh. Avidzba (Abkhazian Encyclopedia Research center, Sukhum, Abkhazia),
Giuseppe Genya (University of Carlo Bo, Urbino, Italy),
Andrey A. Donskov (Slavic Research Group at the University of Ottawa, Ottawa, Canada),
Antonella Kavazza (University of Carlo Bo, Urbino, Italy),
Lyudmila F Lutsevich (Warsaw University, Warsaw, Poland),
Pavel V. Mikhed (Institute of literature of T. Shevchenko of National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine),
Oldzhay Tyurkan (Istanbul University, Istanbul, Turkey),
Ioann Piotrovsk (Warsaw University, Warsaw, Poland),
Ivan V. Saverchenko (Institute of Literary Criticism of Janka Kupala of National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus),
Raphael G. Tirado (Granada, Spain)

Содержание

Русская литература XVIII и XIX столетий

- 6 **Поляков И. А., Смирнова М. А.** «Записки разных годов» московского купца Петра Пороховщикова: семейный летописец в историческом сборнике второй половины XVIII в.
- 24 **Ратников А. Н.** Суворовский цикл од в батальной лирике Г. Р. Державина
- 40 **Виноградов И. А.** Художник и власть. Н. В. Гоголь и цензурная политика XIX–XX вв.
- 112 **Ненарокова М. Р.** The Epigraph to “Forest and Steppe” by Ivan Turgenev: Conveying the “Emblematic” Worldview in the Tradition of Translation
- 134 **Мельник В. И. И. А.** Гончаров и философия науки его времени (проблема науки и религии)
- 160 **Андреева В. Г.** Героини романов Л. Н. Толстого и «одуряющее свойство» светского существования
- 210 **Котельников В. А.** Иоанн Дамаскин и эстетический идеал А. К. Толстого

Текстология

- 224 **Михайлова Е. А.** Петр I и Петровская эпоха в «Разговорах в царстве мертвых» (по материалам Отдела рукописей Российской национальной библиотеки)
- 244 **Сизова И. И.** Проблема критики текста рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и Бог»
- 262 **Щербакова М. И.** Корреспондент святителя Феофана «г-жа NN»

Научная жизнь

- 284 **Яковенко Н. В.** A Textbook Pointing the Way to the Russian Classics
- 294 **Федотова А. А.** Опять «против течений»: новая зарубежная монография о Н. С. Лескове

Contents

Russian Literature 18th–19th Centuries

- 6 **Ivan A. Poliakov, Maria A. Smirnova.** The “Notes of Different Years” of the Moscow Merchant Pyotr Porokhovshchikov: a Family Chronicler in a Historical Miscellanea of the Second Half of the 18th Century
- 24 **Alexander N. Ratnikov.** Suvorov Cycle of Odes in the Battle Lyrics of Gavriil Derzhavin
- 40 **Igor’ A. Vinogradov.** Artist and Authorities. Nikolay Gogol and the Censorship Policy of the 19th–20th Centuries
- 112 **Maria R. Nenarokova.** The Epigraph to “Forest and Steppe” by Ivan Turgenev: Conveying the “Emblematic” Worldview in the Tradition of Translation
- 134 **Vladimir I. Melnik.** Ivan Goncharov and the Philosophy of Science of His Time (Issue of Science and Religion)
- 160 **Valeria G. Andreeva.** Heroines of Leo Tolstoy’s Novels and the “Stupefying Character” of Secular Existence
- 210 **Vladimir A. Kotelnikov.** John Damascene and the aesthetic ideal of Aleksey Tolstoy

Textual Criticism

- 224 **Elena A. Mikhailova.** Peter I and the Peter’s Era in “Dialogues of the Dead” (Based on Materials from the Manuscript Department of The National Library of Russia)
- 244 **Irina I. Sizova.** The Issue of Criticizing the Text of the Short Story “Where Love Is, There God Is Also” by Leo Tolstoy
- 262 **Marina I. Shcherbakova.** “Mrs. NN”, Correspondent of St. Theophan

Scientific Life

- 284 **Natalya V. Yakovenko.** A Textbook Pointing the Way to the Russian Classics
- 294 **Anna A. Fedotova.** Again “Against the Currents”: New Foreign Monograph about Nikolay Leskov

© 2021. И. А. Поляков, М. А. Смирнова
Российская национальная библиотека
г. Санкт-Петербург, Россия

**«Записки разных годов» московского купца Петра Пороховщикова:
фамильный летописец в историческом сборнике
второй половины XVIII в.**

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-39-70005*

Аннотация: Статья посвящена обнаруженному в составе собрания А. А. Титова в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки фамильному летописцу московских купцов Пороховщиковых. Рукописные «Записки» находятся на последних листах исторического сборника второй половины XVIII в. Погодные записки велись с 1753 по 1803 гг. сначала Петром Исаевичем, а затем его сыном Андреем Петровичем Пороховщикоными. В статье прослежена история создания «Записок», сделаны наблюдения о традиции ведения подобных летописцев в купеческой среде второй половины XVIII – начала XIX вв. в целом и в роду Пороховщиковых в частности. Авторами статьи проведено исследование об отражении «социальных кругов» автора в тексте памятника. По их мнению, «Записки» купцов Пороховщиковых являются не только важным автобиографическим памятником, но и ценным источником по истории купечества второй половины XVIII в. Настоящая статья предваряет комментированное издание памятника, которое будет опубликовано в следующем номере журнала.

Ключевые слова: автобиографический жанр, рукописная культура, купечество, фамильные летописцы, записные книжки.

Информация об авторах:

Иван Анатольевич Поляков, Российская национальная библиотека, ул. Садовая, д. 18, 191069 г. Санкт-Петербург, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2790-1891>
E-mail: ivan669@bk.ru

Мария Александровна Смирнова, кандидат исторических наук, Российская национальная библиотека, ул. Садовая, д. 18, 191069 г. Санкт-Петербург, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9756-2699>

E-mail: smirnmarg@gmail.com

Дата поступления: 06.11.2020

Дата одобрения статьи рецензентами: 13.01.2021

Дата публикации статьи: 22.03.2021

Для цитирования: Поляков И. А., Смирнова М. А. «Записки разных годов» московского купца Петра Пороховщикова: фамильный летописец в историческом сборнике второй половины XVIII в. // Два века русской классики. 2021. Т. 3, № 1. С. 6–23. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-6-23>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 6–23. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 6–23. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2021. Ivan A. Poliakov, Maria A. Smirnova
National Library of Russia
St. Petersburg, Russia

“The Notes of Different Years” of the Moscow Merchant Pyotr Porokhovshchikov: a Family Chronicler in a Historical Miscellanea of the Second Half of the 18th Century

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR), number 20-39-70005.

Abstract: The article focuses on the family chronicler of the Moscow merchants Porokhovshchikovs, discovered in the collection of A. A. Titov in the Manuscripts Department of the National Library of Russia. The handwritten *Notes* are located on the last pages of the historical miscellanea of the second half of the 18th century. Annual records were kept from 1753 to 1803 first by Petr Isaevich, and then by his son Andrey Petrovich Porokhovshchikovs. The article reflects the history of the creation of *The Notes*, makes observations about the tradition of keeping such chroniclers in the merchant environment of the second half of the 18th — early 19th centuries in general, and in the Porokhovshchikovs family in particular. The authors traced the reflection of the author’s “social circles” in the text of *The Notes*. The article precedes the commented edition of the monument, which will be published in the next issue of the journal.

Keywords: autobiographical genre, manuscript culture, merchants, family chroniclers, memorandum books.

Information about the authors:

Ivan A. Poliakov, National Library of Russia, Sadovaya 18, 191069 St. Petersburg, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2790-1891>

E-mail: ivan669@bk.ru

Maria A. Smirnova, PhD in History, National Library of Russia, Sadovaya 18, 191069 St. Petersburg, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9756-2699>

E-mail: smirnmar@gmail.com

Received: November 06, 2020

Approved after reviewing: January 13, 2021

Published: March 22, 2021

For citation: Poliakov, I. A., Smirnova, M. A. “‘The Notes of Different Years’ of the Moscow Merchant Pyotr Porokhovshchikov: a Family Chronicler in a historical Miscellanea of the Second Half of the 18th century.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 6–23. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-6-23>

С 2020 г. научным коллективом, состоящим из сотрудников Отдела рукописей РНБ, СПбГУ и РГАДА, осуществляется проект, направленный на изучение ранних памятников русской мемуарной литературы. Одной из перспективных задач исследования является поиск автобиографических текстов в рукописной книге. Поскольку многие из них не представляют собой отдельных памятников, а существуют в составе самых разнообразных рукописных и печатных книг и документов в виде маргиналий на полях и пустых листах или в составе сборников, их наличие зачастую не отражено в архивных описях и описаниях. Представляется, что для их выявления требуется сплошной просмотр *de visu* основных собраний русской рукописной книги в архивохранилищах и библиотеках страны.

Работа была начата со сплошного исследования нескольких фондов Отдела рукописей РНБ: собрания А. А. Титова (Ф. 775) — более 4,5 тыс. единиц, П. Н. Тиханова (Ф. 777. Оп. 3) — более тысячи единиц, и библиотеки Новгородской духовной семинарии (Ф. 522) — более 250 единиц. В результате просмотра были обнаружены и описаны несколько десятков неизвестных ранних русских автобиографических сочинений и записей XVII – начала XIX вв. И если для XVII в. такие материалы единичны, то для второй половины XVIII в. и особенно для начала XIX в. их количество возрастает. Они различны по объему, форме и содержанию и представляют собой приписки в святцах, синодиках, месяцесловах, владельческие записи с автобиографическими сведениями, фамильные летописцы, дневники, путевые записки и т. д. Данная статья посвящена одному из таких памятников — фамильному летописцу московских купцов Пороховщиковых, созданному во второй половине XVIII – начале XIX вв. на последних листах рукописи ОР РНБ. Ф. 775. Собрание А. А. Титова. № 4693.

В историографии отечественной мемуаристики автобиографическим материалам представителей правящей и интеллектуальной эли-

ты XVIII – начала XX вв. уделялось больше внимания, чем сочинениям купцов. Тем не менее ряд важных автобиографических памятников был введен в научный оборот, а традиция их изучения начала формироваться еще в первой половине XX в. Первый обобщающий обзор был сделан Б. Б. Кафенгаузом в 1928 г. в статье «Купеческие мемуары» [Кафенгауз]. Исследователь обозначил, что «мемуарное наследство, оставленное русским купечеством, весьма невелико», а первые купеческие жизнеописания появились не ранее второй половины XIX столетия [Кафенгауз: 105]. Это мнение справедливо отражало историографическую ситуацию 1920-х гг., когда исследователи были знакомы лишь с опубликованными еще до революции и хорошо известными семейными хрониками Вишняковых, Крестовниковых, воспоминаниями Н. А. Найденова и некоторыми другими мемуарами. Из памятников купеческой мемуаристики второй половины XVIII в., опубликованных до 1917 г. и упоминавшихся в дореволюционной литературе, можно отметить только «Летопись о событиях в г. Твери» тверского купца М. М. Тюльпина [Колосов]. В последующие десятилетия интерес к ранним мемуарным купеческим памятникам угас, что было вызвано интересом советской исторической науки и литературоведения к исследованиям другой тематики, не связанной с изучением мемуаристики и истории культуры купечества.

В последней четверти XX в. в научной литературе начался новый этап в изучении купеческой мемуаристики, связанный не только с возрастанием интереса к мемуарной литературе в целом (как научного, так и читательского), но и интересом к культуре и самосознанию торгового сословия. В 1974 г. А. И. Копаневым и Н. И. Павленко был опубликован найденный ими в собрании Отдела рукописей БАН (БАН. 34.8.15) «Журнал, или записка жизни и приключений» дмитровского купца И. А. Толченова [Журнал или записка жизни]. Обширный по объему (более 500 листов) и временному охвату (почти 60 лет) памятник стал самым цитируемым произведением купеческой мемуаристики второй половины XVIII – начала XIX вв. Исследованию воспоминаний И. А. Толченова посвящены и работы западных славистов [Ransel]. Этот мемуарный памятник является уникальным для XVIII в. и представляет собой «подробнейшие записи семейно-биографического и хозяйственного содержания, объединенные в погодные статьи» [Культура купеческой среды: 366].

Начиная с 1990-х гг. издание и изучение автобиографических произведений купцов активизируется. В отличие от предшествующих периодов, исследователей стали интересовать не только тексты, ценные своим содержанием и включающие в себя важные экономические и общественно-политические сведения, принадлежащие известным авторам и представляющие собой самостоятельные крупные памятники мемуарного жанра, но и отрывочные записки, созданные малоизвестными представителями провинциального купечества. Всплеск интереса к истории купечества и повседневности, истории семьи, автобиографическим текстам простого человека и краеведческим исследованиям дал толчок к поиску и публикации хранящихся в архивах памятников ранней купеческой мемуаристики, остававшихся неописанными и не введенными в научный оборот.

Среди осуществленных в последнее время публикаций особое место занимает подготовленный в 2006 г. А. И. Аксеновым, А. В. Семеновым и Н. В. Середой сборник «Купеческие дневники и мемуары конца XVIII — первой половины XIX века» [Купеческие дневники и мемуары]. Исследователи не только издали восемнадцать мемуарных произведений купцов различных городов Российской империи, но и подготовили обширную вступительную статью, содержащую ценные суждения о методике анализа купеческих автобиографических памятников [Купеческие дневники и мемуары: 3–10]. В 2007 г. составитель данного сборника А. И. Аксенов опубликовал еще одну статью, близкую к теме последнего и представляющую собой обзор мемуаров купцов, хранящихся в Отделе рукописей РГБ [Аксенов 2007]. Исследователь сосредоточил внимание на изучении произведений пореформенного периода и проанализировал их жанровое разнообразие. Однако наблюдения ученого не могут быть полностью перенесены на ранние «записки» XVIII столетия.

В 2002 г. Е. И. Барклай осуществила публикацию дневников тверских купцов, включившую переиздание «Летописи» М. М. Тюльпина и текст дневника купцов Блиновых [Дневники тверских купцов]. Последнему памятнику посвящен цикл статей Н. В. Середы [Середа 2003; Середа 2006; Середа 2014]. К изучению отдельных произведений купеческой мемуаристики конца XVIII – начала XIX вв. обращены статьи и публикации В. П. Бударагина, Г. Т. Рябкова, М. А. Смирновой [Бударагин; Рябков; Смирнова 2011; Смирнова 2020].

За исключением биографии купца-старообрядца Ф. К. Долгого, рассмотренной В. П. Бударагиным, перечисленные выше памятники похожи по форме повествования — погодные записи хроникального характера — и представляют собой фамильные купеческие летописцы. Подобная форма была традиционна для купеческих автобиографических сочинений вплоть до середины XIX столетия. «Немаловажное значение для купеческой фамилии имела традиция сохранения родовой памяти, которая являлась одним из элементов купеческого мировосприятия вообще» [Культура купеческой среды: 370]. Поскольку в купеческой среде (как православной, так и старообрядческой) традиции христианского поминовения предков были чрезвычайно сильны, такие памятники содержат много записей о рождениях и особенно смертях.

В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в собрании А. А. Титова (Ф. 775) хранится фамильный летописец московских купцов Пороховщиковых¹. Памятник находится на последних листах сборника исторического содержания (№ 4693) и ранее не был предметом научного исследования.

Рукопись тематически можно разделить на три части. Первая из них (л. 1–209) представляет собой список Хронографа середины XVIII в.² Вторая часть (л. 210–226) содержит выписки из различных документов Святейшего Синода, печатных указов и доношений середины — второй половины XVIII в. В третьей части рукописи на л. 247–255 расположены записи купцов Пороховщиковых. Все части сборника были созданы в одно время — середине — второй половине XVIII в., согласно данным водяных знаков. Наиболее часто в рукописи встречаются филигранные, характерные для данного периода: вариации бумаги мельницы Афанасия Гончарова (филигрань «Pro Patria» с литерами «АГБ» и к/м — вензелем А. Гончарова [Клепиков: 38, № 24–25]) и Ярославской мануфактуры Алексея Затрапезного (филигрань «Герб города Ярославля» и к/м «ЯМАЗ» [Клепиков: 70, № 749]). После окончания Хронографа в рукописи присутствует значительное число чистых листов. По-видимому, владелец рукописи, купец Петр Пороховщиков, неодно-

¹ ОР РНБ. Ф. 775 (Собр. А. А. Титова). Д. 4693.

² В рамках статьи авторы не устанавливали редакцию Хронографа и не делали его научного описания, так как этот вопрос не касается темы настоящей публикации.

кратно подшивал к памятнику чистые тетради для копирования интересовавших его литературных сочинений и исторических документов.

Фамильный летописец Пороховщиковых имеет авторское название «Записки разных годов собранные московского купца Петра Пороховщикова»¹. Листы памятника расчерчены на два столбца. Узкий с левой стороны листа предназначался для записи даты, широкий справа — для записи текста. Год, события которого описывались, вынесен в качестве заголовка посредине страницы. Дата в левом столбце приведена в формате месяца и числа. Описание каждого года содержит от 1 до 11 сообщений. «Записки» охватывают большой хронологический период — с 1753 по 1803 гг., а их общее число составляет 222.

Личность составителя памятника и владельца рукописи устанавливается из заглавия — им являлся московский купец Петр Пороховщиков. Анализ записей позволяет определить его отчество как Исаевич. Исследование материалов по истории московского купечества второй половины XVIII в. позволило обнаружить биографические сведения о П.И. Пороховщикове. В опубликованной Н. А. Найденовым переписи «служащим и неслужащим из московского купечества, кто, когда и где служил с 1791 по 1802 год» содержатся запись о 3-й гильдии купце Кошельной слободы Петре Исаеве Пороховщикове. Его возраст на момент составления переписи указан как 75 лет. В ней также отмечено, что П. И. Пороховщиков в 1776 г. был старостой в колокольном ряду [Материалы для истории московского купечества: 99]. В «Записках» за 1801 г. читается запись о смерти купца, сделанная его сыном Андреем: «Преставился батюшка Петр Исаевич Пороховщиков в 8 часов пополуночи, жития его было 78 лет. Был болен с 24-го числа марта, мая 31 исповедан ево духовником, а июня 1-е приобщен святых тайн, а 5-е числа соборован маслом, погребен в Покровском монастыре 8-го числа. Господи, упокой душу ево»². Таким образом, на основании данных источников, даты жизни П. И. Пороховщикова могут быть определены как 1722–1801 гг.

По-видимому, автор «Записок» недолго состоял в московском гильдейском купечестве, поскольку другие сведения о нем и о роде Пороховщиковых не содержатся ни в ревизских сказках по московскому купечеству, ни в переписных или окладных книгах. С другой стороны,

¹ ОР РНБ. Ф. 775. Д. 4693. Л. 247.

² Там же. Л. 254 об.

большой проблемой при изучении генеалогии купеческих родов является процесс образования фамилий, который окончательно завершился в среде московского купечества лишь к началу XIX столетия [Аксенов 1988: 15]. Поскольку значительная часть закрепившихся купеческих фамилий связана с обозначением сферы деятельности их носителей, можно предположить, что Пороховщиковы были каким-либо образом связаны с производством или продажей пороха. К сожалению, к настоящему времени документов, подтверждающих или опровергающих это предположение, обнаружено не было.

Генеалогия рода Пороховщиковых восстанавливается из сведений «Записок». Дед и дядя Петра Пороховщикова по матери были московскими священниками. Его жена происходила из рода купцов Зайцевых, которые вели торговлю между Москвой и Астраханью. По-видимому, Пороховщиковы также участвовали в этой торговле, так как до 1765 г. П. И. Пороховщиков неоднократно совершил поездки из Астрахани в Москву и обратно. До 1765 г. Петр проживал с семьей в Астрахани, в 1765 г. переехал в Москву. В «Записках» он зафиксировал даты покупки московских домов — в 1766 г. на Спасской¹, а в 1785 г. — на Таганке².

В рамках осуществляемого авторами статьи проекта по выявлению ранних мемуарных и дневниковых текстов было обнаружено некоторое количество близких по форме памятников. На примере автобиографических записей в купеческих хозяйственных книгах Осипа Дмитриевича Белянкина и усть-сысольских купцов Колеговых М. А. Смирновой был поставлен вопрос о методах работы с подобными летописцами и о перспективах их изучения [Смирнова 2020]. На наш взгляд, актуальными являются два направления.

Первое связано с традицией ведения семейных летописцев в купеческой среде и направлено на решение вопроса о том, зачем и в каких обстоятельствах появились эти записи. Работа с корпусом схожих по времени, форме и структуре памятников позволяет делать наблюдения о случайности, закономерности и преемственности ведения таких книг.

За исключением записей за 1801–1803 гг., «Записки» Пороховщиковых составлены одним автором — Петром Исаевичем Пороховщиковым. Его рукой весь текст «Записок» был переписан в сборник

¹ Там же. Л. 249.

² Там же. Л. 250а об.

в несколько приемов. По всей видимости, он скопировал имеющиеся части фамильного летописца в конце XVIII в. Согласно результатам анализа почерка и чернил, события за 1753–1791 гг. были переписаны одновременно, затем автор перенес заметки за 1792–1795 гг. События за 1796–1801 гг. написаны разными чернилами. Возможно, они вносились в сборник ежегодно. При этом записи за 1754, 1759, 1773, 1777, 1800 гг. отсутствуют — по-видимому, они были утрачены или не найдены. Если для ранних годов это объяснимо, то отсутствие заметок за 1800 г. (предпоследний год жизни автора) вызывает вопросы. Последняя запись Петра Пороховщикова сделана за три недели до его смерти. На середине 1801 г. ведение записок продолжил его сын Андрей. Последняя запись, сделанная его рукой, датируется 1803 г.

Подобная преемственность характерна для традиции купеческих фамильных летописцев — несколько поколений Колеговых пополняли свою записную книжку, тверские купцы Блиновы вели дневник на протяжении ста двадцати лет [Середа 2003: 256–277; Середа 2006: 403–412; Смирнова 2020: 38–40]. В «Записках» Пороховщиковых присутствует не только продолжение записей главы рода потомком, но и содержатся упоминания о наличии семейных бумаг, включающих сведения о старших поколениях. Автор, Петр Пороховщиков, в конце 1758 г. сделал запись: «Найдена записка после дяди Василья Козмина» и далее скопировал его заметки за 1744–1754 гг. о преставившихся родственниках. Ниже он отметил: «Найдена записка, писана рукою батюшки Исакия Кононовича» о записи семьи в ревизскую сказку 1724 г., а также о замужестве сестры Марьи Исаевны в 1751 г. Это свидетельствует о существовании традиции семейных записей у Пороховщиковых, и подтверждает тезис о важной роли фамильного поминания в купеческой среде в целом. Следует отметить, что Василий Козмин — дядя автора по материнской линии, следовательно, упомянутые рукописные заметки принадлежали двум разным семьям — купеческой (Пороховщиковых) и священнослужителей (Козминых). Связь купеческой культуры с христианской традицией поминовения предков объясняет наличие в тексте многочисленных записей о рождениях и смертях. В «Записках» Пороховщиковых из 222 записей в 55 содержатся сведения о рождениях членов семьи и близких, а в 99 — об их смертях (в случае смерти новорожденных эти записи совпадают с данными о рождении). Как справедливо заметил Н. И. Павленко, анализируя «Журнал» И. А. Тол-

ченова, «автора нисколько не затрудняла регистрация сведений о смерти родственников, знакомых и тех, кто у него обедал и у кого он обедал сам» [Павленко: 4].

Второе направление в изучении памятника связано с изучением **социальных кругов авторов**. Этот термин был предложен французскими исследователями социальной истории Раннего нового времени Франсуа-Жозефом Ружжью (F.-J. Ruggiu) и Сильвией Муиссе (S. Mouysset). В цикле статей Ф.-Ж. Ружжью обратился к «сочинениям личного характера» для реконструкции истории семей [Ружжью; Ruggiu]. К подобным сочинениям он отнес «записные и учетные книги, путевые и личные дневники, автобиографии, письма, мемуары, а также городские хроники, которые велись в различных жанрах» [Ружжью: 119–120]. Для изучения французского общества XVII–XVIII вв. с помощью автобиографических текстов Ружжью предлагает «восстановить социальные миры, с которыми соотносили себя писавшие люди» [Ружжью: 123]. Подобные социальные круги включают семью, друзей, профессиональные связи, сословную корпорацию, соседей и др.

Обращаясь к историографии, Ружжью относит к примерам подобных работ исследование Джеймса С. Амеланга о социальных связях барселонского торговца XVII в. [Amelang] и монографию Сильвии Муиссе об отражении «социальных кругов» автора в его хозяйственных книгах [Mouysset]. С. Муиссе предложила несколько социальных кругов для авторов:

1. «Автор — старший сын».
2. «Дом», в который входят живые и уже почившие члены семьи.
3. «Окружение», разделяемое на близких и «среду»: соседи, профессиональные связи и «местные известные люди» [Ружжью: 123].

Подобная структура «социальных кругов» может быть применена к изучению русских фамильных летописцев XVIII – первой половины XIX вв. Рассмотрим их на примере «Записок» Пороховщиковых.

Наиболее близкий круг «автор — старший сын» в памятнике нарушен, поскольку старший сын Иван не продолжил дело отца и поступил на военную службу. Он родился в 1761 г.¹ В журнале под 1775 г. отмечено, что Иван был пожалован чином подпрапорщика², в 1776 г. — чином

¹ Там же. Л. 248 об.

² Там же. Л. 250.

сержанта в Киевском полку¹, в 1782 г. переведен кадетом в Астраханский драгунский полк², в 1785 г. произведен аудитором³. В 1799 г. в возрасте 38 лет сын Иван «преставился», «был в военной службе и отставлен поручником, погребен на кладбище за Семеновской заставой»⁴. Сведения о семье Ивана в тексте отсутствуют. П. И. Пороховщиков лишь однажды отметил эпизод встречи сына с близкими — во время его приезда в Москву с Кавказа в 1788 г.⁵ Можно предположить, что выбор Иваном военной карьеры был связан с неформальными связями его отца. В памятнике за 22 ноября 1758 г. Петр Пороховщиков сделал запись: «В Астрахане нареклись братьями артилери[и] с поручником Иваном Еремеевичем Цыплетевым и крестами поменялись»⁶. Упомянутый в «Записках» Е. И. Цыплетев в дальнейшем сделал успешную военную карьеру: был комендантом Царицынской крепости в 1765–1780 гг., руководил обороной города во время восстания Е. Пугачева, за что получил прозвище «Храбрый Цыплетев» [Иванов].

Продолжателем семейного дела Петра Пороховщикова стал его сын Андрей. Он был младше Ивана на 10 лет и родился в 1771 г.⁷ Он также упомянут в записи о присяге Павлу I в 1796 г.⁸ Именно Андрей в 1801 г. внес в памятник сведения о кончине отца и затем продолжал вести летописец еще два года от первого лица, включив в него сведения о помолвке, бракосочетании и рождении сына⁹.

Второй круг — «дом» — в купеческой семье традиционно обширен и включает родителей, детей и внуков, братьев и сестер, дальних родственников (дядей, племянников, внучатых племянников и их семьи) и свойственников, представляющих многие крупные купеческие рода. В «Записках» Пороховщиковых упомянуто более 50 членов малой семьи и родственников (согласно данным летописца, у П. И. Пороховщиков родилось 18 детей). Добавив к ним сведения о семьях свойственников,

¹ Там же. Л. 250 об.

² Там же. Л. 250а.

³ Там же. Л. 250а об.

⁴ Там же. Л. 254.

⁵ Там же. Л. 251.

⁶ Там же. Л. 247 об.

⁷ Там же. Л. 250.

⁸ Там же. Л. 253.

⁹ Там же. Л. 254 об.

мы определим, что в «доме» П. И. Пороховщикова находилось более 100 человек. Биографическая информация об этих людях, содержащаяся в памятнике, ценна для исследователей, в первую очередь, провинциального купечества XVIII в., так как источники о жизни и деятельности представителей этой социальной группы зачастую не сохранились [Наумов и др.: 16].

Круг «окружение» разнообразен, так как профессиональные контакты П. И. Пороховщикова тесно переплетены с семейными — браки в купеческой среде часто заключались в среде компаньонов. Среди упомянутых персонажей — представители астраханского и московского купечества, как известные, так и малоизвестные фамилии. В тексте памятника присутствуют знаковые для Москвы второй половины XVIII в. имена. Среди них: второй московский городской голова Семен Дмитриевич Ситников и его братья Прокофий, Алексей и Федор; владельцы одной из самых известных московских лубочных фабрик Илья Яковлевич Ахметев и его сын Петр; влиятельные московские купцы Михаил Михайлович Гусятников и его сын. В некоторых случаях можно определить степень близости П.И. Пороховщикова и упомянутых в памятнике людей. Так, к лаконичной записи о смерти основателя лубочного производства Ильи Яковлевича Ахметева в 1790 г. Пороховщиков добавил: «Преставись Илья Ахметев, нам был приятель»¹.

Жена Петра Пороховщикова Катерина Ивановна происходила из рода Зайцевых (Зайцовых) — купцов, торговавших между Москвой и Астраханью. Можно предположить, что одна из ветвей рода Пороховщиковых имела астраханское происхождение, поскольку семья некоторое время жила в Астрахани, а на протяжении всего повествования упоминаются астраханские события и известные жители города (к примеру, Степан (Стефан) Григорьевич Шарыпин, ставший воспитателем для дочери Петра Пороховщикова, и др.)

«Соседская» среда в памятнике практически не упомянута. Имеющиеся сведения о соседях П. И. Пороховщикова связаны с описанием событий (преимущественно, пожаров), повлиявших на семью автора. В качестве примера подобных сведений приведем запись от 16 декабря 1780 г.: «в ночи у соседа Ивана Петрова загорелось, от того и наш покой для постою згорел»².

¹ Там же. Л. 251.

² Там же. Л. 250а.

Для европейских городов С. Муиссе выделяет категорию *«местных известных людей»* — в случае П. И. Пороховщикова это церковные деятели, астраханские и московские иерархи: митрополит московский Тимофей, астраханский епископ и т. д. Важно отметить, что поскольку мать автора происходила из семьи священнослужителей, то среди упоминаемых в тексте священников присутствуют как знакомые приходские батюшки, с которыми автор общался после службы, так и родственники матери.

Представляется, что для купеческих фамильных летописцев XVIII в. можно выделить ещё один социальный круг, не указанный в работах С. Муиссе, — *«государственные деятели»*. На листах «Записок» Пороховщиковых и других памятников присутствуют сведения об императорах и членах императорской фамилии, аристократах, высокопоставленных чиновниках, с которыми авторы записок не были знакомы. В произведении также отмечаются общеизвестные события: коронации, смерти высокопоставленных персон и рождение детей в их семьях, посещение Астрахани и Москвы именитыми современниками. Петр Пороховщиков сделал записи о рождениях и смертях великих князей и княжон, приезде грузинского патриарха, женитьбе наследника Павла Петровича, кончине Екатерины II и восшествии Павла I на престол. Среди упоминаемых лиц — московский главнокомандующий Василий Михайлович Долгоруков, и дипломат, глава русской внешней политики екатерининского царства Никита Иванович Панин. Вместе со сведениями о военных действиях, чеканке новой монеты, чумном бунте и прочими эти записи отражают типичные для русского читателя XVIII – начала XIX столетия исторические интересы.

Таким образом, проведенная работа по поиску автобиографических материалов в составе библиотек и архивохранилищ страны позволила выявить неизвестный ранее фамильный летописец купцов Пороховщиков за вторую половину XVIII – начало XIX вв. Исследование истории его создания, структуры, формы и содержания показало, что данный памятник является традиционным для купеческого сословия XVIII–XIX вв. автобиографическим произведением, содержащим обширные сведения о родственниках и свойственниках автора, а также о важных исторических событиях и лицах. Этот памятник дает возможность не только реконструировать социальные круги общения Пороховщиковых, но и дает ценную биографическую информацию о пред-

ставителях московского и астраханского купечества второй половины XVIII – начала XIX вв. Более того, данные «Записок», помет П. И. Пороховщикова о наличии у его родных родовых записей по годам, тексты других купеческих мемуаров позволяют предположить наличие традиции создания подобных автобиографических документов в некоторых семьях купцов с середины XVIII в. Эту гипотезу подтверждает структура обнаруженного памятника — П. И. Пороховщиков вел семейные и исторические записи на протяжении большей части жизни, а за несколько лет до смерти решил объединить их в семейный летописец в составе рукописного сборника. По мнению авторов статьи, «Записки» купцов Пороховщиковых являются не только важным автобиографическим памятником, но и ценным источником по истории купечества второй половины XVIII в. По этой причине в следующем номере настоящего журнала будет представлена публикация текста «Записок» с комментариями.

Список литературы

Источники

Дневники тверских купцов / сост. И. Е. Барклай. Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2002. 92 с.

Журнал или записка жизни и приключений Ивана Алексеевича Толченова. М.: Ин-т истории СССР, 1974. 471 с.

Купеческие дневники и мемуары конца XVIII – первой половины XIX века / сост. А. В. Семенова, А. И. Аксенов, Н. В. Середа. М.: РОССПЭН, 2007. 467 с.

Материалы для истории московского купечества. М.: Типо-лит. И. Н. Кушнерева и К^о, 1887. Т. 4. 414 с.

Исследования

Аксенов А. И. Генеалогия московского купечества XVIII в.: Из истории формирования русской буржуазии. М.: Наука, 1988. 188 с.

Аксенов А. И. Купеческие мемуары из собраний ОР РГБ: (Археографические заметки) // Российская реальность конца XVI – первой половины XIX в.: Экономика. Общественный строй. Культура: Сб. к 80-летию Ю. А. Тихонова. М.: Издат. центр Ин-та российской истории РАН, 2007. С. 290–302.

Бударагин В. П. Биография петербургского купца Ф. К. Долгого в старообрядческом синодике конца XVIII – начала XIX веков // In memorem: Сб. памяти Я. С. Лурье. СПб.: Atheneum, Феникс, 1997. С. 321–325.

Клепиков С. А. Филигранные штампы на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX вв. М.: Изд-во Всесоюз. книжной палаты, 1959. 306 с.

Культура купеческой среды: Страницы жизни И. А. Толченова // Российская провинция: среда, культура, социум. (Очерки истории города Дмитрова, конец XVIII–XX век). М.: КомКнига, 2006. С. 363–388.

Купеческие дневники и мемуары конца XVIII – первой половины XIX века / сост. А. В. Семенова, А. И. Аксенов, Н. В. Середа. М.: РОССПЭН, 2007. 467 с.

Наумов О. Н., Калинин Д. А., Ильина Е. Б., Сахаров И. В., Полянская Ю. Н., Александрова Н. А. Современные проблемы российской генеалогии: (круглый стол) // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. История и политические науки. 2020. № 4. С. 6–34.

Павленко Н. И. И. А. Толченев и его журнал // Журнал или записка жизни и приключений Ивана Алексеевича Толченова. М.: Ин-т истории СССР, 1974. С. 3–18.

Ружью Ф.-Ж. Лексикон социального пространства в сочинениях личного характера // Автобиографические сочинения в междисциплинарном исследовательском пространстве: Люди, тексты, практики / ред. Ю. П. Зарецкий, Е. К. Карпенко, З. В. Шушпанова. М.: Библио-Глобус, 2017. С. 119–148.

Рябов Г. Т. Эволюция сословия русского купечества по «Жизнеописанию Барышниковых» (XVIII–XIX столетия) // Российское купечество от средних веков к новому времени. М.: ИРИ, 1993. С. 121–124.

Середа Н. В. Дневник купцов Блиновых и его авторы // Очерки феодальной России / ред. С. Н. Кистерев. М.: ООО Рохос, 2003. Вып. 7. С. 256–277.

Середа Н. В. Индивид в тверских купеческих дневниках XVIII – первой половины XIX века // Документы личного происхождения в теории и практике научных исследований. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2014. С. 206–214.

Середа Н. В. Пространство и время в дневнике купцов Блиновых // Проблемы источниковедения. М.: Наука, 2006. Вып. 1 (12). С. 400–412.

Смирнова М. А. Записи в купеческих приходно-расходных книгах: к вопросу о развитии автобиографического жанра в рукописной культуре XVIII – начала XIX в. // Два века русской классики. 2020. Т. 2, № 2. С. 28–45. DOI: 10.22455/2686-7494-2020-2-2-28-45

Смирнова М. А. Мемуары и дневники петербургских купцов конца XVIII – начала XX вв. как исторический источник: дис. ... канд. истор. наук. СПб., 2011. 301 с.

Amelang J. S. The flight of Icarus: Artisan Autobiography in Early Modern Europe. Stanford, CA: Stanford University Press, 1998. 497 p.

Mouysset S. Papiers de famille: Introduction à l'étude des livres de raison (France, XVe–XIXe siècle). Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007. 347 p.

Ransel D. The Diary of a Merchant: Insights into Eighteenth-Century Plebeian Life // The Russian Review. 2004. Vol. 63. P. 594–608.

Ruggiu F.-J. Les écrits du for privé: pertinence d'une notion historique // Les Écrits du for privé en France: De la fin du Moyen Âge à 1914 / Ed. J.-P. Bardet, F.-J. Ruggiu. Paris: CTHS, 2014. P. 9–34.

References

Aksenov, A. I. *Genealogiia moskovskogo kupechestva XVIII v.: Iz istorii formirovaniia russkoi burzhuzi* [Genealogy of the Moscow Merchants of the 18th Century: From the History of the Formation of the Russian Bourgeoisie]. Moscow, Nauka Publ., 1988. 188 p. (In Russ.)

Aksenov, A. I. "Kupecheskie memuary iz sobranii OR RGB: (Archeograficheskie zametki)" ["Merchants' Memoirs from the Collections of the Ms Dep. of the RSL: (Archeographic notes)"]. *Rossiiskaia real'nost' kontsa XVI – pervoi poloviny XIX v.: Ekonomika. Obshchestvennyi stroi. Kul'tura: Sb. k 80-letiiu Iu.A. Tikhonova* [Russian Reality of the Late 16th – First Half of the 19th Century: Economics. Social System. Culture: A Collection to the 80th Anniversary of Yu. A. Tikhonov]. Moscow, IRH RAS Publ., 2007, pp. 290–302. (In Russ.)

Budaragin, V.P. "Biografiia peterburgskogo kuptsa F. K. Dolgogo v staroobriadcheskom sinodike kontsa XVIII – nachala XIX vekov" ["Biography of the St. Petersburg Merchant F. K. Dolgoy in the Old Believer Synodics of the Late 18 – Early 19 Centuries"]. *In memoriam: Sb. pamiati Ia.S. Lur'e* [In Memoriam: A Collection in Memory of Ya. S. Lurie]. St. Petersburg, Atheneum Publ., Feniks Publ., 1997, pp. 321–325. (In Russ.)

Klepikov, S. A. *Filigrani i shtempeli na bumage russkogo i inostrannogo proizvodstva XVII–XX vv.* [Watermarks and Stamps on Paper of Russian and Foreign Production in the 17–20th Centuries]. Moscow, Izdatel'stvo Vsesoiuznoi knizhnoi palaty Publ., 1959. 306 p. (In Russ.)

"Kul'tura kupecheskoi sredy: Stranitsy zhizni I. A. Tolchenova" ["The Culture of the Merchant Environment: Pages of I. A. Tolchenov's Life"]. *Rossiiskaia provintsiia: sreda, kul'tura, sotsium. (Ocherki istorii goroda Dmitrova, konets XVIII–XX vek)* [Russian Province: Environment, Culture, Society. (Essays on the History of the City of Dmitrov, Late 18th–20th century)]. Moscow, KomKniga Publ., 2006, pp. 363–388. (In Russ.)

Semenova, A. V., and Aksenov, A. I., and Sereda N. V., editors. *Kupecheskie dnevniki i memuary kontsa XVIII – pervoi poloviny XIX veka* [Merchant Diaries and Memoirs of the Late 18th – First Half of the 19th Century]. Moscow, ROSSPEN Publ., 2007. 467 p. (In Russ.)

Naumov, O. N., Kalinin, D. A., Il'ina, Ye. B., Sakharov, I. V., Polianskaia, Yu. N., Aleksandrova, N. A. "Sovremennye problemy rossiiskoi genealogii: (kruglyi stol)" ["Contemporary Issues of Russian Genealogy: (Round Table)"]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Ser.: Istorii i politicheskie nauki*, issue 4, 2020, pp. 6–34. (In Russ.)

Pavlenko, N. I. "I. A. Tolchenov i ego zhurnal" ["I. A. Tolchenov and His Journal"]. *Zhurnal ili zapiska zhizni i prikluchenii Ivana Alekseevicha Tolchenova* [Journal or Note of the Life and Adventures of Ivan Alekseevich Tolchenov]. Moscow, Institut istorii SSSR Publ., 1974, pp. 3–18. (In Russ.)

Ruzhzh'yu, F.-Zh. "Leksikon sotsial'nogo prostranstva v sochineniiakh lichnogo kharaktera" ["Lexicon of Social Space in Personal Essays"]. Zaretskiy, Yu. P., and Karpenko, Ye. K., and Shushpanova, Z. V., editors. *Avtobiograficheskie sochineniia v mezhdistsiplinarnom issledovatel'skom prostranstve: Liudi, teksty, praktiki* [Autobiographical Essays in Interdisciplinary Research Space: People, Texts, Practices]. Moscow, Biblio-Globus Publ., 2017, pp. 119–148. (In Russ.)

Ryabkov, G. T. "Evolutsiia sosloviia russkogo kupechestva po 'Zhizneopisaniiu Baryshnikovoykh' (XVIII–XIX stoletii)" ["Evolution of the Russian Merchants According to the 'Life of the Baryshnikovs' (18–19th Centuries)]. *Rossiiskoe kupechestvo ot srednikh vekov k novomu vremeni* [Russian Merchants From the Middle Ages to the New Time]. Moscow, IRH RAS Publ., 1993, pp. 121–124. (In Russ.)

Sereda, N. V. "Dnevnik kuptsov Blinovykh i ego avtory" ["Diary of Merchants Blinovs and Its Authors"]. Kisterev, S. N. editor. *Ocherki feodal'noi Rossii* [Essays on Feudal Russia], vol. 7. Moscow, OOO Rokhos Publ., 2003, pp. 256–277. (In Russ.)

Sereda, N. V. "Individ v tverskikh kupecheskikh dnevnikakh XVIII – pervoi poloviny XIX veka" ["Individual in Tver Merchant Diaries of the 18th – First Half of the 19th Century"]. *Dokumenty lichnogo proiskhozhdeniia v teorii i praktike nauchnykh issledovani* [Personal Documents in the Theory and Practice of Scientific Research]. Tver, Tver State University Publ., 2014, pp. 206–214. (In Russ.)

Sereda, N. V. "Prostranstvo i vremia v dnevnike kuptsov Blinovykh" ["Space and Time in the Diary of the Merchants Blinovs"]. *Problemy istochnikovedeniia*, vol. 1 (12), 2006, p. 400–412. (In Russ.)

Smirnova, M. A. "Zapisi v kupecheskikh prikhodno-raskhodnykh knigakh: k voprosu o razvitiu avtobiograficheskogo zhanra v rukopisnoi kul'ture XVIII – nachala XIX v." ["Records in Merchants' Account Books: Evolution of the Autobiographical Genre in the Manuscript Culture of the 18th – Early 19th Century"]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 2, no. 2, 2020, pp. 28–45. DOI: 10.22455/2686-7494-2020-2-2-28-45 (In Russ.)

Smirnova, M.A. *Memuary i dnevniki peterburgskikh kuptsov kontsa XVIII – nachala XX vv. kak istoricheskii istochnik: dis. ... kand. istor. nauk* [Memoirs and Diaries of Petersburg Merchants of the Late 18th – Early 20th Centuries as a Historical Source: PhD Thesis]. St. Petersburg, 2011. 301 p. (In Russ.)

Amelang, James S. *The flight of Icarus: Artisan Autobiography in Early Modern Europe*. Stanford, CA, Stanford University Press, 1998. 497 p. (In English)

Mouysset, Sylvie. *Papiers de famille: Introduction à l'étude des livres de raison (France, XV^e–XIX^e siècle)*. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007. 347 p. (In French)

Ransel, David. "The Diary of a Merchant: Insights into Eighteenth-Century Plebeian Life." *The Russian Review*, vol. 63, 2004, pp. 594–608. (In English)

Ruggiu, François-Joseph. "Les écrits du for privé: pertinence d'une notion historique." *Les Écrits du for privé en France: De la fin du Moyen Âge à 1914*, ed. J.-P. Bardet, F.-J. Ruggiu. Paris, CTHS, 2014, pp. 9–34. (In French)

© 2021. А. Н. Ратников

Московский государственный областной университет,
г. Мытищи, Россия

Суворовский цикл од в батальной лирике Г. Р. Державина

Аннотация: В статье анализируются батальные оды Г. Р. Державина, осмысляется общая концепция суворовского цикла, его тематическое своеобразие, проблематика и идейный пафос с точки зрения влияния исторического контекста на репрезентацию образа Суворова. Исследуется художественное воплощение реальных исторических черт Суворова, отраженных в корпусе произведений батального цикла в виде собирательного образа. Облик знаменитого полководца реконструируется по результатам изучения батальных од, в которых присутствует его упоминание, а также на основании анализа оды «На взятие Измаила», где он подразумевается. Оды «На взятие Измаила», «На взятие Варшавы», «Орел», «На победы в Италии», а также «На переход Альпийских гор» предлагается рассматривать как цикл батальных од, основанный на тематическом сходстве и соотношениях в изображении объекта описания. В работе исследуются способы раскрытия поэтического образа Суворова посредством различных приемов.

Ключевые слова: классицизм, окказиональная лирика, батальная ода, Г. Р. Державин, А. В. Суворов, цикл, художественное единство.

Информация об авторе: Александр Николаевич Ратников, аспирант, Московский государственный областной университет, ул. Веры Волошиной, д. 24, 141014 Московская обл., г. Мытищи, Россия.

E-mail: ratnikoff.alex@gmail.com

Дата поступления статьи: 17.10.2020

Дата одобрения статьи рецензентами: 28.01.2021

Дата публикации статьи: 22.03.2021

Для цитирования: Ратников А. Н. Суворовский цикл од в батальной лирике Г. Р. Державина // Два века русской классики. 2021. Т. 3, № 1. С. 24–39. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-24-39>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 24–39. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 24–39. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2021. Alexander N. Ratnikov
Moscow Region State University
Mytishchi, Russia

Suvorov Cycle of Odes in the Battle Lyrics of Gavriil Derzhavin

Abstract: The article analyzes G. Derzhavin's battle odes, comprehends the general concept of the Suvorov cycle, its thematic originality, problematics and ideological pathos from the point of view of the influence of the historical context on the representation of the image of Suvorov. The article examines the artistic reflection of the real historical features of Suvorov, reflected in the body of works of the battle cycle in the form of a collective image. The author of the article reconstructs the image of the famous commander, represented by the poet, based on the results of studying the battle odes in which he is mentioned, as well as on the analysis of the ode "On the Capture of Izmail," where he is implied. Odes "On the capture of Izmail," "On the Capture of Warsaw," "The Eagle," "On Victories in Italy," and "On the Crossing of the Alps" are suggested to be considered as a cycle of battle odes based on thematic similarities and correlations in the depiction of the object. The paper also considers the method of revealing the poetic image of Suvorov through the method of comparison.

Keywords: classicism, battle ode, occasional lyrics, G. Derzhavin, A. Suvorov.

Information about the author: Alexander N. Ratnikov, Post-Graduate Student, Moscow Region State University, st. Vera Voloshina 24, 141014 Moscow region, Mytishchi, Russia.

E-mail: ratnikoff.alex@gmail.com

Received: October 17, 2020

Approved after reviewing: January 28, 2021

Published: March 22, 2021

For citation: Ratnikov, A. N. "Suvorov's Cycle of Odes in the Battle Lyrics of Gavriil Derzhavin." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 24–39. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-24-39>

Взаимоотношения Г. Р. Державина и А. В. Суворова в отечественном литературоведении на протяжении сотен лет становились объектом для исследований. Внимание данной теме уделяли Я. К. Грот, В. Ф. Ходасевич, А. В. Западов, положившие начало научному пониманию творческого осмысления Державиным суворовской темы. Не угасает интерес к образу Суворова в поэзии Державина и в настоящее время. Приведем лишь некоторые исследования, в которых с разных точек зрения рассматривается указанная выше проблема, — это работы С. А. Щеглова, Д. В. Ларкович, А. А. Замостьянова, О. А. Крашенинниковой, Е. В. Никольского, Г. В. Ситниковой. В данной статье будет рассмотрена проблема державинской репрезентации образа Суворова, выстроенной посредством интеграции образа полководца в мировой исторический дискурс на материалах од «На взятие Измаила» (1790–1791), «На взятие Варшавы» (1794), «На победы в Италии» (1799), «Орел» (1799) а также «На переход Альпийских гор» (1799), объединяемых в единый корпус батальных произведений.

Высшим предназначением любого полководца или вельможи Г. Р. Державин видел служение Родине, народу. По его мнению, государственный деятель должен приносить своей стране пользу, отдавать все свои силы труду на благо Отечества. Мнение Державина на этот счет отражено в стихотворении «Философы трезвый и пьяный»:

Царю, отечеству служить,
Чад, жен, родителей хранить,
Себя от плена беречь —
Священна должность храбрым быть! [Державин 1: 262].

Поскольку идейный пафос, который передает данная идеологема, чрезвычайно важен для Державина, а Суворов в понимании Держави-

на становится живым воплощением подобных идеальных свойств¹, то образ Суворова в батальной лирике поэта является элементом, вбирающим в себя весь спектр высоких патриотических чувств и положительных качеств.

По доблести — царям сокровный,
По верности — престолов щит,
По вере — камень царств угольный,
Вождь — знаньем бранным знаменит,
В котором мудрость с добротой,
Терпенье, храбрость с быстротою
Вместились всех изящных душ! [Державин 2: 296–297].

Фигура Суворова в батальных одах Державина предстает собирательным образом идеального полководца. Образ Суворова в системе мировоззренческих ориентиров Державина важен настолько, что появляется и в одах, посвященных другим государственным деятелям, созданных в то время, когда сам Суворов находится в опале и вышел уже в вынужденную отставку. Примером может быть ода «На возвращение графа Зубова из Персии»:

Смотри, как в ясный день, как в буре
Суворов тверд, велик всегда!
Ступай за ним! — небес в лазуре
Еще горит его звезда [Державин 2, 36].

Репрезентируя поэтический образ Суворова, Державин преследует дидактические и пропагандистские цели. Представление о Суворове, по мнению поэта, должно воспитывать подрастающее поколение, наставлять будущих защитников Отечества в духе самопожертвования и честного служения. Державин встраивает образ Суворова в мировой исторический дискурс, используя образы других известных историче-

¹ История взаимоотношений Г. Р. Державина и А. В. Суворова подробно описана в фундаментальных трудах Я. К. Грота, а эволюция эстетической позиции Державина по отношению к поэтическому образу Суворова рассмотрена Д. В. Ларковичем в статье «Державин и Суворов: творческое взаимодействие автора и героя» [Ларкович].

ских личностей, с которыми сравнивает жизнь и деятельность Суворова. Скорее всего, необходимость в подобном репрезентативном воспроизведении возникает в связи с тем, что Суворов также становится отрицательным символом для идейно-политических и военных противников России. В современной Суворову враждебной пропаганде его образ наделяется негативными гиперболизированными чертами, которые используются, чтобы очернить одержанные с его помощью победы и настроить против него граждан своей страны. Аналитический обзор фактов отрицательной репрезентации образа Суворова изложен в статье Г. В. Ситниковой «А. В. Суворов глазами друзей и недругов [Ситникова].

Державин создает систему исторических образов, в которую интегрирует образ Суворова, вписывает полководца в контекст мирового исторического процесса, а сам становится как бы «летописцем новой истории». Эта отраженная от реальной история, воздействуя на читателей, придает реальному Суворову большой авторитет и монументальность, свойственную тем историческим личностям, с которыми его образ взаимодействует. Несомненно, что помимо исторических личностей в батальных одах «...содержание образа Суворова по-прежнему выражено посредством ряда устойчивых мифориторических номинаций (“северный Орел”, “Алкид”, “Геркулес российский”, “Александр Македонский” и др.), стимулирующих его масштабность, акцентирующих внеисторическую ценность и выводящих на уровень символического обобщения» [Ларкович: 71], что не отменяет наличие за одной и той же номинацией, вроде «Александра Македонского», реально существовавшую историческую личность. Образ Александра Македонского помимо мифориторической составляющей также несет в себе историческую, являющуюся объектом исследования в данной статье. Исторический уровень воздействует на читателя, заставляя иначе воспринимать соседние с ним образы.

Первой одой в суворовском цикле батальной лирики следует считать оду «На взятие Измаила». Взятие Измаила стало важным политическим событием, произвело сильнейшее впечатление на турок и европейские народы. В донесении из Валахии 2 января 1791 г. было отмечено: «Турки в задунайских местах взятием Измаила приведены в *крайнее недоумение*, и с голландским министром... рассуждали об опасности их, дабы запорожцы российские не учинили на них нападе-

ния»¹. Одержанная Суворовым победа была грандиозна, но в оде «На взятие Измаила» Державин ни разу не назвал его имени. Все лавры от победы достались Потемкину. Политическая конъюнктура не позволила Г. Р. Державину отметить по достоинству заслуги Суворова, который не присутствует в произведении явно: центральным образом оды является Росс — обобщающий символ русского солдата.

О Росс! О род великодушный!
О твердокаменная грудь!
О исполин, царю послушный!
...
О кровь славян! Сын предков славных!
Несокрушаемый колосс!
Кому в величестве нет равных,
Возросший на полсвете росс! [Державин 1: 342, 354].

В произведении есть упоминание командующего россами, названного «вождем». А. В. Западов пишет, что «Державин имеет в виду Г. А. Потемкина» [Западов: 395], но А. И. Кузьмин в книге «Героическая тема в русской литературе» отмечает, что под «вождем» Державин завуалировано упоминает того, кто командовал осадой крепости — Суворова: «Державин не мог назвать даже имени Суворова, полководец фигурирует под именем “Вождь”» [Кузьмин: 84]. Однако если при исследовании батальных од Г. Р. Державина исходить из положения, что все произведения представляют собой единый цикл, объединенный идейным содержанием, отсутствие в оде «На взятие Измаила» эксплицитно выраженного образа Суворова следует отнести к частному варианту инвариантной модели батальной оды Державина, диалектическое единство которой обеспечивается тем, что указанный элемент «подтверждается» другими элементами системы батальной оды [Лотман: 43]. Так как образ Суворова находится за скобками повествования, акцент в оде «На взятие Измаила» смещается на образ Росса, который позднее, в оде «На переход Альпийских гор», будет рядом с образом Суворова. Этот и другие вышеизложенные факты позволяют поставить данную батальную оду в один ряд с одами «На взятие Варшавы», «На победы в Италии», «Орел» и «На переход Альпийских гор».

¹ РГВИА. Ф. 52. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 89–90.

Думается, сам Суворов был обманут в своих ожиданиях, но тем не менее удостоен звания подполковника лейб-гвардии Преображенского полка. А по ходатайству Потемкина был произведен выпуск памятной медали с изображением Суворова.

Исторический дискурс в оде «На взятие Измаила» создается рассуждениями Державина на тему роли России в мировом историческом процессе, мыслями о силе духа страны, способной, преодолев феодальную раздробленность и гнет татаро-монгольского ига, преобразиться и занять одно из ведущих положений на мировой арене. Основную роль в возрождении и расцвете страны Державин отводит собирательному образу Росса, который вбирает в себя и вождя, и народ:

Я вижу страшную годину:
Его три века держит сон,
Простертую под ним долину
Покрыл везде колючий терн;
...
Он спит — и несекомы гады
Румяный потемняют зрак,
Войны опустошают грады,
Раздоры пожирают злак;
...
Восстал! как утром холм высокой
Встает, подьемляся челом
Из мглы широкой и глубокой,
Разлитой вкруг его, и, гром
Поверх главы в ничто вменяя,
Ногами волны попирая,
Пошел — и кто возмог против?
...
О росс! твоя лишь добродетель
Таких великих дел содетель;
Лишь твой орел луну затмил [Державин 1: 350–353].

Далее образ Росса интегрируется в систему, состоящую из образов реальных исторических личностей — Олега и Ольги, тем самым становится новым субъектом истории. Так создается не только новаторская

трактовка современного исторического процесса, но и устанавливается цель для будущих завоеваний — поход на Константинополь:

Не вновь ли то Олег к Востоку
Под парусами флот ведет
И Ольга к древнему потоку
Занятый ею свет лиет?
Иль россов идет дух военный,
Христовой верой провожденный,
Ахейя спасть, агарян стерть? —
Я слышу, громы ударяют,
Пророки, камни возглашают:
То будет ныне или впредь! [Державин 1: 356].

Следующий повод утвердить в лирике новые исторические завоевания России возникает в 1794 г. с Варшавским походом Суворова. Тему влияния выдающейся личности Суворова на историю Державин затрагивает в оде «На взятие Варшавы». В личной переписке Державин писал Суворову: «Преисполнен будучи истинной любви к отечеству, почтения ко всему тому, что называется мужество или доблесть, уважения к громкой славе Россиян, обожания великому духу нашей Государыни, беру смелость поздравить В<аше> С<иятельство> и сотрудников Ваших с толико знаменитыми и быстрыми победами. Ежели бы я был пиит, обильный такими дарованиями, которые могут что-либо прибавлять к громкости дел и имени героев, то я бы Вас избрал моим и начал песнь таким образом...» [Державин 6: 19]. Далее Державин написал четверостишие, позднее полностью вошедшее в оду «На взятие Варшавы»:

Пошел — и где тристаты злобы?
Чему коснулся, все сразил:
Поля и грады — стали гробы!
Шагнул — и царство покорил [Державин 2: 636].

Образ Суворова в оде «На взятие Варшавы» полон гиперболизированных черт, это образ былинного богатыря, мифологического героя:

Вихрь полуночный, летит богатырь

...

Молнии от взоров бегут впереди,

Дубы грядою лежат позади.

Ступит на горы — горы трещат,

Ляжет на воды — воды кипят,

Граду коснется — град упадает,

Башни рукою за облак кидает

...

Ты ль — Геркулес наш новый, полночный [Державин 2: 642].

Данную особенность образа Суворова в оде «На взятие Варшавы» отмечали многие исследователи: А. В. Западов в работе «Поэты XVIII века» [Западов: 170–180], Е. В. Никольский в статье «Героическая трактовка образа А. В. Суворова в творчестве Державина» [Никольский], а также Г. В. Ситникова в статье «Суворов глазами друзей и недругов» [Ситникова].

На уровне реальных исторических сравнений Державин с самых первых строк уподобляет Суворова с великим полководцем древности — Александром Македонским.

Полсвета очертил блистающий ваш меч;

И славы гром,

Как шум морей, как гул воздушных споров,

Из дола в дол, с холма на холм,

Из дебри в дебрь, от рода в род,

Прокатится, пройдет,

Промчится, прозвучит

И в вечность возвестит,

Кто был Суворов:

По браням — Александр, по доблести — стоик,

В себе их совместил и в обоих велик [Державин 1: 641].

Сравнение с Македонским встречается так же в оде «Орел»:

Соименитому герою
Подобно, ты рождён судьбою
Коварства узел рассеци [Державин 2: 241].

В 1799 г. Суворов принял командование русско-австрийской армии и провел удачную военную кампанию против французов, захвативших Италию. В оде «На победы в Италии», написанной по этому случаю, Г. Р. Державин снова формирует образ Суворова при помощи отсылки к реальным историческим персонажам, на этот раз через сконструированный им образ Рюрика. В основу оды положен победоносный поход варягов во Францию, историческая достоверность которого крайне сомнительна [Державин 2: 273], однако очевидно, что Державин использует выдуманные варяжские победы над французами с целью создания исторической параллели между князем Рюриком и Суворовым, чем порождает историческую преемственность двух образов и создает победоносную традицию русского оружия в своей оде.

Кто, на копье склоняясь главою,
Событье слушает времен? —
Не тот ли, древле что войною
Потряс парижских твердость стен? [Державин 2: 273].
...
Так он! — Се Рюрик торжествует
В Валкале звук своих побед
И перстом долу показывает
На росса, что по нем идет [Державин 2: 273–274].

Данная система образов в восприятии читателя дополняется тем, что отсылает к реальному историческому Рюрику, государственному деятелю мирового масштаба, который согласно норманской теории повлиял на историческое становление России. В один ряд с ним ставит Державин своего Суворова, образ которого в очередной раз в творчестве поэта поражает своим аскетизмом, грандиозностью одержанных побед и огромной силой, сравнимой с масштабными природными явлениями — бурей и девятым валом:

«Се мой, — гласит он, — воевода!
Воспитанный в огнях, во льдах,
Вождь бурь полночного народа,
Девятый вал в морских волнах,
Звезда, прешедша мира тропы,
Который след огня черты,
Меч Павлов, щит царей Европы,
Князь славы!» — Се, Суворов, ты! [Державин 2: 274].

Таким образом, мы можем наблюдать влияние реальных дел Суворова и его биографии на то, каким образом предстает его образ в художественном произведении. Державин отмечает значимые черты истинного государственного деятеля, причем как черты личностные (аскетизм, вера в Бога, решительность), так и черты, связанные с профессией и положением в обществе (самоотверженное служение государству, честное выполнение своих обязанностей), и, используя гиперболизированные образы, высвечивает эти черты перед читателем. Когда Суворов подвергается гонениям со стороны государства в лице монарха Павла I, это обстоятельство находит отражение в творчестве Державина как событие совершенно недопустимое, что подтверждает последовательность позиции Державина. И точно так же в его творчестве представлено возвращение Суворова на государственную службу, которое оценивается поэтом с восторгом как восстановление справедливости:

Сбылось пророчество, сбылось!
Луч, воссиявший из-под спуда,
Герой мой вновь свой лавр вознес! [Державин 2: 275].

Подобный подход к построению образа Суворова следует проиллюстрировать на примере еще одного произведения — «На переход Альпийских гор». В оде отражено важное историческое событие, русское войско во главе с Суворовым совершило невозможное: солдаты и офицеры перешли через Альпы в страшнейших условиях, а после этого похода разгромили французские войска.

В оде «На переход Альпийских гор» Державин не просто ставит образ Суворова в один ряд с образами Ганнибала, Юлия Цесаря и Евгения Савойского, а возвышает его над ними:

Из мраков встают Стигийских
Евгений, Цесарь, Ганнибал;
Проход чрез Альпы войск российских
Их души славой обуял.
«Кто, кто», — вещают с удивленьем, —
«С такую смелостью, стремленьем
Прешел против природы сил
И вражьих тьмы попрал затворов?
Кто больше нас?» — Твой блеск, Суворов,
Главы их долу преклонил [Державин 2: 292–293].

Суворов — реальный человек, которого автор хорошо знал, поэтому идеальный образ Суворова в одах опирается на его настоящие биографические черты, которые Державин художественно преобразил в своих произведениях, чтобы с наибольшей яркостью воплотить необходимые для художественного замысла черты полководца. Черты эти важны для правильного раскрытия образа, поскольку Державин в своих одах утверждает, что именно эти качества и возвысили Суворова над другими полководцами, поэтому поэт, репрезентируя образ Суворова, использует прием исторических сравнений.

Возьми кто летопись вселенной,
Геройские дела читай;
Цня их истиной священной,
С Суворовым соображай.
Ты зришь: тех слабость, сих пороки
Поколебали дух высокий;
Но он из младости спешил
Ко доблести простерть лишь длани;
Куда ни послан был на брани,
Пришел, увидел, победил [Державин 2: 293].

Отмечая оценку Державиным личности Суворова в истории как исключительную для всего мирового исторического процесса, следует упомянуть, что одна из важнейших реальных исторических функций Суворова как полководца состояла в том, чтобы остановить наметившуюся тенденцию буржуазных революций в Европе. Державин высоко

почитал монархию как государственный строй, идея воплотившейся в монархии высшей божественной справедливости на земле входит в идейно-мировоззренческую концепцию поэта в качестве одного из основных элементов.

Вам видим бег светил небесных:
Не правит ли им ум один?
В словесных тварях, бессловесных,
У всех есть вождь, иль господин:
Стихий разность — разнострастье,
Верховный ум — их всех согласие,
Монарша цепь есть цепь сердец.
Царь — мнений связь, всех действий причина,
И кротка власть отца едина —
Живого Бога образец [Державин 2: 295].

Соответственно, сила, противостоящая монархии, Державиным относится к крайне негативным явлениям, осуждается, ей присваиваются отрицательные определения «крамола», «гидра» и ряд других. Люди, замешанные в делах революции, предстают участвующими в делах зла, руководимые силами ада, а противостояние монархии и революции нарекается «спором ада с небесами».

Вам предоставлено судьбами
Решить спор ада с небесами:
Сообщать ли солнцу блеск звездам,
Законам естества ль встать новым,
Стоять ли алтарям Христовым,
И быть или не быть царям? [Державин 2: 295].

Однако важно особо отметить, что, согласно взглядам Державина, монарх должен обладать важными положительными чертами, соответствовать идеальному образу. Такими чертами обладал, по мнению поэта, Суворов: его образ превозносится поэтом и гиперболизируется. Державин упоминает, что Суворов «царям сокровный», т. е. в полной мере представляет монархию. Реальный Суворов соответствует убеждениям Державина, поэтому его образ становится не просто частью

политического манифеста, а идеалом. Батальные оды Г. Р. Державина, в которых идейным центром является образ Суворова, наполнены искренним восхищением со стороны автора. Это авторское отношение сформировано действительно выдающейся личностью человека, который внес огромный вклад в дело становления воинской славы российского оружия. Таким образом, посредством приема сравнения Г. Р. Державин гиперболизирует образ Суворова, чем превозносит его и делает образцом для подражания. Проанализировав оды «На взятие Измаила», «На взятие Варшавы», «Орел», «На победы в Италии» и «На переход Альпийских гор» с точки зрения влияния реальной личности на формирование художественного произведения, мы пришли к выводу, что огромную роль в этом процессе играет личность автора. Поэт зачастую придает образу исторического лица элементы своей субъективной оценки, увеличивает дистанцию между реальностью и миром художественного произведения. Не ставя задачи максимального приближения к реальности, автор тем не менее создает определенный угол зрения на личность Суворова, формируя особое представление об этом человеке среди современников и потомков.

Список литературы

Источники

Державин Г. Р. Сочинения Державина, с объяснительными примечаниями Я. К. Грота. СПб.: Имп. Акад. наук, 1864–1883. Т. I–IX.

Суворов А. В. Письма / изд. подгот. В. С. Лопатин; отв. ред. А. М. Самсонов. М.: Наука, 1986. 808 с.

Исследования

Западов А. В. Поэты XVIII века: М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин. М.: МГУ, 1979. 311 с.

Западов В. А. Комментарий: Державин. На взятие Измаила // *Державин Г. Р.* Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1957. С. 170–180.

Кузьмин А. И. Героическая тема в русской литературе. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1974. 304 с.

Ларкович Д. В. Державин и Суворов: творческое взаимодействие автора и героя // Русская литература. 2010. № 3. С. 62–73.

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л.: Просвещение, 1972. 271 с.

Никольский Е. В. Героическая трактовка образа А. В. Суворова в творчестве Державина // Г. Р. Державин и диалектика культур: материалы Международной научной конференции. Казань: Казанский (Приволжский) федеральный ун-т, 2014. С. 180–185.

Ситникова Г. В. А. В. Суворов глазами друзей и недругов // Российская государственность в лицах и судьбах ее создателей: IX–XXI вв.: материалы V Международной научной конференции. Липецк: ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. С. 86–90.

References

Zapadov, V. A. *Poety XVIII veka: M. V. Lomonosov, G. R. Derzhavin* [Poets of the 18th Century: M. V. Lomonosov, G. R. Derzhavin]. Moscow, Lomonosov Moscow State University Publ., 1957, pp. 170–180. (In Russ.)

Zapadov, V. A. “Kommentarii: Derzhavin. Na vziatie Izmaila” [“Commentary: Derzhavin. On the Capture of Izmail”]. Derzhavin, G. R. *Stikhotvoreniia* [Poems]. Leningrad, Sovetskii pisatel' Publ., 1957, pp. 170–180. (In Russ.)

Kuz'min, A. I. *Geroicheskaia tema v russkoi literature* [Heroic Theme in Russian Literature]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1974. 304 p. (In Russ.)

Larkovich, D. V. “Derzhavin i Suvorov: tvorcheskoe vzaimodeistvie avtora i gerovia” [“Derzhavin and Suvorov: Creative Interaction between the Author and the Hero”]. *Russkaia literatura*, 2010, no. 3, pp. 62–73. (In Russ.)

Lotman, Ju. M. *Analiz poeticheskogo teksta* [Analysis of the Poetic Text]. Leningrad, Prosveshchenie Publ., 1972. 271 p. (In Russ.)

Nikoľskii, E. V. “Geroicheskaia traktovka obraza A. V. Suvorova v tvorchestve Derzhavina” [“Heroic Interpretation of the Image of A. V. Suvorov in Derzhavin's Works”]. *G. R. Derzhavin i dialektika kul'tur: materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii* [G. R. Derzhavin and the Dialectics of Cultures: Proceedings of the International Scientific Conference]. Kazan, Kazan Federal University Publ., 2014, pp. 180–185. (In Russ.)

Sitnikova, G. V. “A. V. Suvorov glazami druzei i nedrugov” [“Alexander Suvorov as Seen by Friends and Foes”]. *Rossiiskaia gosudarstvennost' v litsakh i sud'bakh ee sozidatelei: IX–XXI vv.: materialy V Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii* [Russian Statehood in Persons and Fates of its Creators: 9–21 Centuries: Materials of the 5th International Scientific Conference]. Lipetsk, Lipetsk State Pedagogical University named after P. P. Semenov-Tyan-Shanskiy Publ., 2017, pp. 86–90. (In Russ.)

Suvorov, A. V. *Pis'ma* [Letters]. Moscow, Nauka Publ., 1986. 808 p. (In Russ.)

© 2021. И. А. Виноградов
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Художник и власть.

Н. В. Гоголь и цензурная политика XIX–XX вв.

Аннотация: Статья посвящена историко-теоретическим проблемам отношений художника и власти. В работе обобщаются старые и формулируются новые методологические принципы изучения деятельности российской цензуры XIX в. Всестороннее изучение цензурных историй произведений Н. В. Гоголя вносит существенные коррективы в представление об исключительно негативной роли цензуры в его писательской судьбе, свидетельствует в целом о положительном итоге взаимодействия с цензурным ведомством. Анализируется ограниченность унаследованного от истекшей эпохи «классового подхода» в понимании и оценке цензуры, которая на самом деле представляет необходимую систему регламентирующих норм и ограничений. Подчеркивается социальная значимость общественного института цензуры как важнейшей составляющей культуры. При известных недостатках цензурного ведомства в XIX в., освещению которых уделяла исключительное внимание предшествующая радикальная критика, российская цензура стояла на переднем крае борьбы с теми негативными процессами, которые получили развитие в последующем XX в. Исследуется характер гоголевской сатиры как формы государственного служения. В числе подцензурных проблем рассматривается соотношение духовно-пастьерского обличения с государственными интересами.

Ключевые слова: Гоголь, биография, творчество, цензура, интерпретации, авторский замысел, поэтика, сатира, общественная идеология, история России, духовное наследие.

Информация об авторе: Игорь Алексеевич Виноградов, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9151-4554>

E-mail: info@imli.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 03.11.2020

Дата одобрения статьи рецензентами: 29.01.2021

Дата публикации статьи: 22.03.2021

Для цитирования: Виноградов И. А. Художник и власть. Н. В. Гоголь и цензурная политика XIX–XX вв. // Два века русской классики. 2021. Т. 3, № 1. С. 40–111. DOI <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-40-111>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 40–111. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 40–111. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2021. **Igor' A. Vinogradov**
A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

Artist and Authorities.

Nikolay Gogol and the Censorship Policy of the 19th — 20th Centuries

Abstract: The article is devoted to historical and theoretical problems of relations between an artist and the authorities. The work summarizes old methodological principles for studying Russian censorship in the 19th century and formulates the new ones. A comprehensive study of the censorship histories of N. V. Gogol's works introduces significant adjustments to the idea of the exclusively negative role of censorship in his literary fate, and proves the overall positive interaction with the censorship department. The author analyzes the limitations of the “class approach” inherited from the past era in the understanding and assessment of censorship, which in fact represents a system of regulatory norms and restrictions. The social significance of the institution of censorship as the most important component of culture is emphasized. Despite the well-known shortcomings of the censorship department in the 19th century, which was exclusively covered by the radical criticism, Russian censorship was at the forefront of the struggle against negative processes that developed in the subsequent 20th century. The character of Gogol's satire as a form of public service is studied. The correlation of spiritual and pastoral denunciation with state interests is considered among other censorship issues.

Keywords: Nikolai Gogol, biography, creativity, censorship, interpretations, author's intention, poetics, satire, social ideology, history of Russia, spiritual heritage.

Information about the author: Igor' A. Vinogradov, DSc in Philology, Director of Research, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9151-4554>

E-mail: info@imli.ru

Received: November 03, 2020

Approved after reviewing: January 29, 2021

Published: March 22, 2021

For citation: Vinogradov, I. A. “Artist and Authorities. Nikolay Gogol and the Censorship Policy of the 19th — 20th Centuries.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 40–111. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-40-111>

1. Методология и идеология

Литературоведение давно нуждается во всестороннем обзоре взаимоотношений писателя и цензуры как одной из важных составляющих проблемы художник и власть, литература и государственность. Цензура, через которую государство, помимо других мер, осуществляет свое воздействие на литературу, занимает первостепенное место во взаимоотношениях писателя и власти. Важнейший материал для анализа политики государства в отношении литературы — а также отражения этой политики в художественном творчестве — представляет собой наследие Н. В. Гоголя, оказавшего значимое влияние на литературный процесс XIX в. Тема «Гоголь и цензура» является одной из востребованных и одновременно наименее изученных в биографии и творчестве художника. Долгое время идеологические спекуляции на тему «Гоголь под николаевской цензурой», «Гоголь и царская цензура» (названия статей, вышедших в 1920–1980-х гг.¹) играли немаловажную роль в создании навязанного обществу радикальным критиком В. Г. Белинским мифа о «двух Гоголях» — обличителе самодержавия, «великого вождя <...> на пути <...> прогресса» в первом периоде творчества [Гоголь 2009–2010. 14: 367] и представителе «мракобесия» в последние годы жизни. Обстоятельства внелитературного характера на долгое время лишили исследователей возможности адекватно осветить эту проблему. Вследствие этого, несмотря на крайнюю — идеологически заостренную «актуальность» в советскую эпоху темы «Гоголь и цензура», оказалось, что за шестьдесят лет по этому вопросу не было написано ни одной книги, не было защищено ни одной диссертации.

Личность Гоголя является ключевой в литературе XIX в., творчество писателя знаменует собой переломный момент в развитии русского общества. Этот перелом означен деятельностью одного из главных

¹ См. [С. (псевдоним); Свиясов; Сдобнов].

гоголевских оппонентов, западника Белинского, зарождением под его началом «натуральной школы» и во многом благодаря Гоголю формированием реалистического направления отечественной словесности. В послегоголевскую эпоху образовалась целая плеяда критиков и литераторов, а затем и исследователей, выросших на радикальных истолкованиях наследия Гоголя, т. е. на очевидном недоразумении, недопонимании — и, очень часто, сознательном искажении смысла творчества писателя. Предвзятое мнение Белинского о Гоголе является, по сути, главным «оправданием» этой когорты исследователей — единственным «гвоздем», на котором они «повесили» все свое значение в литературе. («Если все вешать на одном гвозде, так уже следует запастись, по крайней мере, хорошим гвоздем...» — говорил Гоголь [Виноградов 2011–2013. 3: 465].) Назрела необходимость аргументированно обозначить ключевые противоречия и неочевидные нонсенсы в развитии нашей словесности.

В современных критике и литературоведении проблемы «художник и власть», «писатель и цензура» до сих пор интерпретируются по преимуществу в негативном плане. Эта традиция в свою очередь была задана еще в XIX в. продолжателями Белинского. Обращение к наследию Гоголя помогает преодолеть стереотипные представления о возможностях и границах сотрудничества государственной власти и личности, развенчать предвзятое мнение о существовании непреодолимого барьера между самовыражением художника, его гражданской позицией и литературной политикой государства.

С назревшей необходимостью объективного подхода к изучению цензуры XIX в. связан целый ряд конкретных методологических принципов в освещении этой темы.

1. Научный подход к описанию взаимоотношений писателя и цензуры требует воссоздания диалога Гоголя с властью в полном объеме. Долго употреблявшаяся в качестве аксиомы, ничем не доказанная гипотеза о постоянных преследованиях Гоголя со стороны правительственной цензуры исходит из такого же заведомо ложного убеждения, будто писатель заключал в себе огромный оппозиционный потенциал в отношении к существующей власти, оставшийся, по причине цензурных препон, не вполне реализованным. Однако, как следует из содержания произведений и многочисленных фактов биографии художника, религиозные и политические взгляды Гоголя никогда не противоречили

официально принятой в России в XIX в. идеологии, которая являлась наследием ее многовековой истории. Из признаний самого Гоголя известно, что «внутренне», в главных своих убеждениях, он не изменялся никогда — шел «тою же дорогою» [Гоголь 2009–2010. 6: 228], «не шатаюсь и не колеблюсь никогда во мнениях главных», «с 12-летнего, может быть, возраста» [Гоголь 2009–2010. 12: 392], т. е. от самого поступления в Нежинскую гимназию в 1821 г.¹ Этому позднему гоголевскому признанию точно соответствуют строки его юношеского письма от 3 октября 1827 г., написанного к двоюродному дяде Петру П. Косяровскому в последний год обучения в Нежине: «Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу» [Гоголь 2009–2010. 10: 74]. Отношения писателя с цензурой, вопреки навязанным впоследствии представлениям, никогда не содержали в себе ничего экстраординарного, что бы нарушало обычную практику взаимоотношений цензора и писателя. Такой вывод вполне подтверждается всеми, без исключения, цензурными историями гоголевских произведений².

2. Критической оценки требует также сложившийся в советских ангажированных работах взгляд на цензоров как на ограниченных, недалеких чиновников. По весьма субъективному, далекому от реальности заявлению В. В. Набокова, «в цензоры шли негодяи и недоумки» [Набоков: 27]. Что касается российских цензоров XIX в., то в подавляющем большинстве они были личностями одаренными и вполне компетентными для исполнения той обязанности, которая была возложена на них правительством. Почти все так или иначе были связаны с литературой и журналистикой, создавали художественные произведения, переводы, мемуары, занимались издательской деятельностью. Достаточно сказать, что цензорами были известные писатели и поэты Н. И. Греч (служил цензором в 1813–1815 гг.), В. Г. Анастасевич (1826–1828), князь В. Ф. Одоевский (1826–1840), С. Т. Аксаков (1827–1832),

¹ См. подробнее: [Виноградов 2015: 185–186; Виноградов 2017–2018. 1: 309–310].

² Цензурные истории произведений Гоголя подробно рассмотрены автором статьи в монографии «Н. В. Гоголь и цензура. Взаимоотношения художника и власти как ключевая проблема гоголевского наследия» (готовится к печати).

С. Н. Глинка (1827–1830), В. В. Измайлов (1828–1830), О. И. Сенковский (1828–1833), П. А. Корсаков (1835–1844), Ф. И. Тютчев (1844–1873), И. И. Срезневский (1847–1850), П. И. Капнист (1855–1862), князь П. А. Вяземский (1856–1858), И. А. Гончаров (1856–1867), И. И. Лажечников (1856–1858), Е. Е. Волков (1860–1864), К. Н. Леонтьев (1880–1887) и др. Из них Аксаков, Вяземский, Одоевский, Срезневский были близкими друзьями Гоголя. Одоевский даже разрабатывал цензурный устав 1828 г.¹, который называл «своим»: «...В мире чиновническом замечаю мой Ценсурный Устав 1828-го года² и Права Авторской Собственности³, о которой до меня никто и не думал...» [Одоевский 1929: 67].

Назначаемые на должность правительством российские цензоры в большинстве своем разделяли государственную литературную политику, хотя встречались такие, например, А. В. Никитенко, Н. И. Крылов, которые вели «двойную игру»: под показной служебной лояльностью скрывали недовольство и оппозиционные настроения. Подобных примеров в изучаемый период было немало: свои особые виды, не согласные с правительственными, имели также цензоры М. Т. Каченовский, О. И. Сенковский, Е. И. Ольдекоп, С. Н. Глинка, Л. Л. Штюмер и др.

3. Литературная политика правительства осуществлялась главным образом на законодательном уровне, в разработке цензурных уставов, в отдельных официальных распоряжениях и циркулярах. В исключительных случаях, при оценке того или иного значимого произведения

¹ См.: [Одоевский 1874: 11–30; Одоевский 1897: 284].

² 1828. Апреля 22. (Распубликован Сенатом 17 Мая.) Высочайше утвержденный Устав о Ценсуре // [Полное Собрание Законов Российской Империи. 3: 459–478] (далее ссылки на это издание даются с использованием сокращения ПСЗРИ); [Устав о ценсуре].

³ Подразумеваются § 135–138 цензурного устава 1828 г. и приложенное к нему «Положение о правах Сочинителей» (см.: 1828. Апреля 22. (Распубликован Сенатом 17 Мая.) Высочайше утвержденный Устав о Ценсуре // [ПСЗРИ. 3: 475]; 1828. Апреля 22. Высочайше утвержденное положение о правах Сочинителей // [ПСЗРИ. 3: 478–480]; [Устав о ценсуре: 67–69, 93–101]). Позднее, 8 января 1830 г., составленное Одоевским «Положение о правах Сочинителей» было дополнено указом «О правах Сочинителей, переводчиков и издателей» (см.: 1830. Генваря 8. (Распубликован Сенатом 4 Февраля.) Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета. — О правах Сочинителей, Переводчиков и Издателей // [ПСЗРИ. 5, отд. 1: 17–21]). См. также: [Лозинский].

(например, при рассмотрении сочинений Пушкина или «Ревизора» Гоголя), в цензурной истории принимали личное участие председатель Главного управления цензуры, глава министерства народного просвещения С. С. Уваров и сам Император Николай I. Однако обычное, «повседневное» влияние власти на литератора осуществлялось в конкретной деятельности цензоров, назначенных для рассмотрения произведений с целью обеспечения авторами публичной политической благонадежности и контроля за соблюдением ими нравственных норм. Как показывает практика, недифференцированное изучение цензурных вмешательств в гоголевские произведения как случаев обобщенно «анонимных», принадлежащих некоей «цензуре вообще», непродуктивно и малорезультативно. Личность цензора всегда имела такое же немаловажное значение, как, к примеру, фигура того или иного редактора периодического издания, определявшего направление и характер журнальных публикаций. Важно рассматривать взаимоотношения Гоголя (или любого другого писателя) на протяжении всей писательской карьеры с конкретными представителями официальной цензуры, выявлять логику личной работы того или иного чиновника-цензора с авторскими произведениями. Наряду с изучением влияния общественно-политических и литературных взглядов рядовых цензоров на прохождение сочинений писателя в цензуре, непременно анализу должна быть подвергнута общая цензурная политика, определяемая направлением деятельности их прямых руководителей: в случае с Гоголем — упомянутых министра Уварова и Императора Николая I.

4. Следует учитывать, что деятельность правительства в области литературы и образования, кроме собственно цензурной политики, создавала определенный общественный и политический климат, влияние которого испытывал любой автор. Отчасти эта атмосфера формировалась с помощью цензуры, однако определяющее влияние на содержание духовной среды оказывало общее направление политики государства. Еще до непосредственного поступления в цензуру любое литературное произведение создавалось автором с учетом господствующей идеологии, так что всё, так или иначе выходящее за рамки принятых норм и правил, подвергалось вполне понятной авторской самоцензуре. При этом следует различать, в каких случаях подобная «автоцензура» (выявляемая в каждом конкретном случае с той или иной степенью вероятности) является «насильственной», вынужден-

ной; в каких — автор сам, без принуждения, желал того, чтобы его произведения соответствовали направлению деятельности правительства.

5. Изложенные обстоятельства существенно расширяют круг исследования. При изучении «доцензурной» стороны литературного процесса насущным является не только учет предполагаемой «тени цензуры», но и анализ сопутствующего редакторского участия в судьбе того или иного произведения: это вмешательство довольно часто было связано с цензурными соображениями. В ряде случаев невозможно отделить цензурные исправления от самоцензуры или редакторского вмешательства. Таким образом, проблема взаимоотношений Гоголя с цензурой, поставленная в широком контексте отношений художника и власти, требует включать в поле исследования влияние на публикацию отдельных гоголевских произведений конкретных редакторов contemporaneous изданий: П. П. Свиньина, О. И. Сенковского, Н. И. Греча, С. П. Шевырева, В. П. Андросова, М. П. Погодина, литературной политики С. С. Уварова (в данном случае как главы «Журнала Министерства Народного Просвещения», где печатался Гоголь), литературно-критической деятельности А. С. Пушкина. Редакторство Пушкина и редакционная политика всех других издателей журналов во многом неизбежно были ориентированы на официальную цензуру. Словом, важно учитывать деятельность цензора как критика, редактора, а также самого автора как «цензора».

6. Детальное изучение взаимоотношений Гоголя с цензурным ведомством на протяжении всего творческого пути свидетельствует, что созданный в рамках советской методологии миф о пагубной «царской цензуре», сыгравшей злополучную роль в судьбе Гоголя, оказывается в значительной мере несостоятельным. Реальная картина взаимоотношений цензора и писателя в XIX в. была гораздо сложнее, чем примитивное и непримиримое противостояние, бытование которого внушала в представлениях о литературном процессе советская и досоветская радикальная публицистика. Столь же несостоятельным является утверждаемое политизированной критикой противостояние «белых» писателей-либералов с «черными» консерваторами-цензорами. Напротив, в российском обществе XIX в., уже достаточно глубоко проникнутом либеральными идеями, либералом подчас оказывался цензор, а писатель — такой, как Гоголь, — исповедывал проправительственные, консервативные взгляды. «Преследователем» и «гонителем»

писателя оказывался, таким образом, не охранитель-консерватор, а либерал, агрессивно выступающий против автора, являющегося носителем неугодных «прогрессивному» чиновнику религиозных убеждений и политических взглядов (в полной мере эта традиция была продолжена в деятельности последующей цензуры советского периода).

Вопреки расхожему мнению о том, будто главной силой, противостоящей художнику, всегда выступает правительство, факты свидетельствуют, что применительно к наследию Гоголя, в частности, по поводу прохождения в цензуре его статьи «Театральный разъезд после представления новой комедии», книги «Выбранные места из переписки с друзьями», сложилась такая ситуация, когда тексты консервативного писателя беспощадно «корректировал» и сокращал либеральный цензор, а именно западник А. В. Никитенко, друг Белинского (его «другой экземпляр», по определению П. А. Плетнева [Грот, Плетнев: 702]). «Охранительные» идеи Гоголя, открыто выраженные в его произведениях, подверглись купированию цензором, придерживавшимся, вопреки занимаемой должности, либеральных взглядов. (С подобным негласным участием цензоров в борьбе противоположных партий Гоголь столкнулся еще в 1834 г., когда работал над повестями «Миргорода».)

Естественно, что лицемерный консерватизм, показная маска, скрывающая радикальные взгляды, порой снималась. Так, еще один цензор с либеральными воззрениями, «цензор-европеец» Н. И. Крылов [Гоголь 2009–2010. 12: 9] и, вслед за ним, упомянутой цензор Никитенко — оба — независимо друг от друга — совершили в 1844 г. характерную тождественную «ошибку» («ошибку» — с точки зрения государственной идеологии, но отнюдь не взглядов самих этих цензоров). Выступив в 1842 г. с показных псевдо-консервативных позиций против гоголевских «Мертвых душ», Крылов два года спустя, вопреки демонстрируемому консерватизму, одобрил роман-памфлет Е. П. Лачиновой «Проделки на Кавказе», за что в итоге был отстранен от должности цензора. Содержание и само авторство разрешенного Крыловым романа говорят о том, что «ошибка» была допущена цензором вполне сознательно. Деверем (братом мужа) Лачиновой был декабрист Е. Е. Лачинов (адресат одного из стихотворных посланий К. Ф. Рыльева 1816 г. на тему «хождения к девкам» — «К Лачинову. (В Москву)»). (Высказано даже предположение, что декабрист Лачинов был соавтором романа своей снохи [Вейденбаум: 320]. Кроме того, установлено, что в «Проделках на

Кавказе» Е. П. Лачинова использовала записки своего сожителя декабриста А. А. Бестужева [Титов: 135].) Несмотря на очевидный шлейф либерализма, присущий роману, Никитенко как правительственный цензор в том же 1844 г., вслед за Крыловым, тоже легко одобрил¹ похвальную рецензию о «Проделках на Кавказе» П. Н. Кудрявцева, с пространными отрывками из романа Лачиновой, предназначенную в либерально-западнические «Отечественные Записки» [Кудрявцев].

7. Изучаемая проблема носит не только частный характер. Она применима к творчеству Гоголя, но при этом имеет общетеоретическое и важное социальное значение. Предмет исследования тесно связан с господствовавшим долгое время в марксистском литературоведении утилитарным взглядом на художественную словесность, неизменно присутствовавшим почти во всех интерпретациях русской классики советских литературоведов. Согласно марксистскому взгляду, литературное наследие ценно главным образом как разоблачение корыстных интересов господствующего класса. Отчасти оправданный по отношению к некоторым произведениям пропагандистского толка, такой подход является в то же время грубым искажением самой сути литературного процесса, содержания художественной словесности в целом. Прагматический, «классовый» подход в оценке литературного классического наследия привел советских идеологов к такому же ошибочному представлению и о роли цензуры в обществе. Если литературу рассматривать исключительно сквозь призму «государство и революция» — как одно из средств борьбы против «господствующего класса» (с его многочисленными социальными институтами), то при таком ограниченном понимании «логично» и цензуру рассматривать лишь как охранительное учреждение, призванное воспрепятствовать революционным движениям. Другими словами, если признать за литературой единственную функцию — ведение классовой борьбы, тогда исключительным назначением цензуры остается, соответственно, задача противостояния этой борьбе. Утилитарный, «классовый» взгляд на литературу порождает столь же узкое и ошибочное представление о роли общественной цензуры — и культуры в целом, с ее разнообразными «охранительными» и «консервативными» составляющими.

Взгляд на цензуру как на одно из «орудий» эксплуататорского класса свидетельствует о незрелости научного подхода, о «подростковом»

¹ См.: [Никитенко: 282–283].

характере науки. Близким аналогом такого типа мышления являются сетования воспитуемых «enfant terrible» на родителей, воспитателей и педагогов. «По-взрослому» «оправданным» такой подход может быть лишь в одном случае — если русская государственность является для исследователя не родной, а «чужой», представляет собой враждебную силу, против которой «следует» вести непримиримую войну.

Почти столетие изучение русской классики по преимуществу определялось этим, по сути, негативистским подходом. Отрицательное отношение к «царской цензуре» не было при этом чем-то исключительным: последняя рассматривалась в общем ряду репрессивных инструментов власти «эксплуататоров». Таким «орудием подавления и угнетения» объявлялись, вместе с цензурой, армия, Церковь, государство со всем правительственным аппаратом, с системой образования, культуры и другими социальными учреждениями. Все объявлялось «царским», «эксплуататорским» — и подлежало уничтожению.

Состояние непрекращающейся гражданской войны несовместимо с нормальным существованием общества. Подобным образом и значение литературы не исчерпывается прагматическими задачами революционных преобразований, а цензура не является органом исключительно репрессивным. В научных работах последних лет взгляд на значение русской классики постепенно меняется. Однако в представлениях о цензуре до сих пор господствуют неизжитые взгляды советского периода, — мнения, являющиеся наследием марксистской, однополярной идеологии.

Взгляд на государственную цензуру исключительно с позиции «классовой борьбы» не позволяет увидеть ее неизменную позитивную роль. Вопреки предвзятым заявлениям западнической критики о якобы исключительно жестком, репрессивном характере цензурной политики XIX в., история отечественной и мировой литературы и культуры свидетельствует о преимущественно конструктивном для существования государства и самого общества характере цензуры, о ее насущной необходимости и оправданности в любой стране и в любую эпоху. Цензура как социальный институт, при всех ее очевидных недостатках, тем не менее, всегда являлась своего рода «медиатором» или посредником, примиряющим интересы разных слоев общества, представителей подчас противоположных взглядов. Объективно, цензура — своего рода социальный инструмент адаптации личных мнений, пополняю-

щих широкий общественный контекст. Помимо цензуры — и наряду с ней — эту же функцию выполняли и выполняют редакторское вмешательство, авторедактура и самоцензура — а также все стоящие за этими регуляторами социальные и духовные институты. Не считая цензурных ведомств, это — законы, мораль, нравственность, религия, правоохранительные органы, общественные организации, образовательные учреждения, редакционные коллегии, общественное мнение, эстетические образцы и эталоны и т. д., все то, что формирует культуру и одновременно диктует необходимые запреты и ограничения, этикетные «правила поведения» и табу в разных сферах общественной деятельности, включая литературу.

Показательно, что А. С. Пушкин, отношения которого с цензурой были, как известно, далеко не безоблачными, все же хорошо понимал необходимость социальных ограничений. В середине 1830-х гг. он с определенностью заявлял: «Я убежден [в необходимости] цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось. Что составляет величие человека, ежели не *мысль*? Да будет же *мысль свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом*»¹. Поэт писал: «Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно» [Пушкин 1841: 42]. По поводу «Записок» французского литератора «шпиона» Э. Видока Пушкин в 1830 г. замечал: «Не должна ли *гражданская власть* обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства?» [Пушкин 1830: 162; курсив мой. — И. В.].

Корректирование крайних авторских мнений, радикальных, агрессивных высказываний, эпатажирующих взглядов и поступков, воззрений, не совместимых с нравственностью и разрушительных для социального устройства, борьба со всеми этими опасными «вирусами» всегда была и остается жизненной потребностью любого социального организма. Наличие в обществе этой «охранительной» функции свидетельствует не о недостатках, а напротив, — о его зрелости и жизнеспособности.

¹ Пушкин А. С. <Путешествие из Москвы в Петербург. Черновая редакция>. См.: [Пушкин 1937–1959. 11: 235].

В качестве одного из частных негативных последствий, обусловленных узостью марксистского подхода, следует указать неизбежную дискредитацию самой исследовательской практики. Наука, которая без опоры на факты обслуживает разрушительные нападки на «чужую», «старую» государственность (включая цензуру), в итоге обнаруживает свою теоретическую несостоятельность в осмыслении как проблем литературы, так и сопутствующих ей государственных охранительных мер. Мимо внимания исследователей проходит тот непреложный факт, что цензура свойственна для любого государственного устройства. Спекулируя на теме «царской» цензуры, критики либерального лагеря пытались как бы «не замечать», что цензурные, идеологические ограничения являются неотъемлемым условием существования любого общества. Сами идеологи новой, будто бы вполне «свободной» эпохи, сразу после прихода к власти начали свою деятельность с построения новой государственной системы, которая является жизненно необходимой для функционирования социального организма. Популистские, «освободительные» лозунги сменились весьма жестким государственным контролем, гораздо более «тираническим» и репрессивным, чем в предшествующий период, который радикальная критика обличала за пресловутую жестокость.

Эта закономерность нашла отражение в появлении новой советской цензуры, которая закономерно была привлечена победителями для укрепления своей власти. Радужные представления об «идеальной» цензуре или даже о ее «ненужности», о возможности «отмены» цензурных препон, руководившие радикальными идеологами в борьбе с цензурой реальной, сменились на деле куда более агрессивной и нетерпимой системой запретов и ограничений. Согласно общей репрессивной — направленной против традиционной русской духовной культуры — политике нового советского государства (наглядным следствием этих репрессий массового характера явился целый сонм св. новомучеников и исповедников Российских и несколько волн русской эмиграции), в полном соответствии с запретительными функциями цензуры, действовала и отечественная литературоведческая наука этого периода, вольно или невольно обслуживавшая новую власть. Гуманитарная наука неизбежно принимала тогда на себя функции «цензурного» ведомства, была направлена на системное идеологизированное (в духе Белинского) искажение смысла гоголевского твор-

чества, на дезориентацию читателя в понимании подлинной глубины произведений классика. Применительно к наследию Гоголя идеологическая цензура новой эпохи выискивала всевозможные недочеты в надзорных действиях своей предшественницы, пополняя гоголевские тексты отдельными фразами и отрывками (остававшимися, по вине цензуры или автоцензуры, в черновиках). Одновременно по политическим причинам она сделала в сочинениях писателя столь существенные купюры, что эти изъятия не идут ни в какое сравнение с теми незначительными сокращениями, которые были произведены в текстах Гоголя всеми дореволюционными цензорами.

Сразу после революции 1917 г. в основу первого советского издания сочинений Гоголя, вышедшего в 1919 г., было положено семнадцатое однотомное издание 1901 г. — результат совместной текстологической и комментаторской работы академика Н. С. Тихонравова (1832–1893) и В. И. Шенрока (1853–1910). В «Предисловии к 17-му изданию» Шенрок писал: «Настоящее издание сочинений Гоголя имеет в виду удовлетворить главным образом требованиям общедоступности. Оно ставит себе целью дать *все* произведения великого писателя, за исключением тех, которые имеют значение только для ученых специалистов» [Шенрок 1901].

Это предисловие было без изменений воспроизведено в советском переиздании, подготовленном в 1919 г. петроградским отделением Литературно-издательского отдела Народного Комиссариата по просвещению¹ (возглавлял работу этого отдела текстолог К. И. Халабаев² [Эйхенбаум: 58]). Воспроизводя предисловие, издатели сделали даже примечание, что текст нового собрания воспроизводится «по старым матрицам» [Примечание издателей: 2]. Однако вопреки этому примечанию (и тем самым вопреки «Предисловию...» Шенрока) собрание было существенно сокращено. Из издания был изъят целый ряд важнейших гоголевских произведений: «Выбранные места из переписки с друзьями», «Авторская исповедь», статьи «О Современнике», «Искусство есть примирение с жизнью», письмо Гоголя к А. О. Россету от 15 апреля

¹ См.: [Шенрок 1919].

² Константин Иванович Халабаев (1886–1941) занимался также изданием сочинений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова, А. Н. Островского, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и других русских классиков.

(н. ст.) 1847 г., «Размышления о Божественной Литургии» и, соответственно, все «Примечания редактора» к этим текстам (стб. 1369–1656). Поскольку никаких комментариев при этом советскими издателями сделано не было, то исключенные тексты попали, таким образом, — в соответствии с содержанием предисловия Шенрока, — в раздел произведений, имеющих «значение только для ученых специалистов». Примечание Шенрока (не относившееся к изъятым произведениям) и его научный авторитет стали ширмой для идеологических спекуляций вокруг наследия Гоголя. Весьма беззастенчиво при этом заявлялось: «С весны 1918 года Литературно-издательский отдел начал подготовку новых, советских изданий Пушкина, Лермонтова, Гоголя... <...> Главная задача этой подготовительной работы заключалась в том, чтобы освободить их сочинения от искажений, произведенных царской цензурой, и опубликовать те, которые были вовсе запрещены...» [Эйхенбаум: 43].

Не были включены изъятые в 1919 г. из обращения гоголевские произведения (в том числе «Размышления о Божественной Литургии») и в неоднократно переиздававшееся в послереволюционные годы собрание сочинений Гоголя в трех томах, подготовленное теми же текстологами — К. И. Халабаевым и Б. М. Эйхенбаумом [Гоголь 1927; Гоголь 1928; Гоголь 1929; Гоголь 1930].

Позднее книга Гоголя «Размышления о Божественной Литургии» не была помещена даже в академическое «Полное собрание сочинений» Гоголя в четырнадцать томах 1937–1952 гг. (издание готовилось сотрудниками Пушкинского Дома). Во вступительной заметке «От редакции» 1940 г., помещенной в первом томе этого собрания (редакция издания: В. В. Гиппиус, В. А. Десницкий, В. Я. Кирпотин, Н. Л. Мещеряков, Н. К. Пиксанов, Б. М. Эйхенбаум), был напечатан план распределения гоголевских произведений по томам издания. Согласно этому проекту, «Размышления о Божественной Литургии» предполагалось поместить в девятом томе собрания среди малозначительных и подготовительных гоголевских текстов: «записных книг и черновых заметок Гоголя, не связанных непосредственно ни с художественными, ни с критико-публицистическими его текстами», среди «мелких произведений юношеского периода»: «IX. Стихотворения. Классные сочинения. Альбомные записи. Исторические наброски. Материалы записных книг. “Литургия”. Черновые заметки» (вступительная статья «От редакции») [Гоголь 1937–1952. 1: 18–19]. Однако «Размышления...» в

указанном томе так и не появились. В объяснение этого изъятия в девятом томе (вышедшем в 1952 г. под редакцией Н. Ф. Бельчикова, Б. В. Томашевского и Г. М. Фридендера) было сделано примечание, что в издание не включено, наряду с отдельными выписками Гоголя («выписками из сочинений других авторов»¹), его собранием русских и украинских песен², текстами, связанными с занятиями «языками, каллиграфией», «небольшое число текстов узко бытового и моралистического характера (“Размышления о божественной литургии” и др.), опубликованных в прежних изданиях, но не представляющих литературного интереса» (заметка «От редакции», открывающая комментарий к девятому тому) [Гоголь 1937–1952. 9: 612].

Последняя фраза, характеризующая книгу Гоголя о Литургии как «не представляющую литературного интереса», носит откровенно репрессивный характер и далека от объективности. Как показывает исследование, замысел «Размышлений о Божественной Литургии» имеет самое прямое отношение не только к поздним замыслам Гоголя, но и к его ранним художественным произведениям, в частности, к повести «Тарас Бульба» [Виноградов 2017: 81–84]. (В советских массовых и школьных изданиях текст «Тараса Бульбы» подвергался значительным сокращениям идеологического характера³. В академическом издании в 1937 г. текст повести по черновикам и прижизненным изданиям старательно — хотя и спешно (а потому не без текстологических ошибок и важных пропусков⁴) — готовил И. Я. Айзеншток, под редакцией В. В. Гиппиуса.)

Не упоминались «Размышления о Божественной Литургии» Гоголя и во всех советских литературных словарях и энциклопедиях. Таким образом, советская цензура и пропагандистская машина нового госу-

¹ Обширные выписки Гоголя «из сочинений других авторов» впервые напечатаны лишь в 2001 г.: «Рукописный сборник Н. В. Гоголя “Сочинения Ломоносова и Державина”» [Гоголь 2001: 181–351; см. также: Гоголь 2009–2010. 17: 435–624]; «Стихотворения разных авторов, переписанные в разное время Н. В. Гоголем» [Гоголь 2001: 352–384; см. также: Гоголь 2009–2010. 17: 627–662].

² Собрание Гоголя представляет собой несколько обширных сборников; впервые помещены в Полном собрании сочинений и переписки Гоголя 2009–2010 гг.: «Песни, собранные Гоголем» [Гоголь 2009–2010. 17: 7–432].

³ См.: [Виноградов 2009: 542–556, 592, 595–597].

⁴ См. подробнее: [Виноградов 2009: 461, 466].

дарства в целом обошлась с гоголевским наследием куда более жестко и нетерпимо, чем все прижизненные цензоры Гоголя, даже самые «строгие». Впервые после долгого перерыва гоголевские «Размышления...» были изданы в России лишь в 1990 г.

За пределами советского академического издания 1937–1952 гг. остались отнюдь не только малочисленные, несущественные («не представляющие литературного интереса») и незначительные по объему гоголевские рукописи, не только «тексты, связанные с занятиями языками, каллиграфией и т. д.» [Гоголь 1937–1952. 9: 612]. Кроме «Размышлений о Божественной Литургии» за рамками издания оказался целый ряд пространных и чрезвычайно важных гоголевских автографов. Ангажированному *сокрытию* подлинного облика Гоголя, в угоду радикальной атеистической идеологии, служило намеренное игнорирование обширного корпуса гоголевских текстов духовного содержания, долгие годы хранившихся невостребованными в советских (российских и украинских) архивах. Невозможность, по идеологическим причинам, введения в научный оборот этих важных рукописей обусловила, с одной стороны, их весьма позднюю публикацию, в основном, в последнее время, в конце XX – начале XXI вв. (частично за рубежом); с другой — привела в некоторых случаях к полной утрате этих гоголевских автографов. Однозначно разрушительный по отношению к культурному наследию, деструктивный для развития науки результат агрессивной советской запретительной политики касается, в частности, утраченного ныне обширного, девяностодвухстраничного раннего сборника выписок Гоголя (согласно дошедшему описанию) «Из книги: Лествица, возводящая на небо»¹. Столь же значительный объем — около 20 а. л. — составляет сохранившаяся часть текстов Гоголя религиозного характера, не издававшихся в советское время исключительно по цензурным условиям². В этот объем входят:

¹ См.: [Ерофіїв]; *Ерофеев И. Ф.* Рукописи Н. В. Гоголя в Харьковском Историческом музее (бывш. Сковороды) // Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 139. Оп. 1. Ед. хр. 63; [Виноградов 2017–2018. 1: 693–694].

² Исключением стала лишь публикация в 1965 г. гоголевского религиозно-нравственного трактата «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии»: [Бессонов: 198–204]. См. также: [Гоголь 1994. 6: 288–296; Гоголь 2009–2010. 6: 305–313]. Хранится: Архив Санкт-

две важные заметки: <О гневе и безгневии>¹; <О благодарности>²; два сборника выписок: «Выбранные места из творений св. Отцов и учителей Церкви»³ и «Каноны и песни церковные»⁴; выписки «Премудрости Соломоновы чтение»⁵, <Изложение 5–12 Слов книги святителя Иннокентия (Борисова) «О грехе и его последствиях: Беседы на Святую Четыредесятницу». Харьков, 1844>⁶; <Выписки из Кормчей книги>⁷; итальянский перевод Гоголя <«Увещательные главы» диакона Агапита св. правоверному царю Юстиниану>⁸; гоголевские авторские выписки и пометы при чтении Библии⁹.

В заявленное «полное» академическое собрание сочинений Гоголя издания 1937–1952 гг. не вошел также ряд немаловажных для понимания его творчества текстов, которые до 1917 г. уже были изданы: это гоголевское сочинение «Правило жития в мире», первоначальная ре-

Петербургского филиала Института российской истории РАН (Архив СПб ФИРИ РАН). Ф. 238. Оп. 2. К. 271а. № 37.

¹ Впервые напечатана в 1925 г. в Берлине «невозвращенцем» М. Л. Гофманом [Гофман]; в 1930-х гг. поступила в рукописное собрание Пушкинского Дома [Городецкий: 438]. См. также: [Гоголь 1994. 8: 467–469; Гоголь 2009–2010. 6: 297–299].

² Российская государственная библиотека (РГБ). Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 48. Впервые опубликовано: [Виноградов 2001]. См. также: [Гоголь 2009–2010. 6: 314–315].

³ Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского НАН Украины (НБУ НАНУ). Ф. Дис. 2165; Ф. Гог. 78; ИЛ НАНУ. Ф. 17. № 5. Впервые опубликовано: [Гоголь 1994. 8: 480–559]. См. также: [Гоголь 2009–2010. 9: 28–134].

⁴ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) (ИРЛИ). Ф. 652. Оп. 1. № 62. Впервые опубликовано: [Гоголь 1994. 8: 563–758]. См. также: [Гоголь 2009–2010. 9: 165–419].

⁵ РГБ. Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 45). Впервые опубликовано: [Гоголь 1994. 8: 560]. См. также: [Гоголь 2009–2010. 9: 163–164].

⁶ ИЛ НАНУ. Ф. 17. № 9. Впервые опубликовано: [Гоголь 2009–2010. 9: 135–140].

⁷ РГБ. Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 46. Впервые опубликовано: [Гоголь 1994. 8: 470–479]. См. также: [Гоголь 2009–2010. 9: 15–27].

⁸ РГБ. Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 70. Впервые опубликовано в 2002 г. в Италии (см.: [Де Лотто]). См. также: [Гоголь 2009–2010. 9: 7–14].

⁹ ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 1. Ед. хр. 73; ИЛ НАНУ. Ф. 17. № 4. Впервые опубликовано в 1999 г.: [Виноградов, Воропаев]. См. также: [Гоголь 2009–2010. 9: 142–160].

дакция которого, под названием <О любви к Богу и самовоспитанию> была впервые напечатана в 1909 г. Г. П. Георгиевским¹; выписки из «Домостроя» протопопа Сильвестра; молитвы, составленные Гоголем, и др.

8. При ангажированном «классовом» подходе на периферии — и даже совсем вне поля исследования — оказывалась также внешнеполитическая составляющая цензурных проблем. Помимо внутренних потребностей государственного строительства, особенности цензурной политики всегда, при всех правительствах, диктовались задачами широкого стратегического и геополитического характера, связанными с внешней безопасностью страны. Поэтому в изучении истории цензуры следует с необходимостью учитывать и межгосударственный, межнациональный и международный контекст, т. е. подразумевать те общемировые процессы, которые оказывали существенное влияние на формирование тех или иных исторически обусловленных цензурных правил и установлений. В полной мере это относится к созданию системы цензурного и ограничительного характера в первой половине XIX в. Эта система в значительной мере была предопределена внешнеполитической обстановкой эпохи. В исследованиях советского периода эта тема практически не затрагивалась, так как ее реально-историческое содержание не соответствовало искусственной «логике» радикальной идеологии.

Общественные и политические обстоятельства, обусловившие создание цензурной системы при Николае I, вызревали еще в александровскую эпоху. В 1815 г., после окончательного низложения Наполеона I, был основан религиозно-политический «Священный Союз», призванный противостоять антирелигиозным движениям Западной Европы. Однако на деле союзное противостояние европейских держав этим движениям привело к совсем иным результатам, чем те, которые предполагались при создании Союза. Вместо борьбы с духом неверия главные усилия союзников оказались сосредоточенными на преодолении конфессиональных отличий держав — членов

¹ [Гоголь 1909]. Рукопись хранится: РГБ. Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 41. Окончательная редакция этого произведения на хранении: Архив СПб ФИРИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. К. 271а. № 37. Указано в 1965 г. Б. Л. Бессоновым: [Бессонов: 196–198]. Напечатано в 1988 г. норвежским исследователем Г. Хьетсо (или Хетсо, Kjetsaa) [Хетсо]. См. также: [Гоголь 1994. 6: 283–287; Гоголь 2009–2010. 6: 300–304].

Союза — следствием чего стало широкое распространение идей так называемого «универсального христианства».

«Духовное состояние русского общества в александровскую эпоху было тревожным. С одной стороны, бедствия, пережитые Россией в Отечественную войну, углубили религиозные настроения. Но с другой стороны, в своих духовных исканиях люди, отставшие от основных начал русской жизни, нередко обращались не к вере своих предков, а к книгам западных богословов и мистиков» [Избранные жития святых...: 664]. Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский, интерес современников к сочинениям западной мистики объяснял отчасти недостатком количества православных изданий с толкованиями Священного Писания — тем, что «любопытность, со дня на день распространяющаяся, для своего удовлетворения бросается во все стороны и тем сильнее порывается на пути незаконные, где не довольно устроены законные» [Чистович: 148].

Одним из главных проводников идей Священного Союза в России стало особое соединенное министерство, — Министерство духовных дел и народного просвещения, во главе которого встал князь А. Н. Голицын. Почти одновременно с образованием в России нового министерства в университетах протестантской Германии вспыхнули бурные политические волнения. Вскоре произошли революции в Испании, Португалии, в Неаполе, Пьемонте.

Политические волнения заставили российское правительство обратить пристальное внимание на характер университетского образования в России. Была начата борьба с политическим и религиозным вольнодумством. В 1821 г. русские студенты были отозваны из Германии, в 1822 г. — закрыты масонские ложи, в 1823 г. Комитет министров вообще запретил обучение русского юношества в четырех германских университетах, признанных наиболее опасными. В самих российских университетах учительские и профессорские места в то время в большинстве своем были заняты иностранными профессорами.

В России в первой половине XIX в. существовало шесть университетов. Кроме того, университетскими правами пользовались Александровский лицей в Царском Селе (где учился Пушкин) и Гимназия высших наук князя Безбородко в Нежине (из стен которой вышел Гоголь). Как обнаружилось уже в 1820-х гг., почти во всех этих высших учебных заведениях под видом «науки» часто преподавались

неправославные религиозные воззрения и политическое вольнодумство. Особенно явно это проявилось в Виленском и Дерптском университетах, которые, заменяя духовные академии своих исповеданий, образовывали и духовенство. Но тот же дух царил и в других университетах — Казанском, Петербургском, Харьковском, в Царскосельском лицее и в Гимназии высших наук в Нежине.

Основанием для соответствующего образа преподавания вольнодумным профессорам служило, помимо прочего, официальное распространение идей «универсального христианства». Сам князь Голицын содействовал печатанию религиозных книг и брошюр неправославного и часто антиправославного содержания. В 1820-х гг. состоялся ряд политических процессов, направленных на пресечение политического и религиозного вольнодумства. М. Л. Магницкий занимался делом Казанского университета (1820), Д. П. Рунич и князь А. Н. Голицын — Петербургского (1821). Аналогичные процессы прошли в Виленском (1824), Харьковском (1816, 1827) университетах, в гимназии в Нежине (1826–1830). Князь К. А. Ливен, попечитель Дерптского учебного округа, удалил ряд профессоров из университета в Дерпте¹.

В конечном счете борьба с вольнодумством привела к падению самого князя Голицына и упразднению его «сугубого» министерства. В открытый конфликт с Голицыным вступила церковная иерархия. В 1824 г. Голицын был отправлен Императором Александром I в отставку, а его преемником на посту министра стал адмирал А. С. Шишков, положивший в основу своей деятельности укрепление Православия и народности. Идея борьбы с философским вольнодумством и неверием осталась при новом министре прежней, но начала вольнодумства не без оснований были усмотрены в самом космополитическом мистицизме эпохи князя Голицына. В 1826 г. Николаем I было закрыто и надконфессиональное Библейское общество.

Разразившееся в 1825 г. восстание декабристов повлекло за собой применение дополнительных мер по стабилизации политической обстановки. Такими мерами стали учреждение в 1826 г. Корпуса жандар-

¹ В последующую либеральную эпоху эти политические процессы, призванные стабилизировать обстановку в стране, оценивались однозначно негативно. Однoboкое политизирование, свойственное для российской общественной мысли на всем протяжении XIX в., привело в итоге к катастрофе 1917 г.

мов и III Отделения Собственной Его Величества Канцелярии, а также новое подтверждение, в 1826 г., указа об уничтожении масонских лож.

Именно к этому времени относится предпринятая реформа цензуры. Первый в истории Российской империи закон о цензуре был издан еще в 1804 г. Одним из важных шагов нового министра Шишкова стало обнародование 14 мая 1825 г. указа о запрещении переводных теософских книг, напечатанных в голицынский период¹. 10 июня 1826 г. был утвержден составленный Шишковым новый цензурый устав². Еще один, третий, устав о цензуре был принят в 1828 г.³ Одновременно для книг, издаваемых в России, было создано Главное управление цензуры, а для печатных изданий, привозимых из-за границы, — Комитет цензуры иностранной.

Литератором С. Н. Глинкой (который сам служил цензором с 1827 по 1830 г.), устав, составленный в 1826 г. Шишковым, был прозван «чугунным». Дело, однако, заключалось не только в недостатках и «строгостях» этого цензурного устава. Столь же мало удовлетворил Глинку и последующий, гораздо более «мягкий» устав, принятый в 1828 г. Глинка писал: «Со времени существования цензуры никогда не было такого свободного, такого льготного устава для мысли человеческой, каким казался устав 1828 года. С горестию повторяю: казался. <...> Где нет прочного, твердого, коренного основания для слова, мысли и действий человеческих, — <...> там все зависит от хода обстоятельств и произвола силы» [Глинка: 351–352]. Глинка даже полагал, что «от самоуправства министров будут вспыхивать каждый день *четырнадцатые декабри*» [Глинка: 356].

Характерно признание Глинки, сделанное в конце жизни, о том, что обозвать устав 1826 г. «чугунным» его побудило отсутствие в нем руководства к «распознаванию» масонских книг. Хотя в уставе основани-

¹ 1825. Мая 14. Об отобрании от всех духовных училищ, мест и лиц книг, заключающих в себе учения, противные вере и благочестию // [Сборник 1864: 1624–1630].

² Устав о цензуре. 10 июня 1826 // [Сборник 1862: 127–196].

³ 1828. Апреля 22. (Распубликован Сенатом 17 Мая.) Высочайше утвержденный Устав о Цензуре // [ПСЗРИ. 3: 459–478]; 1828. Апреля 22. Высочайше утвержденное положение о правах Сочинителей // [ПСЗРИ. 3: 478–480]; 1828. Апреля 22. (Распубликован Сенатом 28 Июня.) Высочайше утвержденный Устав о Духовной Цензуре // [ПСЗРИ. 3: 480–489].

ям для запрещения масонской литературы было отведено целых два параграфа, в которых содержалась вполне определенная и четкая инструкция¹, Глинка, однако, заявлял: «...Устав во всей силе этого слова был *чугунный*; он сочинен был партией, восставшей против прежнего министерства просвещения. Во-первых, этим уставом запрещалось пропускать *масонские книги*. А что такое масонские книги? К распознаванию их не давалось никакого ключа. Я не враг никаких обществ, но я, по страсти моей к независимости, никогда не заглядывал ни в какую ложу; каким же образом мог я отличить масонскую книгу от книги обыкновенной?» [Глинка: 349]

Сергей Глинка, откровенный апологет масонства², старший брат известных масонов И. Н. и Ф. Н. Глинок, в данном случае, безусловно, лукавил. «Распознать» масонские издания для него как литератора и цензора труда не составляло. Несмотря на собственные заверения С. Н. Глинки в формальной непричастности к масонским ложам, князь С. М. Голицын, тогдашний попечитель Московского учебного округа, и старшего Глинку считал «масоном и иллюминатом и агентом всех тайных обществ» [Глинка: 357–358]. По объяснению самого Глинки, такое мнение сложилось у Голицына после того, как тот прочел французский отклик на напечатанную Глинкой в 1828 г., в Москве на французском языке брошюру «Моральные наблюдения о периодической печати во Франции» [Glinka]. В этой брошюре для решения «будущему поколению» предлагался вопрос, поставленный Глинкой по поводу ужесточения цензуры: «Это нация не пользуется доверием правительства или это правительство не имеет доверия нации?» [Глинка: 358]. Провокационный вопрос и стал, по свидетельству Глинки, причиной его увольнения в 1830 г. от цензорской должности [Глинка: 347, 358].

К сожалению, без серьезного критического осмысления сомнительное мнение С. Н. Глинки о цензурном уставе 1826 г. как «чугунном» было принято впоследствии на веру и стало «хрестоматийным». Им

¹ «Возбраняются творения, заключающие в себе учения каких-либо тайных обществ, обнаруживающиеся обыкновенно эмблемами и преданиями, нередко к Библии и учению Евангельскому примешиваемыми. <...> Равному запрещению подлежат сочинения, в которых, для привлечения к сим обществам доверия, ложно утверждается, что существовали они в самой якобы глубокой древности» (Устав о цензуре. 10 июня 1826. См.: Сборник 1862: 165).

² См.: [Глинка: 19–20].

стали пользоваться все публицисты и исследователи, затрагивавшие цензурные проблемы. Разобраться в происхождении и степени основательности суждения изгнанного из цензуры заинтересованного лица никто не удосужился.

Между тем принятый в 1826 г. будто бы «чугунный» устав высоко оценивал сам А. С. Пушкин. В приложении к письму А. Х. Бенкендорфу от 27 мая 1832 г. поэт писал: «Несчастливые обстоятельства, сопровождавшие восшествие на престол ныне царствующего императора¹, обратили внимание Его Величества на сословие писателей. Он нашел сие сословие совершенно преданным на произвол судьбы и притесненным невежественной и своенравной цензурою. Не было даже закона касательно собственности литературной. Ограждение сей собственности и цензурный устав принадлежат к важнейшим благодеяниям нынешнего царствования» [Пушкин 15: 205]. Спустя несколько лет, в письме к А. Г. Баранту от 16 декабря 1836 г., Пушкин напоминал: «Литературная собственность была признана нынешним монархом» [Пушкин 16: 199, 401].

Несмотря на возражения противников новых цензурных узаконений, все меры, предпринятые в середине 1820-х гг. российским правительством, носили мотивированный, взвешенный характер — и только с радикальной точки зрения, окончательно возобладавшей в России к началу XX в., будто бы были несовместимы с интересами страны. Применение в 1820-х гг. указанных мер в итоге привело к положительным результатам: разрушительные веяния на время были приостановлены, и 1830-е гг. стали одним из плодотворных периодов в развитии русской культуры и общества в целом². «В 1832 году, — писал историк Н. П. Барсуков, — после великих бедствий, испытанных Россиею в течение последних лет и от губительных войн, и от междоусобной брани, и от моровой язвы <...> последовало обретение честных мощей, иже во Святых отца нашего Митрофана, первого епископа Воронежского³ <...> Живый дух правыя веры и благочестия внушил

¹ Имеется в виду восстание декабристов 1825 г.

² См., в частности: [Кожин]. — Еще ранее на это указывал, применительно к проблемам цензуры, барон Н. В. Дризен: [Дризен: 120].

³ Торжественное открытие мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, состоялось 6 августа 1832 г. Спустя шесть недель для поклонения мощам в Воронеж прибыл Император Николай Павлович (см.: [Филарет (Дроздов): 63; Внутренние известия: 1–2]).

Помазаннику Божию поставить во главу угла воспитания Русского юношества *Православие, Самодержавие и Народность*; а провозгласителем этого великого символа нашей Русской жизни — избрать мужа, стоявшего во всеоружии Европейского знания. 21 апреля 1832 года воспоследовал Высочайший указ Правительствующему Сенату, “о бытии президенту Императорской Академии Наук тайному советнику Уварову товарищем Министра Народного Просвещения”» [Барсуков. 4: 1–2].

Можно с достаточным основанием утверждать, что именно российская светская и духовная цензура XIX в. стояла на переднем крае борьбы с теми негативными процессами, которые породили катастрофические катаклизмы XX в. — революцию и господство агрессивной атеистической идеологии в России, а спустя несколько лет — Вторую мировую войну. Появление новых учений, идущих вразрез с охранительными для человечества христианскими ценностями, явилось главной причиной деградирующих тенденций истекшей эпохи. Пастор Морис Фукс, бывший охранник Роберта Джексона, главного обвинителя военных преступников на Нюрнбергском процессе со стороны США, замечал: «Люди, способные творить зло и подчиняться злу, есть всегда и везде. Нужно не дать им объединиться, как это произошло в гитлеровской Германии, не дать злу вырваться на свободу» [Звягинцев: 48]. В историческом следовании России традиционным ценностям, в самоотверженном подвиге ее воинов на полях сражений и в стоянии до крови ее новомучеников в духовной брани «русский народ продемонстрировал миру великую победу над силами мирового зла» [Иноземцева: 153]. Необходимость для любого времени мер социальной защиты, в том числе мер цензурных, в доказательствах не нуждается. Ради воссоздания объективной исторической картины предвзятые представления о роли цензуры в XIX в., сложившиеся в советскую эпоху, нуждаются ныне в существенном пересмотре.

II. «Сатирополитическое» обличение и государственное служение

Главное требование российской цензуры в XIX в. к литераторам заключалось в том, чтобы в их произведениях не было нарушения нравственных норм и гражданских законов, ничего «противного добрым

нравам, благопристойности или чести народной и личной» и того, что обнаруживало бы в авторе «нарушителя обязанностей верноподданного к Священной Особе Государя Императора» (Устав о цензуре)¹. Относительно этих требований произведения Гоголя должны были проходить через цензуру беспрепятственно, так как не содержали в себе ничего из перечисленного. Вопреки истолкованиям радикальной критики, сам Гоголь оценивал свою «сатирическую» деятельность как направленную исключительно на поддержку позитивных начинаний правительства, против деструктивных тенденций своего времени, а потому резко отделял власть от тех нерадивых исполнителей воли монарха, которых, ради общего блага, подвергал обличению в своих произведениях.

Патриотические убеждения Гоголя, его желание принести пользу России (представляющей единственную сложившуюся мощную державу среди всех славянских народов) неизменно побуждали писателя как убежденного славянофила-государственника выступать на стороне власти. На этом основании следует внести существенные коррективы в созданные радикальной критикой — и ставшие впоследствии расхожими — представления об исключительно оппозиционном характере сатирической деятельности как таковой.

Вопреки указанным представлениям сам Гоголь в статье «Петербургская сцена в 1835–36 г.» писал: «Благосклонно склонится око монарха к тому писателю, который, движимый чистым желанием добра, предпримет уличать низкий порок <...> и этим подаст <...> помощь <...> его правдивому закону» [Гоголь 2009–2010. 7: 510]. Вскоре после постановки «Ревизора» Гоголь отвечал в «Театральном разезде...» своим недоброжелателям: «[Высоким и разумным движением было подвинуто ко мне правительство наше.] Великодушное правительство глубже вас прозрело высоким разумом цель писавшего» [Гоголь 1937–1952. 5: 387]. По оценке Гоголя, правительственная цензура в лице самого Государя признала правомерным и правомочным деятельность писателя-сатирика как лица, действующего в пользу государственно-сти, а не вопреки ей.

В 1843 г. в одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» Гоголь добавлял: «Вот уже почти полтора года лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза... <...>

¹ Устав о цензуре. 10 июня 1826. См.: [Сборник 1862: 169–170].

...Правительство во все время действовало без устани. <...> Сверху раздавались иногда такие вопросы, которые свидетельствуют о рыцарски великодушном движенье многих государей, действовавших даже в ущерб собственным выгодам. А как было на это все ответствовано снизу? Дело ведь в примененье... <...> Указ, как бы он обдуман и определенен ни был, есть не более как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желанья применить его к делу той именно стороны, какой нужно... <...> Без того все обратится во зло. Доказательство тому все наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякий указ... <...> Словом — везде, куды ни обращайся, вижу, что виноват применитель, стало быть наш же брат...» [Гоголь 2009–2010. 6: 79].

Как указывал в 1903 г. Н. А. Котляревский, Гоголь «был далек от всякой мысли так или иначе кольнуть правительство»: «Он не боялся цензуры, не утаивал своей мысли — наоборот, он открыто ее высказал, потому что считал ее вполне благонамеренной, и он пришел в большое уныние, когда его прославили либералом. Лучше всех его понял император Николай Павлович, который избавил “Ревизора” от цензурных мытарств; и, конечно, император в данном случае не сделал никакой уступки либерализму» [Котляревский: 271–272].

Цель Гоголя как писателя с точки зрения политической заключалась именно в укреплении русской государственности, через обличение и «сатиру» порочащих ее явлений и недостойных чиновников. В 1847 г. в неотправленном письме к В. Г. Белинскому Гоголь замечал: «...Правительство состоит из нас же: мы выслуживаемся и составляем правительство. Если же Правительство [сделалось <...>] огромные корпорации воров, <...> думаете, этого не знает никто из Рус<с>ких?..» [Гоголь 2009–2010. 14: 386]. В этом отношении Гоголь поступал точно так же, как в аналогичных описаниях своих героев-запорожцев в «Тарасе Бульбе», где обличаемые пьянство и другие недостатки воинов-патриотов изображаются как главные препятствия, мешающие осуществлению их высокого призвания. Даже в самых дорогих для себя положительных народных героях, совершающих жертвенный подвиг, проливающих кровь за други своя, Гоголь не мог не наблюдать и не отражать черты негативные, присущие всем представителям человеческого рода, по слову св. апостола Павла: «...как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, как написано: нет праведного ни одного...» (Рим. 3: 9–10). В одной из выписок своего сборника «Выбранные места из творений

св. Отцов и учителей Церкви» писатель отмечал: «Каждый человек — грешник, следовательно, ему признаться в том, что он грешник, значит признаться только в том, что он человек» [Гоголь 2009–2010. 9: 100].

Позиция Гоголя как патриота-государственника, обличающего человеческую «пошлость», еще при его жизни встретила не только непонимание, но и активное противодействие со стороны недоброжелателей традиционной русской государственности. Позднее изощренная в поисках «революционного» смысла гоголевских произведений радикальная критика даже предпринимала попытки «доказать», будто в лице Довгочхуна в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголь «высмеивает» Тараса Бульбу. Такую попытку предпринял в 1934 г. Андрей Белый (Б. Н. Бугаев) (остроумно прозванный представителями русской эмиграции Андреем Красным). А. Белый заявлял, что в образе Довгочхуна (и позднее в образе Собакевича в «Мертвых душах») Гоголь «бессознательно» создал реалистическую пародию на романтический образ Тараса Бульбы [Белый: 15–18, 168]. Безусловно, содержание гоголевского творчества резко противоречит этим «толкованиям». «Разумеется, — писал по поводу нелепых выводов А. Белого Г. А. Гуковский, — повесть о двух Иванях не есть пародия на “Тараса Бульбу”, что нелепо как по хронологическим соображениям, так и по существу... <...> Идеал “высокого” в человеке, отрицательно присутствующий в Довгочхунах, <...> дан в открытую в “Тарасе Бульбе”; он и измеряет глубину падения героев повести об Иванях» [Гуковский: 132–133].

Гоголевское обличение человеческих слабостей и пороков служит отнюдь не «сатире» на их высокое призвание, но, напротив, заключает в себе призыв к освобождению от недостатков — ради этого самого патриотического, христианского служения. Так же, как в «критике» запорожцев, в гоголевских обличениях взяточничества чиновников, их воровства, падкости на греховные удовольствия отнюдь не содержится авторский призыв к их уничтожению, к «свержению» существующего строя. В этих обличениях Гоголь всегда преследовал цель прямо противоположную. Они диктовались заботой и ревностью писателя о всемерном укреплении государственности, об устранении во властных структурах того, что мешает полноценной деятельности государственного организма. На это Гоголь прямо указывал в 1847 г. в неотправленном письме к Белинскому, говоря о содержании собственных произ-

ведений: «Когда я писал их, я благоговел п<ред тем, пред> чем человек должен благо<го>веть. Насмешк<a> и нелюбовь слышалась у меня не над Властью, не над коренными законами нашего Государства, но над извращеньем, над уклоненьями, над неправильными толкованьями, над дурным <приложением>, над струпом, который накопился...» [Гоголь 2009–2010. 14: 383].

Если взглянуть на проблему шире, с точки зрения того, что цензура *могла бы* запретить в произведениях Гоголя — но *не* запретила, то радикальные нападки на государственную цензурную политику опять-таки окажутся преувеличенными и надуманными. К примеру, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» цензура не сочла нужным возражать против образа распутного «поповича» (сына священника) в «Сорочинской ярмарке»; против такой же фигуры дьяка в «Ночи перед Рождеством»; против повести «Невский проспект», в которой с предельной остротой и откровенностью поставлена проблема «вечерней» жизни столичного Петербурга; против проповеди Городничего о взятках, брать которые, по словам героя, «Сам Бог установил» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 223]; против слов того же героя о «покровительстве» «Самого Бога» не исполняющему своего назначения уездному суду [Гоголь 2009–2010. 3/4: 224]; против реплики Ихарева в комедии «Игроки», что «вся Россия должна застрелиться: всякий или проигрался, или намерен проиграться» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 394], и т. д., и т. п. Говорить о том, что цензура не давала Гоголю возможности высказаться, в свете этих многочисленных примеров не приходится.

Изучение творчества Гоголя невозможно без учета государственной точки зрения, законов Российской империи, церковных законов и постановлений, устоявшихся норм традиционной морали. Это направление оказывается наиболее плодотворным и перспективным для понимания произведений писателя. Как выясняется, в основе гоголевских обличений всегда лежит мысль об отпадении человека от его предназначения, о нарушении им служебного долга, конкретного церковного или гражданского закона, об утрате смысла жизни, открытого в Священном Писании и предании, о пренебрежении христианскими заповедями¹.

В 1827 г. Гоголь, будучи на последнем курсе Нежинской гимназии, писал родным: «Во сне и на яву мне грезится Петербург, с ним вместе

¹ См. подробнее: [Виноградов 2020а; Виноградов 2020b].

и служба государству» [Гоголь 2009–2010. 10: 50]; «Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции» [Гоголь 2009–2010. 10: 74]. Мысль о «службе государству» с пристальным вниманием к сфере юстиции Гоголь пронес через всю жизнь. Гоголевские обличения часто прямо совпадают с направленностью и точкой зрения правительственных указов, ориентированных на укрепление христианской нравственности. В таком контексте все творчество Гоголя обнаруживает цельный, непротиворечивый и последовательный характер, являет черты, общие для всех жанров.

В отличие от противника традиционной русской государственности Белинского, взгляды Гоголя всегда носили характерные особенности государственного мышления: на многие обличаемые им явления писатель смотрел как бы глазами ответственного, болеющего за дело и судьбы страны высокопоставленного чиновника или даже самого царя¹. Этот «законодательный», проправительственный характер гоголевского творчества, сказывавшийся непосредственно в его «сатире», долгое время оставался непонятым — говорили лишь глубоко воспитательном значении, нравственном влиянии произведений писателя.

В представлении о сатирическом поприще как отвечающем законодательной деятельности правительства Гоголь был не одинок. На связь обличительной комедии с усилиями по искоренению пороков, предпринимаемыми государством, указывал, в частности, в 1833 г. князь П. А. Вяземский в статье, напечатанной в альманахе «Альциона». (О своем знакомстве с этим альманахом Гоголь 8 февраля 1833 г. извещал А. С. Данилевского [Гоголь 2009–2010. 10: 208].) Вяземский замечал: «У нас почти нет общественной жизни: мы или домоседы, или действуем на поприще службы. На той и на другой сцене мы мало доступны преследованиям комиков: на первой, из уважения к семейным тайнам; на второй, из уважения, которое обязаны мы иметь к предметам Государственным, и наконец потому, что злоупотребления чиновников более подлежат ведению Правительствующего Сената, нежели Комедии. Вот отчего, мимоходом будь сказано, *Ябеда*, творение Капниста, хотя во многих отношениях достойная уважения и приближающаяся, сколько нравы наши позволяют, к Сатирополитической Комедии Аристофана, — не поэма, а уголовное дело, коего развязка зависит не от соображения поэта, а от подведения Указа. <...>

¹ См. подробнее: [Виноградов 2020d].

По старшинству, Сумароков первый наш Комический писатель. <...> ...Брюзгливые выходки патриотизма более полицейского, нежели государственного, при виде частных беспорядков и злоупотреблений, придают многим сценам его странное движение. <...> ...Глубокий взгляд политика не есть взгляд Комика» [Вяземский 1833: 199, 212, 220].

Но Гоголь не разделял высказанного Вяземским в его статье *недовольства* тем, что комедия служит подчас прямым подспорьем правительственным указам. Напротив, именно в поддержке начинаний Государя Гоголь, как указывалось, видел настоящую «цель» деятельности комического писателя. Поэтому несомненно, что гораздо ближе Гоголю было следующее замечание Вяземского в той же статье, где он рассуждал об Императрице Екатерине II как писательнице: «Кистью Ея водило всегда патриотическое чувство; осмеивая пороки и дурачества, Она забавлялась и поучала. <...> Уже самая мысль Екатерины: писать для Театра, есть событие в Истории Искусства» [Вяземский 1833: 222–223].

Такое совмещение монарха и сатирического писателя в одном лице как нельзя лучше отвечало стремлению самого Гоголя быть верным сподвижником Государя в исправлении нравов соотечественников. В этом отношении определенно значимой и «знаковой» является в ранней гоголевской повести «Ночь перед Рождеством», рядом с почитаемой Гоголем Екатериной II, фигура «сатирика» Фонвизина: к последнему та обращается, указывая драматургу на «предмет», достойный его «остроумного пера» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 202]. Вяземский в статье «О нашей старой комедии» (той, что была напечатана в 1833 г. в «Альционе» — спустя год после выхода в свет «Ночи перед Рождеством» в составе второй книжки «Вечеров на хуторе близ Диканьки»), писал: «Не довольствуясь преподаванием Собою примера, Императрица задавала драматические уроки и приближенным своим» [Вяземский 1833: 223].

Очевидно, что еще в период создания «Вечеров...» Гоголь, независимо от Вяземского, задумывался над тем, какую пользу он может принести государству как писатель — как может сделать на этом поприще «жизнь свою нужною для блага государства», «принести» ему «хотя малейшую пользу» [Гоголь 2009–2010. 10: 74]. Мотив покровительства монархини Екатерины II *сатирическому* писателю Фонвизину, воплощенный в «Ночи перед Рождеством», получил у Гоголя дальнейшее развитие спустя десять лет, во второй редакции повести «Портрет» (1842), где в уста Екатерины Гоголь вложил рассуждение о том, что

«не под монархическим правлением <...> презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств» — что «Шекспир, Мольер процветали под <...> великодушной защитой» монархов [Гоголь 2009–2010. 3/4: 104]. Об этом Гоголь писал в 1837 г. и самому Императору Николаю I, упоминая о разрешении «Ревизора»: «Участь поэтов печальна на земле: им нет пристанища, им не прощают бедную крупичу таланта, их гонят, — но Венценосные Властители становились их великодушными Заступниками. Вы склонили Ваше Царское Внимание к слабому труду моему, тогда как против него неправо восставало мнение многих» [Гоголь 2009–2010. 11: 106]. О том же Гоголь упоминал в «Театральном разъезде...»: «В минуты даже бед и гонений все, что было благороднейшего в государствах, становилось прежде всего их заступником: венчаный монарх осенял их царским щитом своим с вышины недоступного престола» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 469].

(Добавим, что одновременно в гоголевских воззрениях складывался образ идеального монарха-педагога, чуткого наставника, с любовью замечаящего и поддерживающего духовное и профессиональное возрастание своих подданных [Виноградов 2019с].)

В заключении своей статьи 1833 г. Вяземский давал определение русской комедии XVIII в. как «политической» — однако не в том негативном смысле, в каком понимали это слово радикально настроенные оппозиционеры, а характеризуя ее как подспорье государственной деятельности, т. е. истолковывал здесь слово «политическая» вполне «по-гоголевски»: «К чести нашей старой Комедии заметим, что она не в бровь, а в самый глаз колола пороки и злоупотребления, не щадя ни их, ни промышляющих ими. <...> Главные пружины Комедии нашей были злоупотребления судей и домашней, то есть хозяйственной власти. И в этом отношении она есть в некотором смысле политическая Комедия, если нужно ее обозначить каким-нибудь особенным родом» [Вяземский 1833: 229].

Именно государственные законы и христианские заповеди в качестве «главных пружин» или определяющих ориентиров комедии Гоголь избрал в 1833 г.¹ в своей собственной обличительной деятельности. Спустя три года, в 1836 г., князь Вяземский прямо объявил гоголевского «Ревизора» наследником «особенного рода» «политической комедии» XVIII в. («политической», как указывалось, не в либеральном, а в

¹ См.: [Виноградов 2020е: 50–57].

консервативном значении этого слова). В итоговом выводе статьи, посвященной гоголевской пьесе, Вяземский указывал: «Говорят, что в комедии Гоголя не видно ни одного честного и благомыслящего лица; неправда: честное и благомыслящее лицо *есть правительство, которое, силою закона поражая злоупотребления, позволяет и таланту исправлять их оружием насмешки*. В 1783 году оно допустило представление “Недоросля”, в 1799-м — “Ябеды”, а в 1836 — “Ревизора”» [Вяземский 1836: 309; курсив мой. — И. В.]. (Сходное мнение высказывал еще один друг Гоголя — князь В. Ф. Одоевский: «Русская литература оказала *правительству* и публике четыре услуги, а именно: “Недоросль”, “Ябеда”, “Горе от ума” и “Ревизор”»¹.)

Как замечал позднее Н. А. Котляревский, «статья Вяземского — самое умное, что было сказано тогда о “Ревизоре”» [Котляревский: 286]. Вяземский верно определил стремление Гоголя действовать в своих «политических» обличениях в поддержку государственного порядка. (Закономерно при этом недовольство статьей Вяземского, высказанное тогда же В. Г. Белинским [Белинский 1976: 520].) Во всех недостойных представителях административной сферы — полиции, суда, образования, почты, медицинского ведомства, — Гоголь в своей комедии изображает нарушителей государственных законов и постановлений, т. е., по сути, не представителей, а противников и в известном смысле «врагов» власти, ее внутренних разрушителей.

Недвузначное объяснение на этот счет сам Гоголь сделал в «Театральном разезде...», который написал «сгоряча» еще в 1836 г. (статья предназначалась для публикации в пушкинском «Современнике»). В этой пьесе-комментарии в качестве «гласа народа» приводится следующая реплика «синего армяка», т. е. выразителя народного мнения, «армяку» серому: «Небось прыткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа!» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 446]. По поводу этой фразы «очень скромно одетый человек» (несомненное alter ego автора) замечает: «Вот что скажет народ, вы слышали? <...> Слышите ли вы, как верен естественному чутью и чувству человек? Как верен самый простой глаз, если он не отуманен теориями и мыслями, надерганными из книг, а черплет их из самой природы человека! Да разве это не очевидно ясно, что после такого представления народ получит более веры в правительство? Да, для него нужны такие представления.

¹ Цит. по: [Сахаров: 94; курсив мой. — И. В.].

Пусть он отделит правительство от дурных исполнителей правительства. Пусть видит он, что злоупотребления происходят не от правительства, а от не понимающих требований правительства, от не желающих ответствовать правительству. Пусть он видит, что благородно правительство, что бдит равно над всеми его недремлющее око, что рано или поздно настигнет оно изменивших закону, чести и святому долгу человека, что побледнеют пред ним имеющие нечистую совесть» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 446].

По-видимому, Гоголь прямо вспоминал определение Вяземским «сатирополитической Комедии Аристофана», когда замечал в «Театральном разезде...»: «Уже в самом начале комедия была общественным, народным созданием. По крайней мере, такую показал ее сам отец ее, Аристофан» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 443]. Позднее, в «Выбранных местах из переписки с друзьями», Гоголь, уточняя эту характеристику, имея в виду духовно-пастырский характер своих обличений, вновь подчеркнул роль *власти* в борьбе «света со тьмой»: «Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположеньем <...> и не всегда имел в виду истину... <...> Наши комики двинулись общественной причиной, а не собственной, восстали не против одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. <...> Это — продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольником светом» [Гоголь 2009–2010. 6: 187].

Аналогичную мысль о значении личности Петра I в борьбе «света со тьмой» высказывал также в 1843 г. С. П. Шевырев, говоря о «Мертвых душах»: «Сознавайте народные пороки, <...> трудитесь денно и ночью за тем, чтобы их уничтожить... <...> Так действовал и Петр: тем и велик он, что сознал недостатки своего народа, но с тем вместе питал и веру в славное его грядущее» [Шевырев 1843: 285].

Шевырев был единомышленником Вяземского и Гоголя в оценке «Ревизора». По позднейшему сомнительному свидетельству Белинского, в 1836 г. Шевырев якобы отказался писать о гоголевской комедии, считая ее «грязным произведением» [Белинский 1842а: 133; Белинский 1842b: 107]. Доверять «свидетельству» Белинского, по-видимому, не следует. На самом деле Шевырев собирался писать о пьесе. Об этом, в частности, замечал В. П. Андросов 8 июня 1836 г. в письме к А. А. Краевскому. Андросов

сообщал, что Шевырев «напишет» статью о «Ревизоре» [Виноградов 2011–2013. 1: 809]. Статья в журнале «Московский Наблюдатель» так и не появилась, но позднейшие высказывания Шевырева, указывавшего на «государственный» замысел гоголевской комедии, говорят о том, что суждения Вяземского 1836 г. о «Ревизоре» были ему знакомы и близки. С 1842 г. по 1862 г. Шевырев отзывался о «Ревизоре» несколько раз — и неизменно положительно¹. В 1851 г. он, в частности, размышлял: «Русская комедия поражала недостатки общественные, как комедия Аристофановская, но она не выводила личностей, как сия последняя, и не хохотала с отчаяния, потому что всегда признавала крепость здравых сил в Русском народе и государстве, способных излечить каждый недостаток» [Шевырев 1851: 106]. В 1862 г. Шевырев повторил свою мысль, прямо применив ее к «Ревизору»: «Замечательно, что все важнейшие комедии в нашей словесности имеют государственный характер. Да, русская комедия, по своему значению, родня политической комедии Аристофана. Не на отдельные нравы общества, не на личные характеры нападет она, но на недостатки в основах самой политической жизни общества: так Фонвизин обличает недостатки в воспитании, Капнист — в судах, Грибоедов — в формах светской жизни общества, Гоголь — в гражданской администрации и во всем общественном устройстве» [Шевырев 1884: 238]. Говоря о заключительной сцене «Ревизора», Шевырев добавлял: «Появление правительства в конце российских комедий <...> является *Deus ex machina* русских комиков» [Sceviref S., Rubini: 248]. Очевидно, Шевырев следовал здесь комментариям самого Гоголя к «Ревизору» в «Театральном разъезде...»: «Но смешно то, что пьеса никак не может кончиться без правительства. Оно непременно явится, точно неизбежный рок в трагедиях у древних. <...> Ну, видите: стало быть, это уже что-то невольное у наших комиков. Стало быть, это уже составляет какой-то отличительный характер нашей комедии. В груди нашей заключена какая-то тайная вера в правительство. <...> ...Дай Бог, чтобы правительство всегда и везде слышало призванье свое быть представителем Провиденья на земле и чтобы мы веровали в него, как древние веровали в рок, настигавший преступленья» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 444].

Говоря о наказании Чичикова во втором томе «Мертвых душ»,

¹ См.: [Шевырев 1842a: 180; Шевырев 1842b: 228; Шевырев 1842c: 351; Шевырев 1851: 110, 114–115, 117, 119; Sceviref S., Rubini: 246–247; Шевырев 1884: 238].

Шевырев вновь отмечал: «В лице генерал-губернатора российское правительство вновь появляется в качестве российского *Deus ex machina de'comici*. Странная вещь! российское правительство не считает себя таким провидцем или восстановителем всех ошибок российского общества, как считают авторы комедий. Это иллюзия, унаследованная со времени реформы» [Sceviref S., Rubini: 253–254].

Как отметил позднее Н. А. Котляревский, «Ревизор» «был в сущности апологией правительственной бдительной власти, и одним из главных, но незримых действующих лиц комедии было “недремлющее око” этой власти»: «Этот унтер, который заставляет начальника города и всех высших чиновников окаменеть и превратиться в истуканов, — наглядный показатель благомыслия автора» [Котляревский: 272].

По поводу «Мертвых душ» Шевырев также писал: «...Каждое значительное произведение Русской Словесности, напоминающее нам о тяжелой существенности нашего внутреннего быта, <...> может <...> иметь достоинство и благородного подвига на пользу Отечества. Русская Словесность никогда не чуждалась этого практического направления, <...> и Правительство наше (честь и хвала ему) никогда не скрывало от нас таких сознаний, если только совершались они талантами истинными, с искренним чувством любви к России... <...> В пышном веке Екатерины Фон-Визин вывел перед нами семейство Простаковых, и раскрыл одну из глубоких ран тогдашней России в семейном быту и воспитании. В наше время тот же подвиг совершен был Гоголем в Ревизоре, и совершается теперь в другой раз в Мертвых Душах» [Шевырев 1842b: 227–228].

На государствообразующий пафос обличений Гоголя указывал также позднее известный русский мыслитель И. А. Ильин, называя произвольное деление Гоголя радикалами «на две категории» — на «художественное, сатирическое, прогрессивное (чуть ли не либерально-радикальное)» и «религиозно-мистическое и одновременно политико-реакционное» — «узколобой политиканствующей дихотомией» [Ильин: 242]. О немой сцене «Ревизора» Ильин писал: «...Каким угрожающе пророческим для окружающих кажется перст судьбы в лице <...> *действительного* ревизора! Сам Гоголь называл это идеей национальной ответственности, идеей здорового правосознания или идеей *справедливой государственной власти*. <...> Из “Ревизора” вызывает русский народный дух к очищению своего правового сознания, а о том,

что этот зов не устарел и в наши дни (в России и Европе), и говорить не стоит. <...> ...Идея такова: *Народы Европы! Совершенствуйте свое правовое сознание!*» [Ильин: 268–269].

III. Цензура и радикализм

Неизменная ориентация Гоголя в его обличениях на церковные установления, требования морали, правительственные указы придавала его писательской деятельности особый характер. Эта ориентация обеспечивала то, что за гоголевскими сатирическими образами вставала огромная законодательная и нравственная база, масштабная идеологическая основа и — вследствие этого — понимание конкретных задач государственного строительства, видение реального состояния общества и перспектив его развития.

Одновременно обличению Гоголя подвергалась некомпетентность в осмыслении государственных проблем «частного» человека, не обладающего достаточным кругозором в решении общенациональных проблем. Гоголь был решительно против безответственного, не основанного на тщательном изучении тех или иных государственных проблем манипулирования общественным сознанием представителями самых разных общественно-политических течений. Вера в народ, одинаково присущая «восточникам» и западникам, сочеталась у Гоголя с далеким от социалистических иллюзий, трезвым пониманием пафосности человеческого естества¹, и та пропасть между идеальными представлениями о государстве и реальной государственностью, которая делала друзей и единомышленников писателя, славянофилов, либералами и оппозиционерами (объединяя их с западным польским славянофильством и с отечественными западниками), для самого Гоголя как славянофила-государственника, вследствие его основательной осведомленности в вопросах государственного устройства, понимания реальных проблем страны, практически не существовала².

Наибольшую степень некомпетентности и безответственности

¹ См. подробнее: [Виноградов 2020e].

² См.: [Виноградов 2019a; Виноградов 2019b]; *Виноградов И. А. А. С. Хомяков и Н. В. Гоголь: проблема взаимоотношений // Русско-Византийский вестник. 2021 (в печати).*

в осмыслении общегосударственных проблем Гоголь усматривал в западническом литературном либерализме¹ (отмечая при этом черты западничества не только у «европистов», но и у своих приятелей-славянофилов — не вполне знакомых с проблемами государственного устройства [Виноградов 2019d]).

Такой взгляд в свою очередь вполне соответствовал воззрениям на этот предмет самого правительства. В частности, С. С. Уваров в 1835 г. в связи с разрешением, вынесенным цензором В. Н. Семеновым в отношении одного из объявлений, напечатанного в «Северной Пчеле», — о книге Н. А. Иванова «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях», — в официальном послании, отправленном в Санкт-Петербургский цензурный комитет, замечал: «Книга сия, по изъясненной в объявлении программе, должна касаться столь важных политических и правительственных предметов, что прежде всего представляется вопрос: может ли частное лицо входить в рассуждения о сих предметах?.. <...> ...Излагать все это частному человеку для Русских всех сословий не только не может дозволить цензор, но и высшее над цензурой начальство» [Прот: 177].

В западническом писательском либерализме Гоголь в числе других недостатков не без оснований усматривал подчас вопиющую дилетантскую некомпетентность в вопросах как гражданского (государственного), так и духовного (церковного) строительства. (Проблема «духовных недорослей», вообще говоря, — сквозная для гоголевского творчества².) Так, в 1847 г. Гоголь, имея в виду безапелляционные суждения по целому ряду общественных вопросов Белинского, обращался к критику: «Наступающий век есть век разумного сознания; не горячась, он взвешивает всё, приемля все стороны к сведенью, без чего не узнать разумной середины вещей. Он велит нам оглядывать многосторонним взглядом старца, а не показывать горячую прыткость рыцаря прошедших времен...» [Гоголь 2009–2010. 14: 411]. Нечто подобное Гоголь говорил и в 1848 г. при встрече с либеральными литераторами некрасовского «Современника». П. В. Анненков, вспоминая этот вечер, писал позднее, в 1858 г., И. С. Тургеневу: «Помню я, что <...> Гоголь находил необычайную пользу для литературы в тогдашней системе цензурного ограничения: это, говорил он, временной арест, чтобы заставить лю-

¹ См.: [Виноградов 2018b].

² См.: [Виноградов 2017–2018. 1: 222–223, 429, 694].

дей *мыслить*» [Виноградов 2011–2013. 3: 533]. Спустя два десятилетия Анненков в мемуарах вновь упоминал об этих словах Гоголя: «Он <...> продолжал думать, что <...> преследование печати и жизни не может долго длиться, и советовал литераторам и труженикам всякого рода пользоваться этим временем для тихого приготовления серьезных работ ко времени облегчения» [Виноградов 2011–2013. 3: 529].

Следует иметь в виду, что в данном случае подразумевалось конкретное усиление цензурных мер в 1848 г. Как и в середине 1820-х гг., когда внешне- и внутривполитическая обстановка вызвала целый ряд ограничений и охранительных действий по стабилизации общественного климата (в том числе принятие цензурного устава 1826 г.), так же в 1848 г. отзвуки революционных событий во Франции привели к созданию в России Негласного Комитета или «Комитета 2 апреля», предназначенного для высшего надзора за выходящими изданиями. Важно добавить, что свидетельство Анненкова о том, что в 1848 г. Гоголь «находил необычайную пользу для литературы в тогдашней системе цензурного ограничения», сам мемуарист ставил в прямую связь с позднейшей гоголевской оценкой наказания петрашевцев в 1849 г. Как передавал Анненков, Гоголь говорил, что «по мягкости исполнения» это наказание было «милостью по отношению ко многим осужденным» [Виноградов 2011–2013. 3: 529].

К ряду таких же «охранительных» высказываний Гоголя относится и данный им самому Тургеневу¹ осенью 1851 г. совет «не спешить печатать» [Виноградов 2011–2013. 2: 271] и сказанные тогда же Тургеневу слова о том, что правительственная цензура не только не вредна, но даже полезна начинающему литератору — «как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать своё детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей»; как вспоминал позднее Тургенев, Гоголь «чуть не возвеличивал, чуть не одобрял» ее [Виноградов 2011–2013. 3: 825].

Встретившийся с Гоголем в 1848 г. славянофил Ф. В. Чижов записал в дневнике: «...Должно признаться, что в моих мыслях больше личного самолюбия, нежели чистоты. Гоголь прав, — теперь людям надобно примолчать, иначе они заговорят глупость. В этих словах много мудрости» [Виноградов 2011–2013. 3: 63].

¹ На встрече литераторов в 1848 г. Тургенев не присутствовал, он был тогда за границей.

В 1846 г. Гоголь в статье «Карамзин» замечал: «Он <Карамзин> первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензура, и если уже он исполнился чистейшим желанием блага в такой мере, что желанье это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга, и ему везде просторно» [Гоголь 2009–2010. 6: 56]. Подобное отношение Гоголь распространял и на «свое детище» — на второй том «Мертвых душ». В конце 1848 – первой половине 1849 гг. он познакомил с содержанием двух начальных глав этого тома графа А. П. Толстого [Виноградов 2017–2018. 6: 322]. Впечатлениями об услышанном Толстой поделился тогда с князем Д. А. Оболенским, который летом 1849 г. заговорил об этом с самим Гоголем. Позднее Оболенский вспоминал: «Из рассказов графа А. П. Толстого <...> я уже несколько знал, какой серьезный оборот должна принять поэма в окончательном своем развитии. <...> ...Я, пользуясь хорошим расположением духа Гоголя <...> заводил на разные лады разговор о лежащей в ногах наших рукописи. <...> Я выразил ему опасение, что цензура будет к нему строга, но он не разделял моего опасения, а только жаловался на скуку издательской обязанности и возни с книгопродавцами...» [Виноградов 2017–2018. 6: 356–357].

Похожее отношение Гоголя к цензуре, применительно ко второму тому «Мертвых душ», передавала также А. О. Смирнова, которая летом 1849 г. познакомилась с начальными главами второго тома поэмы в чтении самого Гоголя. 1 марта 1850 г. она рассказывала С. Т. Аксакову «кое-что о дальнейшем развитии» поэмы и, по словам последнего, открыла ему «секрет», как Гоголь предполагал продолжить печатание своего сочинения. В письме к сыну Ивану от 3 марта 1850 г. Аксаков сообщал о содержании беседы со Смирновой: «...Гоголь никогда не представит своей рукописи Государю, что я советовал, хотя уверен, что он дозволил бы ее напечатать; нет, он хочет до тех пор ее исправлять, пока всякий глупый, привязчивый цензор не пропустит ее без затруднения» [Виноградов 2017–2018. 6: 454].

Тогдашняя терпимость Гоголя по отношению к цензуре и даже апология цензурных ограничений, которая, безусловно, диктовалась сознанием высокой ответственности за слово (свидетельством тому — статья Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» «О том, что такое слово»), объясняются еще и тем, что само гоголевское творчество было результатом глубокого духовного анализа. В ходе этого

анализа собственные душевные движения Гоголь подвергал строгому духовному рассмотрению, требовательной самооценке или «самоцензуре». Этим в значительной степени объясняется появление гоголевских сатирических образов, свидетельствующих о падшести человеческой природы в целом (см.: [Виноградов 2020e]).

Возражения против того, чтобы «науки», в том числе гуманитарные, стали «совершенно принадлежать <...> частному человеку» — недостаточно компетентному в сложных и важных общественных вопросах, в понимании самой природы человеческой души, встречаются также в статье Гоголя «Рассмотрение хода просвещения России»: «Науки не делали своего дела уже потому, что отвлеклись от жизни, набили головы множеством терминов, увлекли их в философию, стали решать на бумаге то, что совершенно иначе разрешалось в жизни, приучили к строению воздушных замков <...> стали <...> совершенно принадлежать частному человеку» [Гоголь 2009–2010. 9: 714].

Хлестаковское «самозванство» в решении вопросов широкого общественного значения стало предметом размышлений Гоголя и в письме к Вяземскому 1847 г. В ту пору Вяземский, будучи в почетном звании камергера, состоял в должности управляющего Государственным заемным банком, являлся также академиком Императорской академии наук, членом Московского и Казанского Обществ любителей отечественной словесности. Имея в виду все эти многообразные государственные и общественные должности Вяземского (назначенного впоследствии, в 1855 г., товарищем министра народного просвещения), Гоголь обратился к нему с предложением написать статью о принципах современной политики — о «тех истинах, о которых могут сказать только люди государственные»: «Если о них не раздадутся теперь здравые определения, годные укрепить хотя некоторых или дать им знать, по крайней мере приблизительно, чего держаться, то их пойдут скоро коверкать вовсе негосударственные люди и могут сбить всех с толку. Вы видите, что некоторое поползновение к тому уже обнаруживается. Даже и я, человек вовсе негосударственный, заговорил о том. <...> ...теперь нужен голос мастеров того ремесла, в которое впутываются люди посторонние» [Гоголь 2009–2010. 14: 296–297].

2 августа (н. ст.) 1847 г. Гоголь обращался к графу А. П. Толстому (бывшему тогда в отставке): «Будем исполнять закон Христа относительно тех людей, с которыми нам придется столкнуться <...>, а о

России Бог позаботится и без нас» [Гоголь 2009–2010. 14: 396].

В статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским» Гоголь подчеркивал: «Эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких неперевавшихся идей, нанесенных политическими и прочими брожениями, стали значительно упадать; только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои» [Гоголь 2009–2010. 6: 28].

Как следует из строк письма Гоголя к Н. Я. Прокоповичу от 20 июня (н. ст.) 1847 г., писатель полагал, что реплику о журнальных «козлах», обращенную «к журналисту вообще», непременно на свой счет примет Белинский (см.: [Гоголь 2009–2010. 14: 312]). Обращение Гоголя к «журналистам вообще» имело тем более знаковый характер, что их деятельность писатель ставил в один ряд с пагубными явлениями последних времен. Кроме сравнения «журнальных вождей» с «козлами» — апокалиптическими «козличами» (Мф. 25, 32–33), об этом же свидетельствует гоголевская характеристика «журнальной литературы» в заключительной главе «Переписки с друзьями», статье «Светлое Воскресенье». Апокалиптическая сущность современной журналистики подчеркивается здесь в именовании ее «всепогубляющей саранчой» (ср.: Откр. 9, 3). Размышляя о болезни радикализма, охватившей русскую словесность, Гоголь писал: «Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердце людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. <...> ...уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума. <...> Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека» [Гоголь 2009–2010. 6: 201–202].

Показательно, что упрек в радикализме Гоголь обращал порой не только к своим противникам западникам, но и к представителям противоположной партии, а именно к своим друзьям-«восточникам». Так, в 1848 г. в письме к Шевыреву Гоголь, имея в виду полемику приятеля с либеральными журналистами по поводу своей «Переписки с друзь-

ями» (за что писатель, казалось бы, должен быть только благодарен Шевыреву), замечал: «Мне кажется подчас, что все то, о чем так хлопочем и спорим, есть просто суета, как и все в свете, и что об одной только *любви* следует нам заботиться. Она одна только есть истинно верная и доказанная *истина*» [Гоголь 2009–2010. 14: 50]. В «Авторской исповеди» Гоголь замечал: «В это время, которое недаром называют переходным, почти у всякого человека, на всех поприщах, заметно стремление преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякого зла. <...> ...Теперь, более чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу все, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы все стремимся сеять, и лучше бы осмотрелись прежде, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят» [Гоголь 2009–2010. 6: 230].

В «немецком» философствовании своих друзей — оппозиционных правительству московских славянофилов, прежде всего Аксаковых и Ивана Киреевского, писатель видел проявление все той же узости, нетерпимости и скороспелости, которая была свойственна их противникам западникам (см.: [Виноградов 2019d; Виноградов 2019a]). По словам писателя, эта черта современного общества даже стала причиной его нового отъезда за границу в 1842 г.: «Я возвращался <...> в Россию <...> с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я в силах буду узнать многое. Но, странное дело, среди России я почти не увидел России. Все люди, с которыми я встречался, большею частью любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в аглицком клубе¹... <...> Всяк глядел на вещи взглядом более философическим, чем когда-либо прежде, во всякой вещи хотел увидеть ее глубокий смысл и сильнейшее значение, — движенье, вообще показывающее большой шаг общества вперед. Но, с другой стороны, от этого произошла торопливость делать выводы и заключения из двух-трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены. Я заметил, что почти

¹ Завсегдаем Английского клуба был С. Т. Аксаков. 20 октября 1841 г. Гоголь на его приглашение встретиться дома или в дворянском клубе отвечал: «К вам натурально приеду, а в клуб и ворон костей моих не занесет» [Гоголь 2009–2010. 11: 359].

у всякого образовывалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры. <...> ...Я и сам начинал невольно заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщим поветрием нынешнего времени» [Гоголь 2009–2010. 6: 233–234].

28 ноября (н. ст.) 1842 г. Гоголь писал из Рима Константину Аксакову: «Я не прошу вам того, что вы охладили во мне любовь к Москве. Да, до нынешнего моего приезда в Москву я более любил ее, но вы умели сделать смешным самый святой предмет. Толкуя беспрестанно одно и то же, пристегивая сбоку припеку при всяком случае Москву, вы не чувствовали, как охлаждали самое святое чувство вместо того, чтобы жить его. Мне было горько, когда лилось через край ваше излишество и когда смеялись этому излишеству. Всякую мысль, повторяя ее двадцать раз, можно сделать пошлою. Чувствуете ли вы страшную истину сих слов: Не приемли имени господа Бога твоего всуе? <...> Вы твердо уверены, что уже стали на высшую точку разума, что не можете уже быть умнее. <...> ...Страхните пустоту и праздность вашей жизни!» [Гоголь 2009–2010. 12: 157].

К западнику Анненкову Гоголь одновременно обращался с призывом избегать узости радикальных взглядов, господствующих в литературе: «...Стремиться быть выше журнальной верхушки своего века есть непрременный долг всякого умного человека, если только он одарен какими-нибудь действующими способностями» [Гоголь 2009–2010. 14: 444].

В произведениях литераторов радикальной школы Гоголь указал, таким образом, на еще одно характерное «родовое пятно» — противоположную интересам общенационального единства нетерпимость «частного», порой совершенно «постороннего» в государственных вопросах человека. Размышляя о принципах государственного правления, составляющего исключительную прерогативу монарха, Гоголь в одной из статей «Выбранных мест...», в письме «О лиризме наших поэтов», замечал: «Из нас, людей частных, возыметь <...> любовь во всей силе никто не возможет <...>. ...только <...> Государь приобретет тот всемогущий голос любви <...>, который один может только внести примиренье во все сословия...» [Гоголь 2009–2010. 6: 45–46].

В упомянутом послании к Вяземскому 1847 г. Гоголь заключал: «Мне кажется, как будто еще недостаточно любви у всех нас <...>. Самые наиболее любящие из нас еще не исполнены любовью к людям в такой

степени, в какой исполнены ненавистью к их заблуждениям. Оттого и все статьи наши, подвигнутые самым искренним желанием добра, не вносят надлежащего примирения» [Гоголь 2009–2010. 14: 296].

Уместно привести свидетельства других лиц, подтверждающих суждения Гоголя о нетерпимости радикализма и малой компетентности либеральной журналистики. Граф Л. Н. Толстой в «Исповеди» (1882) вспоминал о периоде своего сотрудничества в 1850-х гг. с литераторами-западниками, группировавшимися в кружке «Современника»: «Взгляд на жизнь <...> моих сотоварищей по писанию состоял в том, что жизнь вообще идёт развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы — художники, поэты. <...> Я наивно воображал, что я <...> могу учить всех, сам не зная, чему я учу. <...> Мы все <...> были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать — как можно скорее, как можно больше, что всё это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. И, не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно, — мы не знаем, что ответить...» [Толстой: 5].

П. А. Столыпин в 1908 г. в письме к министру просвещения А. Н. Шварцу замечал: «...Я знаю русского революционера, благодушного неуча, думающего достигнуть высшего совершенства, взамен длинного и торного пути воспитания ума и воли, одним скачком... с бомбою в руках по направлению к власти!» [Шварц: 82].

«Компетентность» самого Гоголя — органичного носителя народной культуры, знатока не только светской, но и церковной литературы, основательного историка и литературного критика, государственного чиновника (и по образованию, и по опыту службы), авторитетного «эксперта» в гражданском законодательстве, специалиста в помещичьем хозяйстве, человека, не понаслышке знакомого с культурой и бытом России и нескольких стран Западной Европы, гениального писателя, одаренного глубоким образным, синкретическим мышлением, — сомнений не вызывает. С полным правом Гоголь мог адресовать радикалу Белинскому — не окончившему не только университета, но и гимназического курса, следующие строки: «...Какое невежество блещет на всякой стра<нице>! [Как дерзнуть с таким малым запасом сведен<ий> толковать о таких велики<х> предметах>. Вы

не кончили даже университетского <курса>.] <...> ...Нельзя судить о Русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятых легкими журнальными <статьками>... <...> ...Позвольте <...> ск<азать>, что я более пред вами [имею права заговорить] <о Русском> народе. По крайней мере, мои сочинения, по едино<душному> убеждению, показывают знание пр<ироде> русской, выдают человека, который был с народом наблюда<телен> и <1 *вырвано*> стало быть, уже имеет дар вход<ить в его жизнь>, и что может быть то<чно> глуб<оким знатоком> природы, о чем говорено <было> много и что подтвердили сами вы в ваших критиках. А что предста<вите <вы> в доказательство вашего знания <человеческой> природы и Русского народа, что вы произвели такого, в котором видно <это> зна<ние>? <...> ...Меня изумила эта отважная самонадеянность, с которою вы говорите: “Я знаю [об<щество>] наше и дух его”, и ручаетесь <в этом>. <...> Какими данными вы можете удостоверить, что знаете общество? Где ваши средства к тому? Показали ли вы где-нибудь в сочиненьях своих, что вы глубокий ведатель души человека? Прошли ли вы опытной жиз<нью>? Живя почти без прикосновенья с людьми и светом, ведя мирную жизнь журнального сотрудника, во всегдашних занятия<х> фельетонными статьями, как вам иметь понятие об этом громадном страшилище, котор<ое самыми нежи>данными явлениями <ловит человека> в ту ловушку, в ко<торую попадают> все молодые пи<сатели, рассуждающие обо> всем мире и человечестве...» [Гоголь 2009–2010. 14: 390–392] (письмо осталось неотправленным).

IV. «...Невежество всеобщее»: непонимание сатиры Гоголя

Вопрос о дилетантизме и узости (буквально — «невежестве») радикальных литераторов был для Гоголя тем более насущен, что это непосредственно сказывалось на интерпретации либеральными критиками, во главе с Белинским, его произведений в противоположительственном духе.

Так или иначе все представители западнической партии делали себе имя на гоголевском наследии: повестями Гоголя прокладывал себе дорогу во Франции Тургенев, на сочинениях Пушкина, Гоголя и Лермонтова «возрастал» Белинский; на мемуарах о Гоголе и пушкин-

ской биографии завоевывал себе авторитет Анненков. Аналогичным образом — пытаюсь «со стола» Гоголя — поднимались критики после-гоголевской эпохи Чернышевский и Писарев. Популярные в обществе радикальные критики проявляли при этом, по оценке Гоголя, вопиющую «некомпетентность» в истолковании его произведений. Согласно гоголевскому взгляду, она проявлялась не только из-за элементарной неинформированности или нежелания принимать во внимание неудобные факты, но и на уровне духовно-нравственного воспитания и образования критиков.

Гоголь подчеркивал при этом чрезвычайную внушаемость широкой публики, ее подверженность «авторитетному» для нее мнению, способность принимать на веру любые аргументы. Такой зритель представлялся Гоголю чем-то вроде Агафьи Тихоновны в «Женитьбе», легко убеждаемой Кочкаревым самыми нелепыми доводами: «Иван Кузьмич человек... ну, просто человек... человек, каких не сыщешь. <...> ...Сравните только: это, как бы то ни было, Иван Кузьмич; а ведь то что ни попало: Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает что такое!» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 342]. В «Театральном разъезде...» Гоголь вывел одного из таких зрителей-театралов, слепо повторяющем мнения лицемерного «консерватора» Ф. В. Булгарина, которые тот высказывал после просмотра «Ревизора» («глупый фарс, поддержанный приятелями <...> завязки никакой, <...> притом всё карикатуры» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 441]). Об этом театральном, бездумно повторяющем чужие мнения, Гоголь замечал: «У него есть ум, но сейчас по выходе журнала; а запоздала выходом книжка — и в голове ничего» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 441]. С этими словами перекликается в «Театральном разъезде...» реплика еще одного зрителя: «Теперь еще ничего нельзя знать. Погоди, что скажут в журналах, тогда и узнаешь» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 439]. Как указывалось, непосредственно к читателям Белинского имеют отношение слова Гоголя в статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским» о «задних чтецах, привыкших держаться за хвосты журнальных вождей» [Гоголь 2009–2010. 6: 28]. О «всегда соглашающейся публике» и «бесстыдной дерзости <...> ученой и неученой черни» Гоголь упоминал еще ранее в письме к М. П. Погодину от 6 декабря 1835 г., подразумевая нападки на его исторические статьи в «Арабесках» Сенковского, Булгарина и Белинского [Гоголь 2009–2010. 11: 36].

Вследствие господства в тогдашнем обществе мнений либеральных журналистов подлинное направление усилий Гоголя как «сатирико-политика» осталось в значительной степени не понятым и не принятым широкой публикой. Светское общество развивалось в XIX в. главным образом под знаком декабризма — а не по началам Православия, Самодержавия, Народности, как к тому призывало современников правительство. Именно непонимание современниками, актерами, зрителями и критиками, «государственного» замысла Гоголя, игнорирование ими намерения автора принести благо России, было главной причиной огорчения, которое испытал писатель от премьеры комедии. 15 мая 1836 г. Гоголь писал по этому поводу Погдину: «...Невежество всеобщее. Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины...» [Гоголь 2009–2010. 11: 54].

Общий либеральный климат определял одинаковое восприятие гоголевской сатиры в оппозиционном духе не только со стороны либералов (что само по себе понятно), но и со стороны записных «консерваторов». Тот же Вяземский, который верно обозначил в 1836 г. консервативно ориентированный пафос гоголевских обличений, позднее, в 1876 г., констатировал, что, кроме Государя, дозволившего «Ревизора» и постановке и печатанию, большинством читателей и зрителей гоголевские намерения были истолкованы превратно. Вяземский писал, что современники, напротив, видели в «Ревизоре» «прикрытое нападение на предрержащие власти». Одни этому «радовались» («Известно, до какой степени бывают легковверны так называемые либералы. При малейшем движении, при самой неосновательной надежде, они готовы заключить, что прибывает к их полку и простоудушно радуются победе своей»); другие «с этой точки зрения <...> смотрели на комедию как на государственное покушение <...> и в <...> комике видели едва ли не опасного бунтовщика». Но и те, и другие, заключал Вяземский, были неправы. И с той, и с другой стороны «тайный умысел открыли <...> слишком зоркие, но вполне ошибочные глаза» [Вяземский 1879: 274–275].

По сути, Вяземский повторил в 1876 г. признание самого Гоголя в письме к В. А. Жуковскому, написанном тридцатью годами ранее. 10 января (н. ст.) 1847 г.¹ Гоголь писал Жуковскому: «Я решил со-

¹ Письмо является продолжением «Авторской исповеди». Оно предназначалось к публикации во втором (несостоявшемся) издании

брать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться, — вот происхождение “Ревизора”! Это <...> произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии стали видеть желанье осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка» [Гоголь 2009–2010. 15: 11].

Еще ранее в «Театральном разъезде...» Гоголь привел следующие мнения зрителей о «Ревизоре»: «...Этого нельзя позволять, подкоп, взрыв всех властей. <...> Цель его поколебать основные законы правления. <...> Я бы просто автора за это в Сибирь! <...> ...Это насмешки над правительством, над законами. <...> Да он опасный человек. <...> Уж значит, что у него нет ни Бога, ни религии...» [Гоголь 1937–1952. 5: 383, 386, 391]. По словам Гоголя, он не увидел «ни в ком сердечного участия» к себе как создателю «Ревизора», но, напротив, встречал «даже какое-то явное желанье воздвигнуть» против него «преследование и гонения, как против человека, опасного для общества и государства», слышал «обвиненья <...> в ужасном вреде <...> и в какой-то таинственной важности политической»: «Мне тяжело было слышать голос [негодования и нерасположения] безжалостного нерасположенья и безучастия» [Гоголь 1937–1952. 5: 386–387, 390].

Ранее, 29 апреля 1836 г., Гоголь сообщал также М. С. Щепкину о своей комедии: «Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. <...> Если бы не высокое заступничество Государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. <...> Досадно видеть против себя людей тому, который их любит, между тем, братскою любовью» [Гоголь 2009–2010. 11: 45–46].

(Свою роль в неадекватном восприятии гоголевских произведений, в том числе «Ревизора», сыграла известная амбивалентность смеха как

«Выбранных мест из переписки с друзьями» под названием «Искусство есть примирение с жизнью».

таковая. Любой художественный образ, и без того многозначный, попадая в «амбивалентную» смеховую среду, становится еще более «полифоничным», и выявить его смысловую направленность бывает порой затруднительно. Определенные проблемы составила также сложность восприятия притчи как таковой¹.)

В упомянутом письме к Погодину по поводу премьеры «Ревизора» (от 15 мая 1836 г.) Гоголь писал: «Я <...> не сержусь, что сердятся и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные черты и бранят меня. Не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу... <...> Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. “Он зажигатель! Он бунтовщик!” И кто же говорит? Это говорят люди государственные, люди выслужившиеся, опытные, люди, которые должны бы иметь на сколько-нибудь ума, чтоб понять дело в настоящем виде...» [Гоголь 2009–2010. 11: 54].

25 декабря 1850 г. С. Т. Аксаков писал Гоголю: «Я имел счастье услышать, что про моего Константина говорили те же речи, какие я слышал про вас после “Ревизора” и “Мертвых душ”, то есть: “В кандалы бы автора да в Сибирь!”» [Гоголь 2009–2010. 15: 387]. Позднее, в «Истории нашего знакомства с Гоголем...» (1854–1855) Аксаков вспоминал: «...Были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления “Ревизора”. “Мертвые Души” только усилили эту ненависть. Так, например, я сам слышал², как известный граф Толстой-американец³ говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых⁴, которые были горячими поклонниками Гоголя, что он “враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь”. В Петербурге было гораздо более таких особ, которые разделяли мнение графа Толстого» [Виноградов 2017–2018. 4: 121].

Бывшая жена И. И. Панаева (с 1839 г.), Авдотья Яковлевна, дочь петербургского актера Я. Г. Брянского (Григорьева) (во втором

¹ См.: [Виноградов 2017; Виноградов 2018а: 216–230; Виноградов 2020с].

² В конце мая 1842 г.

³ Граф Федор Иванович Толстой (1782–1846).

⁴ Генерал-майор С. В. Перфильев и его жена Анастасия Сергеевна (рожд. Ланская, ум. в 1891).

браке (с 1865 г.) Головачева), в 1889 г. писала: «В. И. Панаев <дядя И. И. Панаева> не признавал современную литературу; по его мнению, Гоголю надо было запретить писать, потому что от всех его сочинений пахнет тем же запахом, как от лакея Чичикова. Он приходил в ужас от того, что “Ревизора” дозволили играть на сцене. По его мнению, это была безобразная карикатура на администрацию всей России, которая охраняет общественный порядок, трудится для пользы отечества, и вдруг какой-то коллежский регистраторишка¹ дерзает осмеивать не только низший класс чиновников, но даже самих губернаторов. В. И. Панаев занимал видное место по службе, был в генеральском чине, считал себя очень важным лицом в администрации и очень заботился о сохранении почета, который обязаны оказывать таким лицам» [Виноградов 2011–2013. 3: 289].

«Узнаваемыми» оказались герои «Ревизора» среди местной администрации Гадяча, Рыбинска, Ростова-на-Дону, Риги. Запрет на постановку комедии (вопреки разрешению пьесы к постановке и печатанию самого Императора) последовал со стороны одного из тогдашних губернаторов (казанского С. С. Стрекалова или вологодского Д. Н. Болговского [Виноградов 2017–2018. 6: 317–318]). Судя по всему, гоголевская пьеса вызывала у попавших «в сатиру» чиновников те же чувства, что и правительственные ревизии, тема которых послужила ее основой. Насколько в ее отрицательной оценке играли роль искренние консервативные убеждения обличаемых, сказать трудно.

Так или иначе, но преобладающим в обществе оказалось одинаково «ошибочное», по замечанию Вяземского, восприятие «Ревизора» в оппозиционном смысле и «консерваторами», и либеральными обличителями. На примере Белинского (и многочисленных работ о Гоголе последующих критиков и публицистов) можно судить, что «невежество» в понимании гоголевских произведений с годами становилось лишь агрессивнее. Вероятно, и Белинского имел в виду Гоголь, когда, укоряя себя, писал в «Авторской исповеди», что со

¹ В. И. Панаев был непосредственным начальником Гоголя в Департаменте уделов, где начинающий писатель служил с апреля 1830 г. по март 1831 г. и где 3 июня 1830 г. был утвержден в чине коллежского регистратора (см.: [Виноградов 2017–2018. 4: 67–69, 72–74]). Отдельными чертами В. И. Панаева Гоголь, возможно, воспользовался при создании образа «значительного лица» в «Шинели» (см.: [Виноградов 2000: 252]).

смехом нужно быть «очень осторожным»: «С тех пор как мне начали говорить, что я смеюсь не только над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, <...> и над местом, над самой должностью, которую он занимает (чего я никогда даже не имел и в мыслях), я увидел, что нужно со смехом быть очень осторожным, — тем более, что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вослед за ним тот, кто потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела» [Гоголь 2009–2010. 6: 225].

Злоупотребление радикалами духовными понятиями, их откровенное «невежество» в этих вопросах, приводило к тому, что «карающий идеализм» Гоголя (выражение И. Ф. Анненского), направленный на исправление недостатков, становился в руках либеральной партии разрушительной противоположительственной «дубиной». 1 декабря (н. ст.) 1838 г. Гоголь вновь писал Погодину: «Битву, как ты сам знаешь, нельзя вести тому, кто благородно вооружен одною только шпагой, защитницей чести, против тех, которые вооружены дубинами, дрекольями. Поле до<лжно> <ост>аться в руках буянов. Но мы можем, как п<ер-вые> <хрис>тиане в катакомбах и затворах совершать наши творения» [Гоголь 2009–2010. 11: 192].

Не только к правительству, но и к дворянскому служилому сословию, к тому же недостойному Городничему, выведенному в «Ревизоре», Гоголь относился иначе — не так, как это пытались представить современные писателю и последующие радикальные критики. Несмотря на негативные явления, Гоголь, обличая чиновников, порочащих дворянское звание, был убежден в том, что «у нас дворянство есть цвет нашего же народа» [Гоголь 2009–2010. 6: 147], что следует «ввести дворянство в познание истинное своего звания» [Гоголь 2009–2010. 6: 146]: «Сословие это в своем истинно русском ядре прекрасно, несмотря на временно выросшую чужеземную шелуху. Но дворянство этого еще не слышит. <...> Дворянство у нас есть как бы сосуд, в котором заключено это нравственное благородство, долженствующее разниться по лицу всей Русской земли затем, чтобы подать понятие всем прочим сословиям, почему сословие высшее называется цветом народа» [Гоголь 2009–2010. 6: 146, 148].

V. Духовные проблемы обличения и сатиры

Тема «Гоголь и цензура» в той форме, в какой пыталось представить эту проблему советское литературоведение, является, по сути, политической фикцией, порожденной соответствующей ангажированной идеологией. В случае с Гоголем противостояние личности и власти гораздо правильнее рассматривать в том контексте, который отражает взгляды самого писателя. В большинстве случаев отношения Гоголя с современной ему государственной политикой можно уподобить «полемике» с гражданской властью священника или духовного лица, взаимоотношениям между светской и духовной властями, расхождению между реальной, часто несовершенной жизнью и христианской проповедью. Именно такой подход в значительной степени исчерпывающе объясняет все особенности прохождения в цензуре гоголевских произведений, сообщает не вполне ясной до сих пор картине взаимоотношений Гоголя и власти объяснимый, цельный и последовательный характер.

Уясняется при таком подходе и «политизация» или радикализация духовных обличений Гоголя в современной писателю либеральной среде. Для представителей радикального направления идеал, даже самый высокий, по сути, никогда не имел личного воспитательного значения, но являлся лишь удобным поводом для негативного отношения к «внешним» (или к самой действительности в любых ее проявлениях). Оппозиционно настроенные современники, к числу которых принадлежали, как указывалось, не только западники, но и большая часть приятелей Гоголя из славянофилов, хотя внешне и черпали свой протест из будто бы духовных начал — из гегельянства и даже из Православия, на деле попросту использовали «идеальные» понятия и представления в качестве предлога и «тарана» — подручного, вспомогательного средства для оправдания своего неприятия современности. Исключительная заслуга Гоголя состоит в том, что он решительно отделял себя от такого понимания «духовности». Со всей определенностью Гоголь подчеркивал, что христианство, Православие не является орудием, «с помощью» которого удобно крушить неугодную по каким-либо причинам власть, но несет с собой проповедь любви, сострадания, терпения, смирения и единения.

После разрушения *религиозно* ориентированного государства будто бы «еще более» религиозными идеологическими концепциями по-

следние оказывались в итоге не нужными — и как выполнившие свое единственное предназначение, использованные в качестве таранов, окончательно оставались, тогда как на первый план выходила сама агрессивная суть этого разрушительного, несмотря на внешнюю оболочку «духовности», процесса. Разрушив духовность «еще большей» «духовностью», радикальные идеологи переходили к окончательному уничтожению религиозных основ — того, что составляло традиционный нравственный народный уклад. Сбросившая маску «духовности» атеистическая и нигилистическая идеология вскоре направила свой главный удар против пастырских обличений воинствующей антирелигиозной политики. В 1930-е гг. священники за свою традиционную — применимую *к любому времени и к любой власти* — проповедь приговаривались новыми политическими «цензорами» к заключениям и расстрелам лишь на том очевидном основании, что «идеалы» новой эпохи оказывались несовместимыми с традиционными духовными ценностями, пастырское слово резко контрастировало с марксизмом-ленинизмом. (В ходе последующей реабилитации было определено установлено, что Русская Церковь и ее священнослужители пресловутой «контрреволюционной деятельностью» никогда не занимались [Иноземцева: 136].) «Логика» обвинителей была крайне примитивна и проста: «...Священник Увицкий <...> в проповедях <...> говорит из Евангелия, которое сравнивает с современной жизнью. Поэтому <его> проповеди носят антисоветский характер» [Священномученик Сергей Увицкий: 33]. «Врагом революционного движения» оказывался даже св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908)¹. По такой же «логике» попадало под запрет и наследие Гоголя. В своих заметках он писал: «Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии. Сколько раз уже отшатывалось от него человечество и сколько раз обращалось» [Гоголь 2009–2010. 6: 406]; «Один только исход общества из нынешнего положения — Евангелие» [Гоголь 2009–2010. 6: 406]. В советское время такие проповеди признавались прямо антисоветскими: «...Лжесвидетель <...> будучи секретным осведомителем, <...> характеризуя отца Петра <Никотина>, <...> сказал: “В большие религиозные праздники он произносит проповеди антисоветского характера, вот например: “Без Христа человечество жить не может. Где нет Христа, там ссоры, драки, ругань, там нет ни чести, ни стыда”...»

¹ См.: [Преподобноисповедник Гавриил (Игошкин): 120].

[Священномученик Петр (Никотин)...: 203]. Намеренное оставление за рамками советского академического издания 1937–1952 гг. целого корпуса текстов Гоголя религиозного, духовно-нравственного содержания (см. выше) было, очевидно, вполне закономерным в эту эпоху.

Если ранее общая религиозно-политическая идеология сдерживала возможную государственную «тиранию» единими для всех ценностями — обеспечивая таким образом относительную симфонию власти, народа и Церкви, то теперь новая, не стесняемая никакими духовными и нравственными ограничениями государственность в полной мере превращалась в самодовлеющую агрессивную диктатуру, в которой «антисоветским», антигосударственным объявлялось само Евангелие. В этом отношении противостояние духовных начал и агрессивной, атеистической идеологии, с абстрактными, туманными и выпренными теоретическими формулировками марксизма — вместо подлинной морали¹, оставляет «позади» даже времена древних римских императоров — гонителей Церкви. Как замечает современный историк Церкви, «гонения на христиан в Римской империи, в отличие от гонений в советской России, нельзя рассматривать как антинародные, поскольку римская власть, жестоко преследуя христиан, видела в них разрушителей языческой культуры своего народа. И в этом римская власть пользовалась народной поддержкой. В России большевики уничтожали

¹ На такого рода неопределенных формулировках, с практическими репрессивными выводами, строились сама правовая, юридическая казуистика того времени, а именно, Уголовный кодекс РСФСР 1922–1956 гг.: «Контрреволюционным признается <...> оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической системе, стремится к ее свержению, а равно находящимся под влиянием или непосредственно организованным этой буржуазией общественным группам и организациям, в осуществлении враждебной против Союза ССР деятельности...». Это пособничество «международной буржуазии» объявлялось советской властью заслуживающим наказания в виде «лишения свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела или объявления врагом трудящихся, с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства СССР и изгнанием из пределов СССР навсегда, конфискацией имущества» (ст. 58, § 4) [Уголовный кодекс РСФСР: 27]. От применения 58-й статьи пострадало в те годы около четырех миллионов человек.

традиционную православную культуру коренного бытования народа. <...> Все это сопровождалось применением мер принудительного воздействия на миллионы людей» [Иноземцева: 135–136]. Маргинальные по отношению традиционной русской культуре XIX в., радикальные идеологи были буквально «вынуждены» насаждать свою власть репрессивными мерами и насильственными методами, уничтожая прежде всего тех лиц, которые пользовались духовным авторитетом и влиянием в народе. («Приговор истории» этой системе и возвращение российского общества к традиционным ценностям совершились в конце 1980-х гг.)

Положение пастыря-обличителя является, таким образом, в значительной степени «универсальным», типичным, т. е. характерным не только для гоголевского времени. Религиозная обличительная проповедь, с трудом терпимая современниками в XIX в., оказывалась еще более «неприемлемой» для последующего XX в. — по сугубой степени его апостасии и бездуховности.

С другой стороны, нельзя опять-таки не отметить и опасность противоположного, одностороннего, сектантского обличения, питаемого не духовными побуждениями, а политическими, нигилистическими мотивами. Так это, к примеру, происходит в деятельности какого-нибудь современного американского пастора или отечественного «пророка»-оппозиционера (вроде Андрея Курбского [Попович: 84–89]), крушащего русскую государственность или церковную иерархию за недостаточную «духовность». Непосредственное отражение такая нигилистическая идеология и нашла в интерпретациях гоголевских произведений последователями Белинского.

Именно изучение проблем духовного и псевдо-духовного проповедничества позволяет ответить на вопрос, каким образом гоголевская религиозная «критика справа» со стороны самих законов Российской державы оказалась на вооружении леворадикальной «натуральной школы» и последующих революционно-демократических течений.

Точное подобие такой практики можно обнаружить в деятельности различных сект, берущих за основу текст Священного Писания, но извращающих его смысл в своих интересах. Так проповедь покаяния становится средством идеологической борьбы. Новейшие толкователи Библии, — к примеру, А. П. Лопухин в интерпретации Книги

пророка Ионы¹, — находят, к примеру, возможность такого понимания Священной истории, когда в слове пророка усматривается оружие для борьбы с врагами. Главной целью проповеди оказывается, согласно такому толкованию, не спасение «нечестивых» неневилян от наказания, — ради чего, собственно, и был послан пророк, — а предотвращение от ниневийского нашествия другого народа, израильтян. Акцент в данном объяснении смещен так, как это и произошло позднее в России в начале XX в. с истолкованием «Ревизора» и «Мертвых душ». Гоголевское обличение греха в «Ревизоре» и в «Мертвых душах» в предреволюционные и послереволюционные годы была направлено не на исправление и спасение, «воспитание» тех, к кому было обращено, но на прямое их уничтожение.

Подобное использование гоголевских сочинений берет свое начало не в авторском замысле, а объясняется ложным и предвзятым их толкованием. Как писал Н. А. Котляревский, «Гоголь по своим политическим взглядам был всегда чистокровным консерватором и верноподданным. Либеральный оттенок его комедиям и его творчеству придал не он, а условия нашей общественной жизни времен императора Николая...» [Котляревский: 249]. Ю. Н. Говоруха-Отрок отмечал, что в «том значении, которое приписывали» произведениям Гоголя «его усердные» радикальные «комментаторы», сам писатель был «невинен»: «...Западничество наше сказало бы свое отрицающее Россию слово и без *Мертвых Душ*» [Говоруха-Отрок: 3]. Христианская мысль о воскресении «мертвых душ», обращенная в гоголевских произведениях к каждому человеку лично, религиозный призыв к очищению нравов, восстановлению «узаконенного порядка» и «невидимая брань» с мистически реальным злом превращалась под пером революционно-демократических критиков в прямую проповедь уничтожения и человеконенавистничества. При этом попытка Гоголя остановить такое, несовместимое с подлинной культурой, «употребление» его сочинений выдавалось, вопреки здравому смыслу, за умаление их «общественного звучания». Такую судьбу в руках распространителей противообщественных учений разделили в XIX–XX вв., вместе с гоголевскими произведениями, многие явления отечественной культуры, не исключая текстов Священного Писания, — согласно слову самого Писания: «...в злохудожну душу не внидет премудрость» (Прем. 1, 4). С послед-

¹ См.: [Лопухин: 478–480].

ним явлением также был хорошо знаком Гоголь, о чем свидетельствует его замечание в неотправленном письме к Белинскому о «нынешних ком<м>унистах и социалистах, объясняющих, что Христос повелел отнимать имущества и грабить тех, которые нажили себе состояние» [Гоголь 2009–2010. 14: 388]. «Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен», — писал Гоголь [Гоголь 2009–2010. 6: 57].

Следует, безусловно, резко разграничивать направление творчества Гоголя от пафоса его мнимых продолжателей — представителей «натуральной школы», возглавляемой Белинским. Несомненны исключительные заслуги Гоголя в становлении реализма русской словесности — без агрессивной политической тенденции, которую настойчиво пытались навязать произведениям писателя критики-западники. Гоголевский реализм не просто оказывал влияние на художественную литературу, но менял само видение реальности, сказываясь даже на научных трудах. Так, Погодин, работая над своими многотомными «Исследованиями, замечаниями и лекциями о русской истории», в 1848 г. в письме к Гоголю признавался: «Тебе, то есть впечатлениям, тобою произведенным, понятиям, тобою возбужденным в “Ревизоре” и “Мертвых душах” об объективности действующих лиц, обязана моя “История” много» [Гоголь 2009–2010. 14: 296–117]. За год перед тем Погодин сообщал профессору И. И. Давыдову: «О тоне Истории своей, о тоне Истории вообще для нашего времени я думал ни много, ни мало десять лет; принимался писать в продолжение этого времени несколько раз, и недовольный оставлял; смотря и слушая Гоголя, записал на своей тетради, 1840 года, января 5: вот каких *живых* людей надо в историю...» [Барсуков. 9: 89].

Младший современник писателя, князь Д. А. Оболенский, познакомившийся с Гоголем в 1848 г., позднее (в 1873 г.) отмечал: «Некоторые позднейшего времени статьи о Гоголе могут служить доказательством, какая бездна отделяет понимание Гоголя новейшими критиками от того непосредственного, живого и могучего влияния, которое Гоголь действительно имел на нравственное развитие современной ему молодежи. Здесь не место протестовать против странной оценки социальных и политических убеждений Гоголя; здесь не место разбирать, кто из современных писателей глубже и шире относится к жизненным вопросам общества. Скажу только, что поколение, выработавшее и осущест-

ствившее все реформы последнего десятилетия, воспитано Пушкиным и Гоголем и приготовлено их нравственным влиянием к деятельности и плодотворному труду, хотя ни Пушкин, ни Гоголь не написали ни одного трактата о какой-либо реформе и не переносили на русскую почву социального бреда иноземных мыслителей» [Виноградов 2011–2013. 3: 686].

В 1874 г. Иван Аксаков писал А. О. Смирновой: «Знаете, о чем я теперь собираюсь писать? О Гоголе. <...> То значение, которое имел Гоголь для литературы, для современников, <...> то наслаждение, которое доставляло художественное воспроизведение пошлых, грязных и сальных сторон русской жизни, наслаждение чуждое всяких тенденциозных, социалистических соображений, все это теперь — вещи невнятные. Это необходимо истолковать, и потому мне хочется написать <...> два этюда о Гоголе: один — “место или значение Гоголя в истории русской литературы и русского общества”, а другой — психологический этюд о самом Гоголе...» [Виноградов 2011–2013. 2: 943]. (К сожалению, своего намерения Аксаков так и не исполнил.)

Историк литературы Н. К. Бокадоров в 1902 г. указывал: «Гоголь <...> явился провозвестником тех реформ, какие были совершены в царствовании Императора Александра II. Как “Мертвые души” были ласточкой освобождения крестьян, так “Ревизор” был вестником скорого, правого и милостивого суда, земских учреждений и других мер к подъему честности и гражданского долга чиновников» [Бокадоров: 275].

В. А. Панаев, кроме того, вспоминал: «Вообще, в прежние времена, литература имела, положительно, воспитательное значение. Например, по выходе “Мертвых Душ” Гоголя, года через два, провинция сделалась неузнаваема. Громадный авторитет, приобретенный “Мертвыми Душами”, имел благотворное воспитательное значение для всей России. Сверх того, более или менее, повсюду сделалось известным, что сам император дал средства Гоголю для его работы, дабы он не был вынужден быть поденщиком из-за куска хлеба. Следовательно, общество знало, что произведение Гоголя было санкционировано в высшем слое общества» [Панаев: 502].

Отмечая некомпетентность и разъедающую нетерпимость «негосударственных людей» в определении путей развития страны, в деле управления ею, Гоголь, несмотря на настойчиво провозглашаемое ли-

беральными литераторами следование действительности — декларируемые «физиологизм», «натурализм» (позднее «реализм»), — уже при самом зарождении натуральной школы однозначно указал, что произведения радикального западничества — как прямого подражания тогдашней французской литературе¹ — являются в значительной мере кривым зеркалом жизни.

Достаточно, к примеру, сравнить изображение бурсы у Гоголя (в «Тарасе Бульбе» и «Вии») и у последователя «натуральной школы» Н. Г. Помяловского, чтобы убедиться в мнимом «реализме» радикального направления [Виноградов 2007]. В конце 1850-х – первой половине 1860-х гг. некто Т. И. Селиванов (выпускник духовной семинарии в самом начале XIX в.) в беседе с Г. П. Данилевским отмечал, что Гоголь «в повести “Вий” приводит верное изображение <...> бурсаков, отправлявшихся на кондиции из городов по деревням^а [Данилевский: 9]. Напротив, об «Очерках бурсы» Помяловского другой современник писал: «Мы сами знаем духовные заведения не понаслышке, мы знакомы со многими из них в подробности; но утверждаем со всею силою убеждения, что не встречали ни в училищах, ни в Семинариях, ни в Академиях той отвратительной грязи, тех омерзительных гадостей, того невероятного безобразия, какие описывает Г. Помяловский» [Даниленко: 115].

«Довольно посредственная литература» [Гоголь 2009–2010. 14: 392], беллетристика невысокого художественного уровня, в которой жизнь изображена «уродливо и косо» [Гоголь 2009–2010. 14: 390], «судорожные, больные произведения века, с примесью всяких неперевавшихся идей» [Гоголь 2009–2010. 6: 28], — такова оценка Гоголем той либеральной псевдо-реалистической словесности, что шла на смену его произведениям и уже при жизни писателя становилась, на долгие десятилетия, определяющим идеологическим стержнем журнальной литературы.

Буквально с первых шагов своего творчества Гоголь поднял в своих произведениях тему так называемых «огорченных», «лишних людей», подразумевая под ними представителей радикальной школы, обличение которых, наряду с чиновниками-взяточниками и «мертвыми» помещичьими душами, составляло, на равных правах, предмет его художественных произведений, начиная с юношеской поэмы

¹ См. подробнее: [Виноградов 2020e: 14–17].

«Ганц Кюхельгертен» [Виноградов 2018b]. Поставленная Гоголем проблема оказалась актуальной не только для его эпохи, но с очевидностью сказалась и в том примитивизме, который являла в истолковании его произведений последующая марксистская критика — школа, представляющая собой, если оценивать ее с гоголевской точки зрения, окончательно сформировавшуюся доктрину «духовных недорослей». Пониманием сочинений Гоголя не отличалось в XX в. не только марксистское, победившее в 1917 г. атеистическое мировоззрение, но и не менее радикальная по отношению к исторической России — не менее «хлестаковская» и «ноздревская» предэмигрантская «бердяевщина», которая, отметив уже в 1918 г. — не без оснований — черты «ноздревщины» в новой, революционной эпохе¹, «проглядела», однако, те же черты в собственном нигилистическом радикализме. Свидетельством «преемственности» оценок русской жизни представителями тогдашних радикальных кругов разных толков могут служить вполне русофобские высказывания о «гоголевской России» самого Н. А. Бердяева: «В революции раскрылась <...> старая <...> полузвериная Россия харь и морд» [Бердяев: 779]². Восторжествовавшая после 1917 г. идеология последователей Белинского — Ноздревых и Хлестаковых, «огорченных», «лишних людей» — представителей новейшего западного «просвещения», с которыми боролся Гоголь [Виноградов 2018b], — была опять-таки вполне «по-ноздревски» истолкована Бердяевым как явление исконной русской жизни. Проблемы, которые ставил Гоголь, рас-

¹ «В большей части присвоений революции есть что-то ноздревское» [Бердяев: 780].

² Аналогичное мнение одного из представителей зарубежной маргинальной среды — малоизвестного актера и писателя Э. Фриделя (Фридмана, 1878–1938) приводят в качестве *итога* своей комментаторской работы над гоголевской комедией И. А. Зайцева и Ю. В. Манн в новом академическом издании сочинений Гоголя (см.: [Зайцева, Манн: 793]). Столь ценное комментаторами мнение зарубежного автора-публициста носит характер крайне субъективный и поверхностный, далекий от серьезного научного изучения; его заведомая третьестепенность очевидна из того, что строки, посвященные Гоголю, находятся в книге многочисленных популярно-публицистических эссе Э. Фриделя «Культурная история современности» (1931), где из *полутора тысяч* страниц Гоголю отведено лишь *полстраницы*. Поверхностное скольжение автора по обширному историческому материалу представляется новейшим комментаторам соответствующим уровню современной академической науки.

сматривались Бердяевым с обратным знаком — согласно идеологии тех же Ноздревых, «лишних людей», в духе радикала Белинского, являвшегося для Гоголя одним из представителей зараженных западничеством «мертвых душ».

Показательно в этом свете и известное суждение В. В. Набокова, который затрагивал тему «Гоголь и цензура» в своей лекции «Писатели, цензура и читатели в России», прочитанной в 1958 г. в Корнеллском университете (США) [Набоков]. В числе сил, «противостоящих» художнику, Набоков традиционно называл цензуру (имея в виду цензуру не только досоветского, но и — в еще большей мере — советского периода), добавляя лишь, что такой же противостоящей писателю силой была в XIX в. «утилитарная критика» Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Особенность позиции Набокова заключается, таким образом, лишь в том, что, по его мнению, Пушкин и Гоголь находились в противостоянии, с одной стороны, требованиям правительственной цензуры, с другой — не отвечали столь же «антихудожественным» требованиям либерально-демократической критики. Подобный взгляд лишь незначительными акцентами отличается от традиционного либерального отношения к проблеме взаимоотношений художника и власти, т. е. лишь отчасти разнится со стереотипами, сложившимися во времена Белинского.

В настоящее время литературоведение нуждается в коренной ревизии предвзятых представлений о негативной роли цензуры в общественном и литературном развитии России. Главный позитивный пример в насущном пересмотре взглядов на отечественную историю представляет массовая реабилитация жертв политических репрессий, канонизация десятков тысяч новомучеников и исповедников Российских. В этом ряду находится и выработка новой, свободной от стереотипов и идеологических штампов научной концепции отечественной словесности XIX–XX вв., задача создания которой встала перед российской наукой в начале 1990-х гг. Наряду с этими процессами, в аналогичной политической и научной «реабилитации» нуждается и российская цензура. При всех недостатках цензурного ведомства XIX в., освещению которых уделяла исключительное внимание предшествующая радикальная критика, именно российская цензура боролась с теми негативными процессами, которые получили развитие в последующем, XX в., с формированием атеистических идеологий и широкими манипуляциями общественным мнением.

Необходимым звеном в реабилитации регулирующей и регламентирующей деятельности русской цензуры XIX в. становится комплексное изучение цензурных историй гоголевских произведений. Как свидетельствуют факты, на протяжении всего своего творчества писатель развивался в русле государственной идеологии, был «заодно» с правительством. Бытующие мнения об исключительно негативной роли цензуры в судьбе Гоголя, которые без весомых доказательств декларативно утверждались литературоведением предшествующего периода, оказываются, как свидетельствуют многочисленные факты, несостоятельными. Вопреки расхожим представлениям, непредвзятый анализ показывает, что в целом гоголевские тексты встретили в цензуре сравнительно несущественные затруднения. Позитивное взаимодействие государственных и личных интересов в судьбе Гоголя было обязано глубокому христианскому мировоззрению писателя и соответствующей официальной идеологии его времени.

Список литературы

Источники

Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 1–22. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1888–1910.

<Белинский В. Г.> Литературные и журнальные заметки // Отечественные Записки. 1842а. № 10. С. 127–135.

<Белинский В. Г.> Литературные и журнальные заметки // Отечественные Записки. 1842б. № 12. С. 103–112.

Белинский В. Г. Вторая книжка «Современника» // *Белинский В. Г.* Собр. соч.: в 9 т. М.: Худож. лит., 1976. Т. 1. С. 516–520.

Белый А. *<Бугаев Б. Н.>* Мастерство Гоголя. Исследование / с предисл. Л. Б. Каменева <Розенфельда>. М.; Л.: ГИХЛ, 1934. 321 с.

Бердяев Н. А. Духи русской революции // *Бердяев Н. А.* Падение священного русского царства: Публицистика 1914–1922 / вступ. ст., сост. и примеч. В. В. Сапова. М.: Астрель, 2007. С. 775–807.

Бессонов Б. Новые автографы русских писателей // Русская литература. 1965. № 3. С. 193–207.

Бокадоров Н. К. Комедия Гоголя. (Литературный этюд) // Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим Обществом Нестор-летописца / под ред. Н. П. Дашкевича. Киев: Тип. Р. К. Лубковского, 1902. С. 258–287.

Вейденбаум Е. Г. Кавказские этюды. Тифлис: Центр книжн. торг., 1901. 320 с.

Виноградов И. А. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-

критическое издание: в 3 т. М.: ИМЛИ, 2011. Т. 1. 904 с.; 2012. Т. 2. 1031 с.; 2013. Т. 3. 1168 с.

Внутренние известия // Северная Пчела. 1832. 22 сент. № 220. С. 1–2.

Вяземский, князь. О нашей старой комедии. (Из сочинения: Биографические и Литературные записки о Д. И. фон Визине // Альциона на 1833-й год, издаваемая Бароном Розеном. СПб.: В тип. Инспекторского Департамента Военного Министерства, 1833. С. 187–229.

<Вяземский П. А., князь> В. «Ревизор». Комедия. Соч. Н. Гоголя. С.-Петербург. 1836 // Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. 1836. Т. 2. С. 285–309.

Вяземский П. А. Приписка / Вяземский П. А. Ревизор. Комедия, соч. Н. Гоголя. С.-Петербург. 1836 г. // *Вяземский П. А., князь*. Полн. собр. соч. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1879. Т. 2. С. 274–275.

Глинка С. Н. Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб.: Изд-е редакции журнала «Русская Старина», 1895. 380 с.

<Говоруха-Отрок Ю. Н.> Николаев Ю. Нечто о Гоголе и Достоевском. По поводу статьи В. Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе», Ф. М. Достоевского. *Русский Вестник*, январь // Московские Ведомости. 1891. 26 янв. № 26. С. 3–4.

<Гоголь Н. В.> О любви к Богу и самовоспитании // Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя / Гоголевские тексты. Изданы Г. П. Георгиевским. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1909. С. 1–7.

Гоголь Н. В. Соч.: в 3 т. / ред. К. И. Халабаева, Б. М. Эйхенбаума; вступ. ст. Л. Н. Войтоловского. М.; Л.: Гос. изд-во, 1927.

Гоголь Н. В. Соч.: в 3 т. / ред. К. И. Халабаева, Б. М. Эйхенбаума; вступ. ст. Л. Н. Войтоловского. 2-е изд. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928.

Гоголь Н. В. Соч.: в 3 т. / ред. К. И. Халабаева, Б. М. Эйхенбаума; вступ. ст. Л. Н. Войтоловского. 3-е изд. М.; Л.: Гос. изд-во, 1929.

Гоголь Н. В. Соч.: в 3 т. / ред. К. И. Халабаева, Б. М. Эйхенбаума; вступ. ст. Л. Н. Войтоловского. 4-е изд. М.; Л.: Гос. изд-во, 1930.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: <в 14 т.> <Л.>: АН СССР, 1937–1952. 1940. Т. 1. 556 с.; 1949. Т. 5. 511 с.; 1952. Т. 9. 684 с.

Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 9 т. (в 7 кн.) / сост. и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М.: Русская книга, 1994. Т. 6. 560 с.; Т. 8. 784 с.

<Гоголь Н. В.> Неизданный Гоголь / изд. Подгот. И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2001. 600 с.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. (15 кн.) / сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009–2010.

Городецкий Б. П. Описание автографов Н. В. Гоголя в собрании Института Литературы Академии Наук СССР // Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения / под ред. С. Д. Балухатого, Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. 1938. Т. 1. С. 432–474.

Гофман М. Л. Последние дни Гоголя. (Новые материалы) // Руль. (Берлин). 1925. 25 янв. № 1260. С. 3.

Грот К. Я. Василий Николаевич Семенов, литератор и цензор. К литературной истории 1830-х гг. // Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Л.: Изд-во АН СССР, 1928. Вып. XXXVII. С. 155–191.

<Грот Я. К., Плетнев П. А.> Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Издана под ред. К. Я. Грота, ординарного профессора Императорского Варшавского университета. <В 3 т.> СПб.: Тип. Министерства Путей Сообщения, 1896. Т. 2. 968 с.

Д<анилевский> Г. <П.> Харьковские школы в старину и теперь. (Исторические и статистические заметки об училищах и народном образовании в Харьковской губернии). СПб.: Тип. И. Огризко, 1864. 24 с.

Даниленко Н. Бурса и ее певец // Полтавские Епархиальные Ведомости. 1863. 1 февр. № 3. С. 115–120.

Дризен Н. В., барон. Драматическая цензура двух эпох. 1825–1881. Пг.: Прометей, 1917. 347 с.

Ерофійв Ів. Новый рукопис Гоголя. (3 рукописного відділу Музею Слободської України) // Червоний Шлях. Харків, 1926. № 2. С. 175–176.

Избранные жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней архиепископа Филарета Черниговского: в 2 кн. / Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви. М.: Сибирская Благозвонница, 2011. Июль–декабрь. 832 с.

Ильин И. А. Гоголь — великий русский сатирик, романтик, философ жизни // Ильин И. А. Собр. соч.: в 10 т. М.: Русская книга, 1997. Т. 6. Кн. 3 / сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. С. 240–276.

Котляревский Н. А. Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы. СПб.: Тип. Н. Н. Скороходова, 1903. 438 с.

<Кудрявцев П. Н.> Прodelки на Кавказе. Соч. Е. Хамар-Дабанова <Е. П. Лачиновой>. СПб., 1844 // Отечественные Записки. 1844. № 6. С. 67–72.

Лозинский Г. Л. Письмо Пушкина об авторском праве // Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1928. Вып. 2. С. 85–94.

Лопухин А. П. Библейская история ветхого и Нового Заветов. Полное издание в одном томе. М.: Альфа-книга, 2009. 1215 с.

Набоков В. В. Писатели, цензура и читатели в России // Набоков В. В. Лекции по русской литературе / пер. с англ. С. Антонова, Е. Гольшевой, Г. Дашевского и др. СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 25–42.

Никитенко А. В. Дневник: в 3 т. / подгот. текста, вступ. ст. и примеч. И. Я. Айзенштока. <Без м. изд.>: ГИХЛ, 1955. Т. 1. 543 с.

<Одоевский В. Ф., князь>. Из бумаг князя В. Ф. Одоевского // Русский Архив. 1874. № 7. Стб. 11–54.

<Одоевский В. Ф., князь>. Из бумаг князя В. Ф. Одоевского // Русский Архив. 1897. № 6. Стб. 283–284.

Одоевский В. Ф. <...> Записная книжка // Одоевский В. Ф. Романтические повести / Предисл. вступ. ст. и ред. О. Цехновицер. Л.: Прибой, 1929. С. 61–76.

<Панаев В. А.> Воспоминания Валериана Александровича Панаева // Русская Старина. 1901. № 9. С. 481–510.

Полное Собрание Законов Российской Империи <ПСЗРИ>: Собрание второе: <С 12 декабря 1825 г. по 28 февраля 1881 г.>: <В 55 т.>. СПб.: Тип. 2-го Отделения Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1830–1885.

Преподобноисповедник Гавриил (Игошкин) / Составитель священник Максим Максимов // Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии / под общ. ред. Председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Тверь: Булат, 2003. Сентябрь–Октябрь. С. 112–128.

<Примечание издателей> // Соч. Н. В. Гоголя / под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. Лит.-изд. отдел Народного Комиссариата по просвещению. Пг., 1919. С. 2.

<Пушкин А. С. О записках Видока> В одном из № Литературной Газеты упоминали о Записках Парижского палача... // Литературная Газета. 1830. 6 апр. № 20. С. 162.

Пушкин А. С. Смесь // Соч. Александра Пушкина. СПб.: В тип. И. Глазунова и К^о, 1841. Т. 11. С. 1–353.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. (в 20 кн.). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.

С. <псевдоним>. Гоголь под николаевской цензурой // Вечерняя Москва. М., 1927. 2 июля. № 147. С. 4.

Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб.: В тип. Морского министерства, 1862. 482 с.

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб.: В тип. Императорской Академии наук, 1864. Т. 1. 1644 стб.

Священномученик Петр (Никотин) и мученики Виктор (Фролов), Иоанн (Рыбин), Елизавета (Куранова), Николай (Кузьмин) / сост. священник Максим Максимов // Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии / под общ. ред. Председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Тверь: Булат, 2005. Дополнительный том I. С. 197–212.

Священномученик Сергей Увицкий // Жития святых Екатеринбургской епархии / Тексты и фотоматериалы для книги подготовлены Комиссией по канонизации святых Екатеринбургской епархии. Екатеринбург: Информационно-издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2008. С. 25–42.

Титов А. Александр Бестужев — герой забытого романа // Русская литература. 1959. № 3. С. 133–138.

Толстой Л. Н. Исповедь. (Вступление к неопубликованному сочинению) // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1957. Т. 23. С. 1–59.

Уголовный кодекс РСФСР. С изменениями на 1 июня 1937 г. Официальный текст с прилож. постановлено-систематизированных материалов. М.: Юрид. изд-во, 1937. 224 с.

Устав о цензуре. СПб.: В тип. Департамента Народного Просвещения, 1829. 101 с.

<Филарет (Дроздов), святитель>. Сказание о обретении и открытии честных мощей, иже во святых отца нашего Митрофана, первого Епископа Воронежского и о благодатных при том знаменениях и чудесных исцелениях. Извлечено из ак-

тов и донесений, имеющих в Святейшем Синоде. Напечатано по определению Святейшего Синода. СПб.: В тип. Святейшего Синода, 1832. 68 с.

Чистович И. История перевода Библии на русский язык. 2-е изд. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. 347 с.

Шварц А. Н. Моя переписка со Столыпиным. Мои воспоминания о Государе. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1994. 368 с.

Шевырев С. Взгляд на современную Русскую литературу. Статья вторая // Москвитянин. 1842а. № 3. С. 153–191.

Шевырев С. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Москва. В Универ. Типогр. 1842. В 8-ку, 475 стран. Статья первая // Москвитянин. 1842b. № 7. С. 207–228.

Шевырев С. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Москва. В Универ. Типогр. 1842. В 8-ку, 475 стран. Статья вторая // Москвитянин. 1842с. № 8. С. 346–376.

Шевырев С. Критический перечень произведений Русской Словесности за 1842 год // Москвитянин. 1843. № 1. С. 274–298.

Шевырев С. Теория смешного, с применением к Русской комедии // Москвитянин. 1851. № 1. С. 106–120.

Шевырев С. П. Лекции о русской литературе, читанные в Париже в 1862 году. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1884. 280 с.

Шенрок В. И. Предисловие к 17-му изданию // Соч. Н. В. Гоголя. 17-е изд. Под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. СПб.: Изд-е А. Ф. Маркса, 1901. С. 8.

Шенрок В. И. Предисловие к 17-му изданию // Соч. Н. В. Гоголя / под ред. Н. С. Тихонравова и В. И. Шенрока. Пг.: Лит.-изд. отдел Народного Комиссариата по просвещению, 1919. С. 8.

<*Glinka S. N.*> Observations morales sur la presse périodique en France. Par Serge Glinca. Moscou, 1828. 12 p.

<*Shevyrev S., Rubini G.*> Storia della letteratura Russa per Stefano Sceviref e Giuseppe Rubini. Firenze: Felice le Momnnier, 1862. 346 p.

Исследования

Виноградов И. А. Гоголь — художник и мыслитель: Христианские основы миро-созерцания. М.: ИМЛИ РАН, 2000. 448 с.

<*Виноградов И. А.*> О благодарности. (Неизвестное сочинение Гоголя). Публикация, научная подготовка текста и статья И. А. Виноградова // Литературная учеба. 2001. Кн. 3. Май–июнь. С. 141–148.

Виноградов И. А. Повесть Н. В. Гоголя «Вий»: Из истории интерпретаций // Н. В. Гоголь и современная культура: Шестые Гоголевские чтения: Материалы докладов и сообщений Международной конференции / Комитет по культуре г. Москвы; Центр. гор. б-ка — мемор. центр «Дом Гоголя» / под общ. ред. В. П. Викуловой. М.: Книжный дом «Университет», 2007. С. 105–122.

Виноградов И. А. Комментарий // *Гоголь Н. В.* Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и текстологический комментарий / изд. Подгот. И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 385–656.

Виноградов И. А. Гоголь в Нежинской гимназии высших наук: Из истории образования в России. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 352 с.

Виноградов И. А. Самая патриотическая книга нашей словесности («Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя») // Актуальные вопросы изучения духовной и светской словесности. М.: ИПО «У Никитских ворот», 2017. Вып. 1 / Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького РАН; ред. М. И. Щербакова. С. 77–94.

Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809–1852). С родословной летописью (1405–1808): в 7 т. М.: ИМЛИ РАН, 2017–2018. Т. 1: 1405–1808; 1809–1828. 736 с.; Т. 2: 1829–1836. 672 с.; Т. 4: 1842–1844. 704 с.; 2018. Т. 6: 1848–1850. 656 с.

Виноградов И. А. Страсти по Гоголю. О духовном наследии писателя. М.: Вече, 2018. 320 с.

Виноградов И. А. «Огорченные люди» в творчестве Н. В. Гоголя // Проблемы исторической поэтики. 2018. Т. 16, № 4. С. 29–114.

Виноградов И. А. Славянофил-государственник. Гоголь в движениях эпохи // Два века русской классики. 2019. Т. 1, № 2. С. 38–63.

Виноградов И. А. Ю. Ф. Самарин как неизвестный адресат «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя. К 200-летию мыслителя-славянофила // Вестник славянских культур. 2019. Т. 54. С. 197–212.

Виноградов И. А. Образ монарха-наставника в творчестве Н. В. Гоголя // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17, № 2. С. 111–134.

Виноградов И. А. Феномен западничества в славянофильстве: взгляд Гоголя // Литературный факт. 2019. № 2 (12). С. 189–224.

Виноградов И. А. Н. В. Гоголь и законы Российской Империи: К единству наследия писателя // Два века русской классики. 2020. Т. 2, № 2. С. 66–133.

Виноградов И. А. Концепт закона в творчестве Н. В. Гоголя // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18, № 2. С. 64–86.

Виноградов И. А. Религиозный замысел комедии Н. В. Гоголя «Игроки» // Литературный процесс в России XVIII–XIX вв. Светская и духовная словесность. М.: ИМЛИ РАН, 2020. Вып. 2 / отв. ред. М. И. Щербакова, В. Г. Андреева. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького РАН. С. 126–158.

Виноградов И. А. Послужной список Городничего в «Ревизоре». К характеристике политических взглядов Н. В. Гоголя // Литературный факт. 2020. № 1 (15). С. 237–282.

Виноградов И. А. Психологизм Н. В. Гоголя // Два века русской классики. 2020. Т. 2, № 4. С. 6–73.

Виноградов И. А., Воронаев В. А. Карандашные пометы и записи Н. В. Гоголя в славянской Библии 1820 года издания // Проблемы исторической поэтики. Вып. 5: Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 2: Сборник научных трудов. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1998. С. 234–249.

Луковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л.: ГИХЛ, 1959. 531 с.

Де Лотто Ч. «Поучение» Агапита в итальянском переводе Гоголя. Н. В. Гоголь. «Expositione dei principali avertimenti, compilata dal Agapito...» Публ. Ч. Де Лотто //

Русско-итальянский архив II. Составители Д. Рицци и А. Шишкин. (Archivio italo-russo II, a cura di D. Rizzi e A. Shishkin). Салерно (Salerno): Poligrafica Ruggiero, 2002. С. 79–88.

Зайцева И. А., Манн Ю. В. Комментарий // *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. и писем: в 23 т. М.: Наука, 2003. Т. 4 / тексты и коммент. подгот. И. А. Зайцева, Ю. В. Манн. С. 537–888.

Звягинцев А. Г. «Вирус нацизма» // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2019. № 2 (95). С. 41–50.

Иноземцева З. П. Усвоить духовные плоды подвига новомучеников и исповедников XX столетия — насущная задача нашего общества // Оптинский альманах. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2020. Вып. 6: В поисках Града Небесного. С. 133–153.

Кожин В. В. К методологии истории русской литературы (о реализме 30-х годов XIX века) // Вопросы литературы. 1968. № 5. С. 60–82.

Попович А. И. «Изображая жертву»: пафос обличения и мученичества в сочинениях Ивана Грозного и Андрея Курбского // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18, № 4. С. 67–98.

Сахаров В. И. Русская проза XVIII–XIX веков: Проблемы истории и поэтики. М.: ИМЛИ РАН, 2002. 216 с.

Сдобнов В. В. Гоголь и царская цензура // Художественное восприятие: проблемы теории и истории: межвузовский тематический сб. научных трудов / Калининский гос. ун-т; редкол.: В. В. Прозоров (отв. ред.) и др. Калинин, 1988. С. 87–93.

Свиясов Е. В. Гоголь и царская цензура // Русская литература. 1983. № 2. С. 147–150.

Эйхенбаум Б. М. Основы текстологии // Редактор и книга: сб. ст. М.: Искусство, 1962. Вып. 3. С. 41–86.

Хетсо Г. Гоголь как учитель жизни: Новые материалы // Scando Slavica. Copenhagen, 1988. Т. 34. С. 55–67.

References

Vinogradov, I. A. *Gogol' — khudozhnik i myslitel': Khristianskie osnovy mirosozertsaniia [Gogol as an Artist and Thinker: Christian Foundations of the Worldview]*. Moscow, IWL RAS Publ., 2000. 448 p. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. “O blagodarnosti. (Neizvestnoe sochinenie Gogolia)” [“About Gratitude. (Unknown Work of Gogol)”], publ., text prep. and article by I. A. Vinogradov. *Literaturnaia ucheba*, 2001, book 3, May – June, pp. 141–148. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. “Povest' N. V. Gogolia ‘Vii’: Iz istorii interpretatsii” [“N. V. Gogol's Story ‘Vii’: From the History of Interpretations”]. *N. V. Gogol' i sovremennaia kul'tura: Shestye Gogolevskie chteniia: Materialy dokladov i soobshchenii Mezhdunarodnoi konferentsii [N. V. Gogol and Contemporary Culture: Sixth Gogol Proceedings: Materials of Reports and Messages of the International Conference]*. Moscow, Knizhnyi dom “Universitet” Publ., 2007, pp. 105–122. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. “Kommentarii” [“Commentary”]. Gogol', N. V. *Taras Bul'ba. Avtografy, prizhiznennye izdaniia. Istoriko-literaturnyi i tekstologicheskii kommentarii* [Taras Bulba. Autographs, Lifetime Editions. Historical, Literary and Textological Commentary], prep. by I. A. Vinogradov. Moscow, IWL RAS Publ., 2009, pp. 385–656. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. *Gogol' v Nezhinskoj gimnazii vysshikh nauk. Iz istorii obrazovaniia v Rossii* [Gogol' at the Nizhyn Gymnasium of Higher Sciences. From the History of Education in Russia]. Moscow, IWL RAS Publ., 2015. 352 p. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. “Samaia patrioticheskaia kniga nashei slovesnosti (‘Vybrannye mesta iz perepiski s druž'iami Nikolaia Gogolia’)” [“The Most Patriotic Book in Our Literature (‘Selected Passages from the Correspondence with Friends by Nikolai Gogol’)”]. Shcherbakova, M. I., editor. *Aktual'nye voprosy izuchenii dukhovnoi i svetskoi slovesnosti* [Topical Issues in the Study of Spiritual and Secular Literature], issue 1. Moscow, IPO “U Nikitskikh vorot” Publ., 2017, pp. 77–94. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. *Letopis' zhizni i tvorchestva N. V. Gogolia (1809–1852). S rodoslovnoi letopis'iu (1405–1808): v 7 t.* [Chronicle of the Life and Work of N. V. Gogol (1809–1852). With a Pedigree Chronicle (1405–1808): in 7 vols.]. Moscow, IWL RAS Publ., 2017–2018. Vol. 1: 1405–1808; 1809–1828. 736 p.; vol. 2; 1829–1836. 672 p.; vol. 4: 1842–1844. 704 p.; vol. 6: 1848–1850. 656 p. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. *Strasti po Gogoliu. O dukhovnom nasledii pisatel'ia* [The Gogol Passion. On the Spiritual Heritage of the Writer]. Moscow, Veche Publ., 2018. 320 p. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. “Ogorchennye liudi' v tvorchestve N. V. Gogolia” [“Distressed People' in N. V. Gogol's Works”]. *Problemy istoricheskoi poetiki*, vol. 16, no. 4, 2018, pp. 29–114. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. “Slavianofil-gosudarstvennik. Gogol' v dvizheniiakh epokhi” [“Slavophile Statesman. Gogol in the Movements of the Era”]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 1, no. 2, 2019, pp. 38–63. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. “Iu. F. Samarin kak neizvestnyi adresat ‘Vybrannykh mest iz perepiski s druž'iami’ N. V. Gogolia. K 200-letiiu myslitel'ia-slavianofila” [“Yu. F. Samarin as an Unknown Addressee of N. V. Gogol's ‘Selected Passages from the Correspondence with Friends’. To the 200th Anniversary of the Slavophile Thinker”]. *Vestnik slavianskikh kul'tur*, vol. 54, 2019, pp. 197–212. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. “Obraz monarka-nastavnika v tvorchestve N. V. Gogolia” [“The Image of the Monarch-Mentor in N. V. Gogol's works”]. *Problemy istoricheskoi poetiki*, vol. 17, no. 2, 2019, pp. 111–134. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. “Fenomen zapadnichestva v slavianofil'stve. Vzgliad Gogolia” [“The Phenomenon of Westernism in Slavophilism. Gogol's View”]. *Literaturnyi fakt*, no. 2 (12), 2019, pp. 189–224. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. “N. V. Gogol' i zakony Rossiiskoi Imperii: K edinstvu nasledii pisatel'ia” [“N. V. Gogol and Laws of the Russian Empire: On the Unity of the Writer's Heritage”]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 2, no. 2, 2020, pp. 66–133. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. “Kontsept zakona v tvorchestve N. V. Gogolia” [“The Concept of Law in N. V. Gogol's works”]. *Problemy istoricheskoi poetiki*, vol. 18, no. 2, 2020, pp. 64–86. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. "Religiozniy zamysel komedii N. V. Gogolia 'Igroki'" ["The Religious Concept of N. V. Gogol's Comedy 'The Gamblers'"]. Shcherbakova, M. I., and Andreeva, V. G., editors. *Literaturnyi protsess v Rossii XVIII–XIX vekov. Svetskaia i dukhovnaia slovesnost'* [Literary Process in Russia in the 18th–19th centuries. Secular and Spiritual Literature], issue 4. Moscow, IWL RAS Publ., 2020, pp. 126–158. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. "Posluzhnoi spisok Gorodnichego v 'Revizore'. K kharakteristike politicheskikh vzgliadov N. V. Gogolia" ["The Mayor's Career in 'The Governor Inspector'. On Nikolai Gogol's Political Views"]. *Literaturnyi fakt*, no. 1 (15), 2020, pp. 237–282. (In Russ.)

Vinogradov, I. A. "Psikhologizm N. V. Gogolia" ["Psychologism of N. V. Gogol"]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 2, no. 4, 2020, pp. 6–73. (In Russ.)

Vinogradov, I. A., Voropaev, V. A. "Karandashnye pomety i zapisi N. V. Gogolia v slavianskoi Biblii 1820 goda izdaniia" ["N. V. Gogol's Pencil Marks and Notes in the Slavic Bible of 1820"]. *Problemy istoricheskoi poetiki, vypusk 5: Evangel'skii tekst v russkoi literature XVIII–XX vekov. Tsitata, reministsentsiia, motiv, siuzhet, zhanr, vypusk 2. Sbornik nauchnykh trudov [Issues of Historical Poetics. Issue 5: The Gospel Text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries. Quote, Reminiscence, Motive, Plot, Genre. Issue 2. Collection of Scientific Papers]*. Petrozavodsk, Petrozavodsk University Publ., 1998, pp. 234–249. (In Russ.)

Gukovskii, G. A. *Realizm Gogolia [Gogol's Realism]*. Moscow, Leningrad, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1959. 531 p. (In Russ.)

De Lotto, C. "Pouchenie' Agapita v ital'ianskom perevode Gogolia. N. V. Gogol'. 'Expositione dei principali avvertimenti, compilata dal Agapito...'" ["'The Teaching' of Agapit in the Italian translation by Gogol. N. V. Gogol. 'Expositione dei principali avvertimenti, compilata dal Agapito...'", publ. by C. De Lotto. *Russko-ital'ianskii arkhiv II [Russian-Italian Archive II]*, comp. by D. Rizzi and A. Shishkin. (Archivio italo-russo II, a cura di D. Rizzi e A. Shishkin). Salerno, Poligrafica Ruggiero, 2002, pp. 79–88. (In Russ.)

Zaitseva, I. A., Mann, Iu. V. "Kommentarii" ["Commentary"]. Gogol', N. V. *Polnoe sobranie sochinenii i pisem: v 23 t. [Complete Works and Letters: in 23 vols.]*, vol. 4, texts and comments prep. by I. A. Zaitseva, Yu. V. Mann. Moscow, Nauka Publ., 2003, pp. 537–888. (In Russ.)

Zviagintsev, A. G. "'Virus natsizma'" ["'Virus of Nazism'"]. *Vestnik Rossiiskogo fonda fundamental'nykh issledovani. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki*, no. 2 (95), 2019, pp. 41–50. (In Russ.)

Inozemtseva, Z. P. "Usvoit' dukhovnye plody podviga novomuchenikov i ispovednikov XX stoletii – nasushchnaia zadacha nashego obshchestva" ["To Assimilate Spiritual Fruits of the Feat of New Martyrs and Confessors of the 20th Century is the Urgent Task of Our Society"]. *Optinskii al'manakh [Optina Almanac]*, issue 6: *V poiskakh Grada Nebesnogo [In search of the Heavenly City]*. Kozelsk, Vvedensky Stavropegic Monastery Optina Pustyn Publ., 2020, pp. 133–153. (In Russ.)

Kozhinov, V. V. "K metodologii istorii russkoi literatury (o realizme 30-kh godov XIX veka)" ["On the Methodology of the History of Russian Literature (On the Realism of the 1830s)"]. *Voprosy literatury*, no. 5, 1968, pp. 60–82. (In Russ.)

Popovich, A. I. “‘Izobrazhaia zhertvu’: pafos oblicheniia i muchenichestva v sochine-niakh Ivana Groznogo i Andreia Kurbskogo” [“‘Playing the Victim’: the Pathos of Denunciation and Martyrdom in the Works of Ivan the Terrible and Andrey Kurbsky”]. *Problemy istoricheskoy poetiki*, vol. 18, no. 4, 2020, pp. 67–98. (In Russ.)

Sakharov, V. I. *Russkaia proza XVIII–XIX vekov: Problemy istorii i poetiki* [Russian Prose of the 18th — 19th Centuries: Issues of History and Poetics]. Moscow, IWL RAS Publ., 2002. 216 p. (In Russ.)

Sdobnov, V. V. “Gogol’ i tsarskaia tsenzura” [“Gogol and the Tsarist Censorship”]. *Khudozhestvennoe vospriiatie: problemy teorii i istorii: mezhvuzovskii tematicheskii sb. nauchnykh trudov* [Artistic Perception: Issues of Theory and History: Interuniversity Thematic Collection of Scientific Papers], Kalinin State University. Kalinin, 1988, pp. 87–93. (In Russ.)

Sviiasov, E. V. “Gogol’ i tsarskaia tsenzura” [“Gogol and the Tsarist Censorship”]. *Russkaia literatura*, no. 2, 1983, pp. 147–150. (In Russ.)

Eikhenbaum, B. M. “Osnovy tekstologii” [“Basics of Textual Criticism”]. *Redaktor i kniga. Sbornik Statei* [Editor and Book. Collection of Essays], issue 3. Moscow, Iskusstvo Publ., 1962, pp. 41–86. (In Russ.)

Khetso, G. “Gogol’ kak uchitel’ zhizni: Nove materialy” [“Gogol as a Teacher of Life: New Materials”]. *Scando Slavica*, vol. 34. Copenhagen, 1988, pp. 55–67. (In Russ.)

© 2021. М. Р. Ненарокова
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Эпиграф к «Лесу и степи» И. С. Тургенева: проблема передачи «эмблематического» сознания в пространстве переводов

Аннотация: Статья посвящена проблеме рецепции переводов русской классической литературы в англоязычной культуре. В работе изучаются особенности передачи эмблематического мировидения И. С. Тургенева в переводах на английский язык эпиграфа к рассказу «Лес и степь» из сборника «Записки охотника», опубликованных в 1895, 1955 и 1967 гг. Автором статьи определяются особенности передачи лексики эпиграфа, круг ключевых слов стихотворения, расхождения в их переводах, объясняется возможность или невозможность выбора переводчиком определенного варианта. Исследование показало, что мировидение Тургенева сформировалось под влиянием культуры «риторического слова», и эпиграф к «Лесу и степи» является доказательством этого. Текст эпиграфа представляет собой цепь образов-символов, складывающихся в единую картину. Для переводчиков основная трудность на лексическом уровне заключается в выборе слов, несущих большую эмоциональную нагрузку, чем тургеневская лексика, в использовании к тексту перевода тропов, отсутствующих в оригинале. В отличие от символического пейзажа Тургенева в переводах создается реалистическая картина, и при этом разрушается атмосфера тургеневского текста. Переводы отражают глубокие изменения в мировидении людей, произошедшие в XIX–XX вв.

Ключевые слова: перевод, русская классическая литература, английский язык, Тургенев, «Записки охотника», эпиграф, мировидение, эмблема, символ.

Информация об авторе: Мария Равильевна Ненарокова, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25а, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5798-9468>

E-mail: maria.nenarokova@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 23.11.2020

Дата одобрения статьи рецензентами: 08.02.2021

Дата публикации статьи: 22.03.2021

Для цитирования: Ненарокова М. Р. Эпиграф к «Лесу и степи» И. С. Тургенева: проблема передачи «эмблематического» сознания в пространстве переводов // Два века русской классики. 2021. Т. 3, № 1. С. 112–133. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-112-133>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 112–133. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 112–133. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2021. Maria R. Nenarokova
A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

The Epigraph to “Forest and Steppe” by Ivan Turgenev: Conveying the “Emblematic” Worldview in the Tradition of Translation

Acknowledgements: I would like to extend my sincere thanks to my British colleague Peter John New, Exeter University, for his friendly attitude, thorough reading of my article and invaluable advice regarding modern English usage.

Abstract: The article focuses on the reception of Russian classical literature translations in the English-speaking culture. The research was carried out on the material of three existing translations of ‘Forest and Steppe’ by both Russian and English translators published in 1895, 1955 and 1967. The main objective of the research is to determine the difficulties translators of Russian literature of the 19th century could face in the case of Turgenev’s epigraph to ‘Forest and Steppe’. The tasks of the study were to define and describe the peculiarities of conveying the epigraph’s vocabulary, to outline the group of the most important keywords of the text, to recognize and describe discrepancies in their translation, to indicate why the chosen option is possible or impossible in the translation of Turgenev’s text. The study showed that Turgenev’s worldview was formed under the influence of the culture of ‘rhetorical word’, and the epigraph to ‘Forest and Steppe’ proves it. The epigraph consists of a chain of symbolic images that add up to a single picture. The writer’s worldview determined the style of the epigraph, the choice of vocabulary, and the composition of the text. For translators, the main difficulty at the lexical level lies in the fact that they often choose words that carry a greater emotional load than Turgenev’s vocabulary, and also introduce tropes, absent in the original, into translations. On the one hand, the translations create a realistic picture, in contrast to Turgenev’s symbolic landscape, on the other hand, the atmosphere of the text, reflecting the personality of the writer, is destroyed. The translations mirror profound changes that took place in the 19th — 20th centuries in the European worldview.

Keywords: translation, Russian classical literature, English language, Turgenev, ‘Sketches from a Hunter’s Album’; epigraph, worldview, emblem, symbol.

Information about the author: Maria R. Nenarokova, DSc in Philology, Leading Research Fellow, A. M. Gorky institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25a, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5798-9468>
E-mail: maria.nenarokova@yandex.ru

Received: November 23, 2020

Approved after reviewing: February 08, 2021

Published: March 22, 2020

For citation: Nenarokova, M. R. “The Epigraph to ‘Forest and Steppe’ by Ivan Turgenev: Conveying the ‘Emblematic’ Worldview in the Tradition of Translation.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 112–133. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-112-133>

Analyzing any translation, we can talk about its adequacy, that is, ‘the reconstruction of the form and content unity of the original through another language’ [Neliubin: 13] and about its equivalence, that is, the same ‘impact’ [Neliubin: 254] on the reader close or not close enough to that of the original. Meanwhile, each translated text poses an additional, particular task for translators. The ‘rhetorical era’, as A.V. Mikhailov formulated, was approaching its end (according to A.V. Mikhailov’s observations, the change of eras took place in the 30s–40s of the 19th century, but, as I could notice, in poetry the worldview of this era lasted longer). Ivan Turgenev, born in 1818, was influenced by the ‘emblematic element’ [Mikhailov: 172], that is, a kind of poetic thinking [Mikhailov: 170], where every separate, compact and defined image appears to have an emblematic property [Mikhailov: 172].

The peculiarity of Turgenev’s book *Sketches from a Hunter’s Album* is that, on one hand, the writer expresses his memories in a beautiful Russian speech of the 19th century, referring the reader to a specific place within Russia, that is, to Turgenev’s estate of Spasskoye-Lutovinovo. On the other hand, the writer’s memories are formed into pictures with the content determined by tradition; these imaginary pictures are perceived as emblematic images. The changes in culture that have taken place over the past hundred years deprive these pictures of their additional meanings.

Indeed, if we look at the epigraph to ‘Forest and Steppe’, we find that it consists of several verbal pictures, for each of which you can pick up an illustration, an example from the area of fine art. It may be a drawing from the album of a young gentlewoman living in the country, a watercolor painted by her, a picture of an artist, a contemporary of the ‘young lady’. Here we are confronted with ‘an image that guides the thought on its beaten path and directs it’ [Mikhailov: 170]. Such images are schematic enough, but they have a lot behind them: a specific, widespread reality, sometimes directly connected with the life of the writer, the author of these images. The problem facing the translators of the epigraph to ‘Forest and Steppe’ is the reproduction of both

schematic and concrete images so that they evoke approximately the same feelings in readers of both the original and the translation.

A word, either a reality or a culturally neutral one, can be associated with visual images, which vary due to cultural differences. The translator, choosing a particular word, places it in a context that evokes culturally charged associations in the reader's memory. In classical Russian literature, the time gap is small since most of the novels translated into English were written in the late 18–19 centuries. However, we must not forget about the changes in both Russian and world culture that have taken place over the past two centuries. The 19th century writer saw the world in many ways from a different perspective than the translators of the 20th century. It is also necessary to consider the peculiarities of geography: in his works, Turgenev described areas that were quite different from those places in England and North America, which were well-known and familiar to the translators of his works from their childhood.

1. The history of the text and its translation

In the mid-1850s, 'the name of Turgenev...was on the lips of all self-respecting reviewers' [Waddington: 12], since the Crimean War had aroused a keen interest in the enemy of the British. British acquaintance with Turgenev began with *Sketches from a Hunter's Album*, which was rendered from a bad French translation, made by Ernest Charrière. Some stories were first published in literary magazines popular with the reading public. Finally, on Christmas Day, 1854, James J. Meiklejohn published a complete translation of the *Sketches*, which aroused great interest among English readers and literary critics, such that even the London Sunday newspaper, *John Bull*, which expressed the views of an anti-Russian public, admitted that there existed 'a true culture at the heart of England's worst enemy' [Waddington: 12]. Meiklejohn's translation was inaccurate, and it distorted Turgenev's text. In particular, the epigraph is omitted from the translation of the story, 'Forest and Steppe' [Turgenev 1963: 382].

Subsequently, not all translators preserved the entire text of 'Forest and Steppe', including the epigraph. A translation of it appeared for the first time in the classic version of 'Forest and Steppe', that of Constance Garnett (1861–1946), who knew Russian and translated the works of many Russian writers. Her translations from Turgenev's *Sketches from a Hunter's Album* were first published in literary magazines, then, in 1895, they came out as a book, which was reprinted several times in the course of the 20th century.

Another translation of the *Sketches* into English was made in 1955 by the Soviet translator Olga Shartse [Institut Perevoda], and the epigraph can be found in her version of 'Forest and Steppe'. The epigraph is also preserved in the translation made by Richard Freeborn, a writer and specialist in Russian literature of the 19th century, who studied the works of Turgenev in particular and made a translation of *Sketches from a Hunter's Album*, which was first published in 1967. The full version was published in 1990 by Dynasty Press.

There are two other translations of the *Sketches*, by Isabel Florence Hapgood published in 1903 and by Bernard Guilbert Guerny in 1969, but they are not available. The latest, by Charles and Natasha Hepburn (1992), is excellent, but unfortunately the story 'Forest and Steppe' lacks its epigraph. The tradition of translations currently available is limited to those by Garnett, Schartse and Freeborn.

In terms of genre, the epigraph to 'Forest and Steppe' seems to be of the same kind as Turgenev's 'Poems in Prose', dating from 1877–1879 and 1881–1882. The collection *Sketches from a Hunter's Album* was written in 1847–1851, and in 1852, the *Sketches* were published as a separate volume. The story 'Forest and Steppe', which interests us, was published at the beginning of 1849, with the epigraph [Turgenev 1963: 610].

Sharing the translator's world-view is, to my mind, essential to creating an adequate and equivalent text in a foreign language: Constance Garnett and Ivan Turgenev perceive the world more or less from the same point of view, that of an 'emblematic worldview' (both had developed into vivid personalities before 1914, when the European world changed completely), Richard Freeborn, in the typology of his world-view, belongs to the 20th century. Analysis of the texts shows that Olga Schartse is closer to Constance Garnett in her world-view.

2. The concept of 'derevnya' in English translations

The epigraph to 'Forest and Steppe' is evidence of the concept of 'estate culture', a striking phenomenon of Russian life, which existed for a rather short time, from the last third of the 18th century until the abolition of serfdom in 1861 [Bogdanova: 14–15]. The text is a chain of symbolic images that add up to a single picture. The first image, at the beginning of the text, is the most general one, and all subsequent images clarify it: '...I ponemnogu nachalo nazad / Ego tyanut': v derevnyu, v temnyj sad...' [Turgenev 1963: 382].

The concepts of 'derevnya' and 'temnyj sad' are what translators most disagree about. When Turgenev wrote *Sketches from a Hunter's Album*, the word 'derevnya' meant not only 'a peasant settlement in which there is no church' [Dahl], but also a nobleman's country estate, defined in the Efremova Dictionary as 'A manor house with a manor (in the Russian state until 1917)'. In English, these concepts are distinct. The noun *estate* is analogous to the Russian 'pomest'e' and 'imenie', that is, the 'an area of land belonging to a landowner', whereas the noun 'derevnya' denotes 'a small peasant settlement without a church, located in a country area.' This noun, used with the definite article, means all the inhabitants of that locality [OED], but has nothing to do with the residences of the English nobility or gentry. The word 'usad'ba', meaning, according to the Ushakov Dictionary, 'a separate dwelling, a house in a village', could equally be applied to the land and buildings where a peasant or landowner family lived. (According to the Ozhegov Dictionary, *krest'yanskaya usad'ba* refers to a peasant dwelling, and *Pomeshchich'ya usad'ba* to a manor house). Thus, Turgenev's 'v derevnyu' is rather difficult to translate. Garnett and Scharfse chose the word combination 'to the country'. The English noun with the definite article, 'the country', has the meaning, 'any area outside towns and cities, with fields, woods, farms' [OED], while emphasizing the contrast between city and village: *rural as distinguished from urban areas* [Merriam Webster]. There are contexts in which the word combination 'to the country' carries the meaning 'to the country estate' and in the English language, the choice can be called successful (i.e., both equivalent and adequate). In the world-view of the English-speaking, especially the British, reader, there are ways of helping imagine Turgenev's 'derevnya'. But Freeborn's choice *back to the village* [Freeborn: 245] seems to be unsuccessful, as in the mind of an English-speaking reader it distorts the image of the Russian landscape that should have been formed.

3. The concept of 'temnyj sad' in English translations

The phrase 'temnyj sad' also offers some choice. In English, the two epithets 'dark' and 'shady', can equally well be used to define a garden. The primary meaning of both is an absence or a low level of light. The adjective 'dark' means 'with very little light or none' (usually because it is night) [OED], and it describes a much darker place than 'shady', since its definition often includes the opposition of night-time and day-time. Another difference between the adjectives *dark* and *shady* lies in emotional connotations. The adjective *dark* can carry the following associations *mysterious; hidden*

and not known about; evil or frightening; unpleasant and without any hope that something good will happen [OED]. For the epigraph Garnett and Schartse both chose *dark* and transposed noun and adjective to make more stress fall on the epithet: *to the garden dark* [Constance Garnett; Schartse: 342]. The word combination *dark garden* is quite common in English [BNC]. But analysis of context often shows that in a dark garden one experiences unpleasant coldness, is nervous, overcome by doubts or unresolved issues [BNC]; in other words, negative connotations come to mind when reading the phrase. If Turgenev's hero felt the need to return home because of some sinister secret or unsolved problem, the epithet *dark* would be entirely appropriate. But here the hero wants to return to a favourite place, his home, so the emotional colouring is altogether opposite. Here the epithet chosen by Freeborn fits perfectly: *shady* normally conveys a sense of being *protected* from the direct light of the sun by trees or buildings (as in the counterpart to an umbrella, a sun-shade). Also in places depicted with the use of *shady*, sunlight is not completely excluded: far from being as dark as night, the situation is more like a shadow contrasted with sunlight. In the contexts provided by the British National Corpus, this epithet is associated with holiday time, relaxation by the sea, lush vegetation, with beautiful and comfortable buildings [BNC], that is, it evokes positive associations in the reader's mind. The question arises, why Garnett and Schartse choose the epithet *dark*, which, when applied to *garden*, has negative emotional suggestions and carries hints of *mystery* and *danger*. It seems that this choice was dictated by cultural associations, at least in the case of Garnett: the collective consciousness of the second half of the 19th century still associated a 'dark garden' with the traditions of romantic literature and Gothic novels: first of all, the reader would have thought not of shade on a summer day, but of what might happen in a large empty garden under cover of darkness.

4. The image 'lipovy allei' and its cultural component

The mention of the 'garden' leads to a development of the image in terms of the plants and trees it includes: 'Gde lipy tak ogromny, tak tenisty' [Turgenev 1963: 382]. It should be noted from the start that for Freeborn everything he meets in the short story and its epigraph is in the past tense like him ('lime trees stood'), while for Turgenev it is a living, present reality, and Garnett and Schartse use the present tense. Turgenev's 'lipy', the linden alleys of the manor park, which he recalled both in letters and in his fiction, can be

translated into English in two ways: Garnett and Chartze use the more common noun, *lime-tree*, while Freeborn chooses *linden*. Literally, they denote the same tree. Explanatory dictionaries of the English language barely distinguish between the two nouns, and usually explain one term by means of the other, though sometimes [e.g., in Merriam. Webster] they indicate that in American English *linden* is the more common. Rhythmically, both *lime-tree* ['laɪm, tri:] and *linden* ['lɪndən] are more or less equivalent; both words are two-syllable units with a strong emphasis on the first syllable, so they fit into the pattern of trochee, a two-syllable foot with emphasis on the first syllable. Both words, judging by the data in etymological dictionaries, are aboriginals, although *linden* appeared in the English language a little earlier than *lime-tree* [etymonline]. We can assume two possible reasons why Freeborn chose *linden*: firstly, judging by the usage in modern English, it is rarely found, although it is by no means an archaism or poeticism; secondly, it is used most in texts about European countries of the German-speaking area, and less often about England; it is therefore quite suitable for designating trees in such a distant land as Russia. The image created by Turgenev is that of 'huge', 'shady' trees; in both epithets he gives a brief insight into their value to a large estate. His contemporaries lived on estates where linden avenues had been planted for centuries, because such avenues provided welcome cover for walking in the sun. Linden was in fact one of the most common deciduous trees in Russian parks of the 18th — 19th centuries. [Leonova: 6, 22, 25, 33, 45; Voronin, Kolosova: 255; Mininzon: 263; Tokareva: 290]. On English estates they were also often planted as avenues. There they were called limes, as in Coleridge's poem, 'This Lime-tree bower my prison', which he actually experiences not as a prison but as a restorative refuge. Being indispensable elements of the manor park, lindens and linden avenues became symbols of Russian manors in Russian literature, both in poetry [Akimova: 180] and in prose [Bogdanova: 21].

Turgenev's epithets indicate the trees' age and condition, but are not aimed at evoking any emotions in the reader, because they are not emotionally charged. Reading Turgenev's epigraph to 'Forest and Steppe', his contemporaries would have recalled the parks they had known since childhood. From her own childhood in a similar environment, Constance Garnett would have felt much the same about limes/lindens as Turgenev, and Schartse practically repeats Garnett here. Both translators use the adjective *huge* — *of great size*, 'very large in size' [Merriam Webster; Collins; OED], which accurately

conveys the meaning of Turgenev's 'ogromny'. The adjective 'tenisty' is rendered as *full of shade* (Constance Garnett). Garnett uses *full of shade, that is, 'being in a light semi-darkness, which creates a certain obstacle to direct sunlight'* [Cambridge Dictionary], *shady* (Schartse, p. 342), that is, '*protected from direct sunlight*' [Cambridge Dictionary]. 'Full of shade' conveys strong affection in this context; *shady* is neutral, but both words render the basic meaning of the adjective 'tenisty' — *dark and full of shadows*. The image of the old park remains rather sketchy. The translation by Richard Freeborn is a completely different case. For a man of the 20th century, a city dweller, linden avenues on noblemen's estates no longer constitute an important part of life and experience, so Turgenev's laconic description becomes too scanty for either the translator or his readers. Therefore, the schematic image, almost the emblem of the park, is replaced by a much richer picture, both visually and emotionally: *Gde lipy tak ogromny, tak tenisty* [Turgenev 1963: 382] becomes in Freeborn (1967, p. 245): 'where lindens stood in majestic dark splendour'. In comparison with Turgenev's 'huge', 'shady' lindens we find here both hyperbolarization ('majestic...splendour'), and the introduction of the emotionally charged epithet 'dark', replacing the artless 'shady'. The original text resembles an ink and pen sketch, and the translation can be likened by the reader to an oil painting.

5. Conveying the image of 'landyshi'

Here translators do not always manage to retain Turgenev's brevity: 'I landyshi tak devstvenno dushisty' [Turgenev 1963: 382]. Usually, English words are shorter than Russian ones, but in the case of lilies of the valley from the epigraph to 'Forest and Steppe', it is the other way around. It is noteworthy, because, as a rule, English words are shorter than their Russian counterparts. The Russian noun 'landyshi' is replaced by the English common name *lilies of the valley*, a word combination. Lilies of the valley are a common park plant in central Russia [Leonova: 44, 48], so Turgenev looks upon them as an essential part of the integrated symbolic picture. Garnett and Schartse convey the phrase 'devstvenno dushisty', that is, having a strong and sweet smell without any unpleasant impurities, a comparison that immediately complicates the imagery of the text: *And lilies of the valley, sweet as maids* [Constance Garnett]; *And lilies of the valley, sweet as maidens* [Schartse: 342]. The adverb 'devstvenno' allowed translators to introduce the word *maid/maiden*, which in some dictionaries is defined as an archaism. A com-

mon idiom with the adjective *sweet* is *as sweet as honey/sugar* [BNC], which realizes the first meaning of the adjective *sweet*, that is *sweet to taste* [Cambridge; Merriam Webster; Collins]. Perhaps Constance Garnett is the creator of the given comparison.

It seems that books on the language of flowers, one of the important cultural phenomena of European and American culture of the 16th — early 20th centuries could serve as a source of Garnett's comparison in question. The books by J. H. Ingram, R. Tyas, H. G. Adams contain poems about lilies of the valley. These flowers are depicted as *the Naiad-like lily of the vale* (Percy Bysshe Shelley) [Adams: 156], *the virgin Lily-of-the-Vale* (T. L. Merritt) [Adams: 255], *the vestal nun* (J. G. Whiffen) [Tyas: 129], the queen of flowers (John Keats) [Ingram: 286]. Although the gender of the noun is not indicated in the explanatory dictionaries of the English language, the flower itself is correlated with young chaste girls in the language of flowers.

Thus, Turgenev's lilies of the valley cease to be one of the symbols of the Russian estate and live their own poetic life, falling out of the general symbolic picture.

Olga Schartse could use Garnett's comparison in her translation. One way or another, the phrase *sweet as maids/maidens* takes the reader into the world of the imagination, and the first thing he notices in lilies of the valley is not their pleasant, slightly cool smell, but their resemblance to the girls of the old days — 'lovely as maidens'. Turgenev's lilies of the valley cease to be one of the Russian estate symbols and live their own poetic life, falling out of the general symbolic picture. On the contrary, Freeborn tried to translate the phrase 'devstvenno dushisty' with literal precision: *And lilies of the valley spread their virgin fragrance* [Freeborn: 245]. In his version of the translation, lilies of the valley spread their *virgin fragrance*. Freeborn has made the best possible choice here, especially if we consider the language of flowers tradition, mentioned above.

6. "Rakity u zapрудy" in the English Translations

Proximity to water is characteristic of the Russian country estate, and in the picture created by Turgenev this is included: 'rakity', one of the names for 'willows' in Russian, trees that love moisture and usually grow in damp places: 'Gde kruglye rakity nad vodoj/ S plotiny naklonilis' cheredoj' [Turgenev 1963: 382]. Their crowns in the summer season have a rounded shape. 'Rakity', mentioned by Turgenev, usually grow by a pond, river or dam, which is

made by building a small earth bank across the river. Turgenev's 'rakity' are translated by all three translators as 'willows'. However, the epithets chosen by the translators help to create completely different images. Constance Garnett came closest to the original: her 'rounded willows' are an exact translation of Turgenev's 'kruglye rakity'. Olga Schartse's 'rakity' became not 'round', but drooping — 'hanging, drooping' [Cambridge; Collins; Macmillan; Longman], that is, 'weeping'. This is a special type of willow — the Babylonian willow, *Salix babylonica*. This tree's crown is not 'round', since long flexible branches hang down to the ground parallel to each other. Babylonian, or weeping, willows, like those with a round crown, are quite common in central Russia, but the introduction of the epithet *drooping* creates a visual image quite different from that intended by Turgenev. In England weeping willow is the norm; most people would not recognize the round-headed ones as willows, as they are comparatively rare there. As for Freeborn, he chose the metaphorical epithet *round-shouldered*, which is not appropriate in this context, since it is applied to a person, who is *a little hunchbacked, whose shoulders are raised, and the neck has moved forward* [Dahl], that is, *stooped*. The movement associated with trees in translated texts differs in intensity: *lean* [Constance Garnett; Schartse: 342] means a relatively slight degree of inclination [Cambridge; Merriam Webster; Collins], whereas *bend* is understood as a strong curve [Cambridge; Merriam Webster; Collins].

The translation of realities also presents a certain difficulty, the word 'dam' being a case in point. To build a pond or several ponds, the so-called 'cascade ponds', one needs to build small dams. There were ponds of such kind on many Russian noblemen's estates. A 'dam' is conveyed in translations in three ways, and the nouns chosen by the translators name structures which have different tasks. Constance Garnett uses the noun *dyke*, which differs from the *dam* structures on *Russian* manors in its considerable size (dykes were wider and higher) and purpose (they prevent the flooding of lowlands). An example of a bank described by the word *dyke* is Dutch *dykes* that protect the land from being flooded by seawater. Olga Shartse chooses a noun *dam*, which means *a barrier erected across the river to create an artificial lake that supplies water to a large area or generates electricity* [Macmillan Dictionary]. In the XXth century the noun in question took on additional culturally charged connotations.

Perhaps the choice of the Soviet translator, who published her version of *A Sportsman's Sketches* in 1955, was influenced by her own experience: the noun 'dam' could bring to mind her associations with hydroelectric power

plants, for example, with the famous Dnieper Hydroelectric Power Station (its construction began in 1927; it was restored after the Great Patriotic War in the 1950s) or from the Bratsk and Krasnoyarsk hydroelectric power stations, the construction of which began in 1954–1955. The first translation by Olga Shartse was published in 1944 [Institut Perevoda]. During the Dnieper Hydroelectric Power Station construction in the late 1920s, Olga Schartse was a teenager growing up in an atmosphere of passion for technical innovations. She could have known the poem by S. Ya. Marshak ‘War with the Dnieper’, published in 1935. There was a picture of the dam on the cover of the 1935 issue of the poem. The most accurate translation of Turgenev’s ‘bank’ is the noun *weir*, chosen by Freeborn: *a low barrier built across the river to raise the water level* [OED]. The synonym for *weir* here can be a little dam in the wording of V. I. Dahl, ‘a simple’, which ‘is made of brushwood and filled up with earth, and sometimes strengthened with piles, or reveted with a hewn stone’ [Dahl]. It is ‘weirs’ like this that we can see in the 19th century landscape paintings of Russian country estates.

7. The Oak and the field: Turgenev’s memories

On the one hand, as basic elements of Turgenev’s symbolic picture, the oak and the field, are typical both in Russia and in Russian poetry (for example, A. F. Merzlyakov’s poem ‘Among the flat valleys ...’ (1810), which became a folk song, or Lermontov’s ‘When the yellowing cornfield is billowing ...’ (1837)), on the other hand, they are directly related to Turgenev’s estate, Spasskoye-Lutovinovo: ‘Gde tuchnyj dub rastet nad tuchnoj nivou’ [Turgenev 1963: 382]. As a child, Turgenev planted a young oak tree ‘in a spacious open clearing behind the old Lutovinovo house’ [Bogdanov: 97] and always remembered it. The sapling became a young tree, and served as a symbol of the motherland for Turgenev. Before his death, Turgenev, who was then in Bougival, in the suburbs of Paris, wrote: ‘When you are in Spasskoye, bow for me to the house, garden, my young oak, bow to my homeland, which I will probably never see’ [Bogdanov: 97–98]. In Turgenev’s text, the epithet ‘tuchnyj’ can be called metaphorical. The dictionary written by Turgenev’s contemporary, V. I. Dahl, defines ‘tuchnyj’ as ‘burly, well-fed, fat, heavy’, concerning living beings or as ‘abundant with humus’ [Dahl], that is, fertile, referring to the soil. Later, this meaning received a logical development in the Russian language: ‘juicy and thick’ (used of grass) [Ushakov Dictionary], ‘having full ripe grain’ (of cereals, fields) [Ozhegov Dictionary]. ‘Well-fed’ or ‘fat’ people

and animals are rather big, so we can assume that there is a shift in meaning: 'tuchnyj' can metaphorically mean simply 'big'. Olga Shartse's translation is the most colourless and far from the original: *Right in the cornfield grows an oak tree* [Schartse: 342]. She omits conveying 'tuchnyj'. Garnett and Freeborn try to solve the problem, translating Turgenev's text with varying degrees of precision. The development of the meaning of Turgenev's 'tuchnyj' was towards 'big', that is, 'physically strong, large, strong; unbreakable; heavily built (about a person)' [Ushakov Dictionary; Ozhegov Dictionary; Efremova Dictionary], rather than the main meaning of the Russian adjective, which is 'fat'. The word combination *the sturdy field* in Garnett's translation conjures up an image of a fertile field, where rye or wheat grows evenly and densely, and strong ears of corn only bend in the wind, but do not break, though in fact a modern English-speaking reader may find the image rather comic. The epithet 'tuchnyj' in the phrase 'tuchnyj dub', a big oak, seems to create a feeling of immobility and solidity, necessary for a symbolic image. Still, the adverb derived from the adjective sturdy, that is *sturdily*, shifts the emphasis to movement: *the oak / Sturdily grows* [Garnett]. However, the adverb *sturdily* means not only 'firmly', that is, 'becoming rooted in the ground', 'resisting any bad weather', but also 'stubbornly, decisively, unbending' [Efremova Dictionary]; the given adverb can be applied in this sense to a person, but not to a tree. The adverb in question is used metaphorically so often that it works very well here to an English ear. A sturdy tree that will not fall down any hurricane, in translation becomes a metaphor for a person who resists the hardships of life. In this case, the emblematic character of the original is destroyed. Unlike Garnett, Freeborn creates a realistic picture: *Where a stout oak grows above the fat-eared wheat* [Freeborn: 245]. The adjective *stout* meaning 'strong, solid' [Cambridge; Merriam Webster; Macmillan], also signifies 'courageous, steadfast' [Cambridge; Merriam Webster; Macmillan] and 'burly' [Cambridge; Merriam Webster; Macmillan], it is found, though rarely, in combination with inanimate nouns. Mostly it is used of people with the meaning 'fat', in the cases where sturdy is the normal word. The epithet *fat-eared* — 'with ears of corn full of ripe grain' — was created by the translator. To an English-speaking reader it may sound either strange, because a wheat ear can only be fat if there is a lot of chemical fertilizer on the land, or comic as only the human ear can be fat (when punched hard by a boxer). Using concretization, Freeborn replaces Turgenev's 'cornfield' with 'wheat' and makes a metonymy. A realistic image is created, full of precise, with vis-

ible details; the point of view is shifting: looking at ripe ears of grain closely, the reader contemplates from below and from afar a tall, sturdy tree. The emblematic character of Turgenev's image is destroyed here too.

8. Conveying smells in translations

Turgenev introduces a situation in his text, when he names a particular smell. He speaks of two annual plants common in Russian gardens and parks, 'nettle' and hemp [Turgenev 1963: 382]. Nettles grow everywhere in Russia, and until the beginning of the 20th century, hemp was used as an inoculum in Central Russia, including the Oryol province, where its cultivation was a lucrative trade for the peasants. Turgenev associated the smell of hemp with his homeland: 'Suddenly I was struck by a strong, familiar smell, which is rare in Germany. I stopped and saw a small patch of hemp near the road. Its steppe smell instantly reminded me of my homeland and aroused a passionate longing for it in my soul. I wanted to breathe Russian air, walk on Russian soil' [Turgenev, *Asya*]. Nettles also have a distinctive, memorable scent. According to the blogger, *telemach*, 'this is one of the oldest smells, the original, archetypal, most familiar one, in short, the smell of childhood. The air smelt like nettles in the city yard, at the dacha, at my grandmother's, as well as in all garbage dumps and rivers' [*telemach*]. Translators are unanimous in conveying the names of these plants: nettles correspond to 'krapiva', and 'konopel' to hemp, which provided the material of the same name, from which very strong ropes of various thickness were made, from twine to cable. Turgenev's verb 'pahnet' allowed the translators to concretize the 'smell': Constance Garnett feels this as smell *rank*, i.e., 'strong, unpleasant, obsessive' [Merriam Webster; Collins; Longman], while Freeborn perceives it as *sweet* [Merriam Webster; Collins; Longman].

9. 'Expansion of the fields': the keyword of culture

The only detailed picture in the epigraph to 'Forest and Steppe' is the description of the fields, which is anticipated by the mention of the 'fat-eared field':

Tuda, tuda, v razdol'nye polya,
Gde barhatom cherneetsya zemlya,
Gde rozh', kuda ni kin'te vy glazami,
Sruitsya tiho myagkimi volnami [Turgenev 1963: 382].

The description of the ‘polya’ is conceived as a ‘picture inside a picture’; nevertheless, it consists of important details: ‘razdol’nye polya’, the earth, which ‘cherneetsya barhatom’, the rye, which ‘struitsya tiho myagkimi volnami.’ The adjective ‘razdol’ny’, akin to the noun ‘razdol’e’, refers to the ‘keywords’ of Russian culture. Explanatory dictionaries of the Russian language define ‘razdol’e’ as ‘spaciousness, wide free space’ [Ozhegov Dictionary; Ushakov Dictionary], but also as ‘will, freedom.’ The National Corpus of the Russian language exemplifies the use of this noun in the first meaning: ‘open space and expanse’, ‘expanse of native land’, ‘expanse, boundless distance, so much meadow and so much forest’, ‘such freedom’, ‘such expanse, about which one could only say, *This is Rus*, [NKRYA]. On the other hand, the concept of ‘razdol’e’ is associated with the sphere of the immaterial: ‘freedom for creativity’ [NKRYA], ‘complete freedom, no pressure’ [NKRYA]. The state of spiritual ‘razdol’e’ borders on the violation of generally accepted norms and rules: ‘Some get order, and some have complete freedom’ [NKRYA], ‘freedom of will’ [NKRYA], ‘There was freedom, but there was no disturbance’ [NKRYA]. It is known that Turgenev himself understood by ‘razdol’e’: ‘I had fun looking at the faces of the students: their hugs, exclamations, the innocent flirtation of youth, glances like fire, laughter for no reason, the best laughter in the world. All this joyous excitement of young fresh life, this impulse of moving forward, no matter where, just forward: all this good-natured freedom touched and agitated me’ [NKRYA: I.S. Turgenev, *Asya* (1858)]. This vital ingredient, the concept ‘freedom’, ‘freedom of will’, ‘joyful excitement’, ‘moving forward’, is not conveyed by any of the translators. They all emphasized either just the huge area of the fields ‘stretching wide’ [Constance Garnett], (and Garnett replaces ‘fields’ with ‘meadows’), or their infinite length (‘stretching to the far horizon, /Great fields’ [Schartse: 342]), or the width of the fields and lush greenery covering them (‘broad fields so lush’ [Freeborn: 245]). The fragment of the epigraph devoted to fields, unlike the rest of the text, contains metaphors. Describing the ‘earth’ which is characteristic of the ‘fields’, Turgenev compares it to black velvet: ‘cherneetsya barhatom’ The Oryol region is characterized by *chernozems*, that is, dark-coloured soils, rich in humus, black and with an oily sheen [‘Gruntovozov’]. The same features are characteristic of black velvet: a combination of a deep black colour, as if fully absorbing light, and a shine, which appears when the silk pile changes direction or is under bright light. Garnett and Freeborn turn the metaphor into simile, with Garnett emphasizing the fertility of the soil (*rich and black*

as velvet [Constance Garnett]), and Freeborn pointing out its texture (*the earth like velvet is so black and plush* [Freeborn: 245]). Olga Shartse creates her own metaphor, focusing on the appearance and quality of the soil: *unguent black soil* [Schartse: 342], where *unguent* means 'oily' and conveys the sheen of the soil. The restrained Turgenev metaphor becomes richer in translation, and more solid and realistic as a result.

One more metaphor in this fragment can be considered a cliché metaphor in Russian, the 'soft waves' of rye. The word combination 'waves of corn' [НКРЯ] is quite natural for the Russian language. When we talk about a field, where ears of corn are bent under the wind, their movement is denoted by the verb 'to billow': 'Under the wind, the grain field is billowing' [НКРЯ], 'the cornfield is billowing' [НКРЯ]. This metaphor could easily be conveyed by the translators, since in English there are similar phrases: 'waves of rye', 'waves of wheat', 'waves of corn'. The difference lies in the addition of epithets to help create the image. In Constance Garnett's translation, we find 'tender, billowing waves' [Constance Garnett]. The adjective *tender* refers to young plants, people, animals and many inanimate objects and substances; not normally to waves, but it is very evocative here in the context of a summer scene [Cambridge], and *billowing* usually means 'moving in the form of high waves' [Cambridge; Collins]. Such an image of a rye field bears an apparent contradiction: the plants are still young and can break in the wind, the field covered with them cannot move in high waves. Rye in Garnett's translation moves *noiselessly* [Constance Garnett], whereas in Freeborn's translation we hear the *rustling of soft waves of rye* [Freeborn: 245], where *soft*, that means 'changing shape under the influence of something' [Cambridge; Merriam Webster; Collins], exactly corresponds to Turgenev's 'soft'. Olga Schartse sees Turgenev's 'soft waves' accurately and realistically at the same time: *gently rippling waves* [Schartse: 342] that is 'waves, softly moving in one direction', where *rippling* is translated as 'small waves on the water' [Cambridge; Merriam Webster; Collins], movement on a small scale that occurs almost on the surface. Whereas Freeborn introduces sound into the translation, Schartse appeals to another of the reader's five senses: in her translation, rye is *fragrant* — 'sweet-smelling.'

10. The concepts 'sky' and 'the sun' in English translations

The last image of the epigraph makes the reader look up from the fertile black soil and rye fields to the sky: 'I padaet tyazhelyj zheltyj luch/ Iz-za proz-

rachnyh, belyh, kruglyh tuch' [Turgenev 1963: 382]. Garnett and Schartse correctly understand 'tyazhelyj zhelyj luch' as a metonymy: they translate 'luch' as 'light'. The epithet 'tyazhelyj' showed the two translators that it is not 'a ray', that in the Russian language is collocated with adjectives 'tonkij' — *thin*, 'slabyj' — *weak*, 'blednyj' — *pale* [NKRYA], but rather a broad trail of light that falls to the ground when a cloud covers the sun in a clear sky. Freeborn removes the metonymy by turning the 'ray' into beams (that is, 'rays'): *Fall heavy beams of sunshine's golden light* [Freeborn: 245], and makes the translation also heavier. Thus, the integrity of Turgenev's image, which goes back to baroque emblems, is destroyed. Differences in the translations appeared when it was necessary to render the complex preposition 'iz-za', denoting movement from somewhere, when the movement begins behind the object, from the rear side that is not visible to the observer [Efremova Dictionary; Ushakov Dictionary; Ozhegov Dictionary]. The object's quality, 'from behind' which the movement occurs, can be different: the object in question can be large or small, dense or transparent. Therefore, the choice of the English analogue for the Russian 'iz-za' should be dictated by the context. In the case of Turgenev's epigraph, the noun belonging with the preposition is 'tuchi', which in modern Russian usually means 'large clouds of dark colour, foreshadowing bad weather'. However, in Turgenev's times, the basic meaning of this word was 'big cloud' [Dahl], so the writer's contemporaries were not surprised by the 'clouds' that were assigned the epithets 'transparent' and 'white'. In English, all kinds of clouds are depicted by one and the same noun, and only epithets help the reader to distinguish them (for example, fleecy clouds are 'cirrus clouds', but a black cloud is probably a 'thundercloud'). In this case, a translator's idea of the density of clouds dictates the English choice of preposition.

Garnett and Freeborn take into account the epithet 'prozrachny' chosen by Turgenev, that is *transparent*, 'letting through all images (like clear window glass)' [Ozhegov Dictionary; Ushakov Dictionary; Efremova Dictionary], which exactly corresponds to the English adjective *transparent* [Cambridge; Merriam Webster; Collins]: *rounded, white, transparent clouds* [Constance Garnett]; *transparent clouds, so round and white* [Freeborn: 245]. That is a vivid example of literal translation. To an English-speaking reader *transparent* in this context sounds strange; in English clouds can't be transparent: they can only be translucent, that is 'letting through only light', whereas no images are seen through them. Shartse uses the right word: *the*

plump, translucent clouds [Shartze: 342], but she adds one epithet more. The epithet in question, *plump*, together with *translucent* makes an oxymoron: 'plump' clouds wouldn't let much light through. Thus, this image turned out to be the most difficult for translation.

The realism of the image was not so crucial to Turgenev. The graphic image that he created in his epigraph goes back to the European emblematic tradition, where the meaning of the picture is more important than its believability. In translation, this image was destroyed. All translators have somehow created a realistic picture of nature.

11. Conclusion

The close reading method can be used not only to point out the mistakes and shortcomings of translators. It can be especially beneficial for translators at the initial stage of preparation for work. It is important to pay attention to all the semantic units of the text at this stage, establish their exact meanings, their emotional and cultural loading, and their style. Ivan Sergeevich Turgenev, who belonged in his world-view to the era of the 'rhetorical' word, created an emblematic picture. This picture is a literal account of what he saw, from his cultural context, which was very different from that of the translators, whose texts are analyzed in the given article. Turgenev's description of Russian nature and landscape can be compared to a drawing with a pen and watercolors. Its text encourages the reader to look inward, turn to his own experience, to his memories, to think.

The translators' texts unfold before the reader realistic pictures, similar to oil paintings, which can be admired, but at the same time, it seems that the reader does not have to work on himself. The reader's gaze slides over the text, and the text is not etched in the reader's memory. The analysis of three translations of Turgenev's epigraph shows that conveying the writer's worldview is a significant problem that translators should pay attention to. The writer's view of the world determines his work's style, his choice of vocabulary, and the composition of his text. It seems that taking into account the writer's world-view helps solve the problem of 'equivalent' translation since we are talking about the text's emotional impact on the reader. To make an 'equivalent' translation, one has to peruse explanatory dictionaries both of the English and the Russian language and turn to the Russian and English Linguistic corpora to ensure that the collocations are right, to expand one's cultural knowledge as well. Then it will be easier for a reader, having a very

different world-view, to feel nearer to the author of the original and try to see the world through the author's eyes.

Despite the small size of the original, the translations of Turgenev's epigraph to 'Forest and Steppe' show how dangerously easy it is to destroy the unique atmosphere of the text, which reflects the personality of the writer, especially when the author and the translator are separated one from another both by cultural changes through time and by geography.

Список литературы

Источники

Богданов Б. Спасское-Лутовиново. Государственный музей-усадьба И. С. Тургенева: Путеводитель. Тула: Приокское книжное изд-во, 1977. 118 с.

«Грунтовозов» (сайт). URL: <https://gruntovozov.ru/chasto-zadavayemye-voprosy/primeneniye-gruntov/kak-vyiglyadit-chnozom/> (дата обращения: 06.11.2020).

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: 4 т. М.: Цитадель, 1998.

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: в 2 т. М.: Русский язык, 2000.

Леонова В. А. Современное состояние, восстановление и уточнение историко-опорных планов на примере трех усадебных парков Галичского района Костромской области. СПб.: Зодчий, 2018. 71 с.

Национальный корпус русского языка. URL: <https://ruscorpora.ru/new/> (дата обращения: 08.11.2020).

Нелюбин Л. Л. Толковый переводческий словарь. М.: Флинта, Наука, 2003. 320 с.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. СПб.: Ленинградское изд-во, 2012. 1357 с.

Ольга Шарце. URL: <http://db.institutperevoda.ru/search/translators/563/> (дата обращения: 01.06.2020).

Ричард Фриборн. URL: <http://www.dynastypress.co.uk/richard-freeborn.html> (дата обращения: 01.06.2020)

Тургенев И. С. Лес и степь // *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. Соч.: в 15 т. М.; Л.: АН СССР, 1963. Т. 4: Записки охотника. 614 с.

Тургенев И. С. Ася. URL: <https://library.ru/text/1097/p.4/index.html> (дата обращения: 05.11.2020).

Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: Альта-Принт: Дом. XXI век, 2008. 510 с.

Adams H. G. Flowers; Their Moral Language and Poetry. London, H. G. Clarke and Co., 1844. 372 p.

British National Corpus (BNC) URL: <https://www.english-corpora.org/bnc/> (дата обращения: 02.06.2020).

Cambridge Dictionary URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english> (дата обращения: 06.11.2020).

Collins Dictionary URL: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/> (дата обращения: 06.11.2020).

Longman Dictionary of Contemporary English Online. URL: <https://www.ldoceonline.com> (дата обращения: 08.11.2020).

Macmillan Dictionary online. URL: <https://www.macmillandictionary.com> (дата обращения: 08.11.2020).

Merriam Webster Dictionary online. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/> (дата обращения: 06.11.2020).

Online Etymology Dictionary. URL: Режим доступа: <https://www.etymonline.com/word/linden> (дата обращения: 03.11.2020).

Oxford English Dictionary. URL: <https://www.lexico.com/> (дата обращения: 06.11.2020).

Telemach. URL: <https://telemach.livejournal.com/87311.html> (дата обращения: 05.11.2020).

Turgenev Ivan. A Hunter's Sketches. tr. Olga Schartse. Moscow: Raduga Publishers, 2000. 349 p.

Turgenev Ivan. A Sportsman's Sketches, V. 2. tr. Constance Garnett. URL: <https://www.gutenberg.org/files/8744/8744-h/8744-h.htm> (дата обращения: 15.05.2020).

Turgenev Ivan. Sketches from a Hunter's Album. tr. R. Freeborn. London: Penguin Books, 1967. 262 p.

Исследования

Акимова М. С. «Дряхлеют парки вековые»: образ парка в русской поэзии XIX — начала XX вв. // *Studia Litterarum*. 2020. Т. 5, № 1. С. 178–193. DOI: 10.22455/2500-4247-2020-5-1-178-193.

Богданова О. А. «Усадебная культура» в русской литературе XIX — начала XX века. Социокультурный аспект // *Новый филологический вестник*. 2010. № 2. С. 14–25.

Воронина О. Н., Колосова Е. В. Растения русской усадьбы // *Экология культуры — экология нравственности*. Русская усадьба: мир, миф и миг действительности: сборник докладов. Нижний Новгород, 2017. С. 253–257.

Мининзон И. Л. Эволюция городской усадьбы Нижнего Новгорода за последние 100 лет: взгляд ботаника // *Экология культуры — экология нравственности*. Русская усадьба: мир, миф и миг действительности: сборник докладов. Нижний Новгород, 2017. С. 263–265.

Михайлов А. В. Избранное. Завершение риторической эпохи. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2007. 480 с.

Токарева Н. А. Тема русской усадьбы в творчестве нижегородского поэта А. В. Звенигородского // *Экология культуры — экология нравственности*. Русская усадьба: мир, миф и миг действительности: сборник докладов. Нижний Новгород, 2017. С. 283–291.

Constance Garnett. Tr. Ivan Turgenev. *A Sportsman's Sketches Works of Ivan Turgenev*. v. II. <https://www.gutenberg.org/files/8744/8744-h/8744-h.htm> (дата обращения: 26.11.2020).

Ingram J. H. *Flora Symbolica, or The Language and Sentiment of Flowers*. London, Frederick Warne & Co., 1882. 368 p.

Ledkovsky M. *A Linguistic Bridge to Orthodoxy*. In *Memoriam Isabel Florence Hapgood*. <http://anglicanhistory.org/women/hapgood/ledkovsky.pdf> (дата обращения: 26.11.2020)

Tyas R. *The Language of Flowers, or Floral Emblems*. London, George Rutledge and Sons, 1869. 224 p.

Waddington P. *Turgenev and England*. London and Basingstoke: Macmillan, 1980. 382 p.

References

Akimova, M. S. “Driakhleiti parki vekovye’: obraz parka v russkoi poezii XIX — nachala XX vv.” [“Age-old Parks are Decreasing’: the Image of a Park in Russian Poetry of the 19th — early 20th centuries.”]. *Studia Litterarum*, vol. 5, no 1, 2020, pp. 178–193. DOI: 10.22455/2500-4247-2020-5-1-178-193 (In Russ.)

Bogdanova, O. A. “Usadebnaia kul’tura’ v russkoi literature XIX — nachala XX veka. Sotsiokul’turnyi aspekt” [“‘Estate Culture’ in Russian Literature of the 19th — early 20th century. Sociocultural aspect”]. *Novyi filologicheskii vestnik*, no. 2, 2010, pp. 14–25. (In Russ.)

Voronina, O. N., and Kolosova, E. V. “Rasteniia russkoi usad’by” [“Plants of the Russian Estate”]. *Ekologiia kul’tury — ekologiia npravstvennosti. Russkaia usad’ba: mir, mif i mig deistvitel’nosti: sbornik dokladov* [The Ecology of Culture is the Ecology of Morality. Russian Estate: World, Myth and Moment of Reality: Collection of Reports]. Nizhny Novgorod, 2017, pp. 253–257. (In Russ.)

Mininzon, I. L. “Evolutsiia gorodskoi usad’by Nizhnego Novgoroda za poslednie 100 let: vzgliad botanika” [“Evolution of a City Estate in Nizhny Novgorod over the Past 100 Years: a Botanist’s View”]. *Ekologiia kul’tury — ekologiia npravstvennosti. Russkaia usad’ba: mir, mif i mig deistvitel’nosti: sbornik dokladov*. [The Ecology of Culture is the Ecology of Morality. Russian Estate: World, Myth and Moment of Reality: Collection of Reports]. Nizhny Novgorod, 2017, pp. 263–265. (In Russ.)

Mikhailov, A. V. *Izbrannoe. Zavershenie ritoricheskoi epokhi* [Selected Works. The End of the Rhetorical Era]. St. Petersburg, Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet Publ., 2007. 480 p. (In Russ.)

Tokareva, N. A. “Tema russkoi usad’by v tvorchestve nizhegorodskogo poeta A. V. Zvenigorodskogo” [“The Theme of the Russian Estate in the Works of the Nizhny Novgorod Poet A. V. Zvenigorodsky”]. *Ekologiia kul’tury — ekologiia npravstvennosti. Russkaia usad’ba: mir, mif i mig deistvitel’nosti: sbornik dokladov* [The Ecology of Culture is the Ecology of Morality. Russian Estate: World, Myth and Moment of Reality: Collection of Reports]. Nizhny Novgorod, 2017, pp. 283–291. (In Russ.)

Constance, Garnett. Tr. Ivan Turgenev. *A Sportsman's Sketches Works of Ivan Turgenev*. v. II. <https://www.gutenberg.org/files/8744/8744-h/8744-h.htm> (Accessed 26 November

2020).

Ingram, John. *Flora Symbolica, or The Language and Sentiment of Flowers*. London, Frederick Warne & Co., 1882. 368 p. (In English)

Ledkovsky, Marina. *A Linguistic Bridge to Orthodoxy. In Memoriam Isabel Florence Hapgood*. <http://anglicanhistory.org/women/hapgood/ledkovsky.pdf> (Accessed 26 November 2020). (In English)

Tyas, Robert. *The Language of Flowers, or Floral Emblems*. London, George Rutledge and Sons, 1869. 224 p. (In English)

Waddington, Patruick. *Turgenev and England*. London and Basingstoke, Macmillan, 1980. 382 p. (In English)

© 2021. В. И. Мельник
Перервинская духовная семинария,
г. Москва, Россия

И. А. Гончаров и философия науки его времени (проблема науки и религии)

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 20-012-00221

Аннотация: В период бурного развития науки и техники в среде главных представителей русской классической литературы лишь А. И. Герцен и И. А. Гончаров испытывали глубокий и предметный интерес к философии науки. Для автора «Обрыва» этот интерес был связан с главным вопросом, вокруг которого концентрируется доминирующая проблематика его творчества: это вопрос о совместимости научного мышления и традиционной веры. В настоящей работе исследуется преимущественно один аспект темы: интерес писателя к естествознанию и, более всего, к астрономии. Дарвинизм с его тезисом о происхождении человека от обезьяны и астрономические открытия, активизировавшие мысли о жизни на других планетах, породили в массовом сознании сомнения в установившейся религиозной картине мира. Гончаров определил свое отношение к указанным изменениям задолго до разразившегося кризиса религиозного сознания 1860-х гг. Будучи консервативным и глубоко верующим человеком, он серьезно относился к научному прогрессу, не противопоставляя его религии и считая его орудием Божьего Промысла о человечестве. Кризис религиозного сознания в русском обществе XIX в. рассматривается как главный предмет художественного исследования Гончарова, скрепляющий «Обыкновенную историю», «Обломова» и «Обрыв» в единую трилогию.

Ключевые слова: И. А. Гончаров, Вл. С. Соловьев, К. Н. Фламмарион, астрономия, философия науки, позитивизм, религия, трилогия.

Информация об авторе: Владимир Иванович Мельник, доктор филологических наук, профессор, Перервинская духовная семинария, ул. Шоссейная, 82 г, 109383 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9684-8943>

E-mail: melnikvi1985@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 15.11.2020

Дата одобрения статьи рецензентами: 17.01.2021

Дата публикации статьи: 22.03.2021

Для цитирования: Мельник В. И. И. А. Гончаров и философия науки его времени (проблема науки и религии) // Два века русской классики. 2021. Т. 3, № 1. С. 134–159. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-134-159>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 134–159. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 134–159. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2021. Vladimir I. Melnik
Pererva Theological Seminary
Moscow, Russia

Ivan Goncharov and the Philosophy of Science of His Time (Issue of Science and Religion)

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR), number 20-012-00221.

Abstract: During the period of rapid development of science and technology among the main representatives of Russian classical literature, only Alexander Herzen and Ivan Goncharov experienced a deep and substantive interest in the philosophy of science. For the author of “The Precipice,” this interest was associated with the main issue around which the dominant problematics of his work is concentrated: this is the question of the compatibility of scientific thinking and traditional faith. This work examines mainly one aspect of the topic: the writer’s interest in natural science and, above all, in astronomy. Darwinism, with its thesis on the origin of man from ape, and astronomical discoveries that activated thoughts about life on other planets, gave rise to doubts in the mass consciousness about the established religious picture of the world. Goncharov defined his attitude to these changes long before the outbreak of the crisis of religious consciousness in the 1860s. As a conservative and deeply religious person, he took scientific progress seriously, not opposing it to religion and considering it an instrument of God’s Providence for humanity. The crisis of religious consciousness in Russian society of the 19th century is regarded as the main subject of Goncharov’s artistic research, which binds “A Common Story,” “Oblomov” and “The Precipice” into a trilogy.

Keywords: Ivan Goncharov, Vladimir Solovyov, Camille Flammarion, astronomy, philosophy of science, positivism, religion, trilogy.

Information about the author: Vladimir I. Melnik, DSc in Philology, Professor, Pererva Theological Seminary, Shosseynaya st., 82 g, 109383 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9684-8943>

E-mail: melnikvi1985@mail.ru

Received: November 15, 2020

Approved after reviewing: January 17, 2021

Published: March 22, 2021

For citation: Melnik, V. I. “Ivan Goncharov and the Philosophy of Science of His Time (Issue of Science and Religion).” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 134–159. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-134-159>

В последние десятилетия изучение творчества Гончарова переживает бурный рост: в нем перестали видеть лишь талантливое бытописателя, критика крепостного права и т. п. С 1980-х гг. проявился интерес к философской стороне его творчества [Мельник 1982]. Однако это наименее разрабатываемая часть творческого наследия писателя. Совершенно не изучался вопрос об отношении романиста к современной науке. Между тем Гончаров внимательно следил за ее достижениями (в частности, астрономии), вырабатывая собственную позицию в вопросе соотносительности двух типов мышления: «младенческой веры» и «взрослого сознания». В этом отношении его, вероятно, можно назвать самым характерным крупным русским писателем той эпохи.

Обращение к проблеме «Гончаров и наука» обусловлено стремлением всесторонне уяснить логику творчества писателя, определить истоки той доминирующей в его творчестве идеи, которая объединяет три самостоятельных романа Гончарова в единую трилогию, или, условно говоря, «одно произведение», а по выражению самого автора, «*не три романа, а один* (курсив Гончарова. — В. М.)» [Гончаров 1952–1955. 8: 72].

Все до сих пор предпринимавшиеся попытки выявить связь между романами Гончарова сводились, в основном, к указанию сходства на уровне набора определенных тем и мотивов, переключек в образной системе и пр., что давало повод назвать «Обыкновенную историю», «Обломова» и «Обрыв» романной трилогией лишь весьма условно. «Напрасно я ждал, что кто-нибудь, кроме меня, прочтет между строками и, полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое...» [Гончаров 1952–1955. 8: 67]. Изучение «Обыкновенной истории», «Обломова» и «Обрыва» как «целого», как «одного романа» ведет к постановке вопроса о «надроманном замысле» писателя и, следовательно, о едином эпохальном идейном конфликте, определяющем этот замысел.

Этот конфликт оказывается непосредственно связан с проблемой, которую Гончаров выделил для себя как идейную доминанту эпохи: это проблема соотносительности религии и науки. В представлении романиста этот конфликт назревал в течение тысячелетий, а в XIX в. окончательно оформился. В 1860–1870-е гг. на гребне волны увлечения русского общества естественными науками мысль стала всеобщей, но и более частной. Например, Н. Н. Страхов в предисловии к книге «Мир как целое» (1872) выразил ее следующим образом: «В наше время естественные науки возбуждают всеобщее внимание и любопытство. В этом состоит важная и совершенно ясная особенность настоящей эпохи. Между тем вовсе не так легко указать причину этого общего расположения к наукам о природе... Для непосвященных природа тысячекратно занимательнее, и ее явления представляются им чудесными, таинственными. Великая черта нашего времени состоит именно в том, что свет ума проникает в эту чудесную таинственность, и потому все с радостью устремились вслед за надежным руководителем» [Страхов 1872: 1]¹. Мысль Гончарова с самого начала и до конца жизни касалась более масштабного — условно говоря, тысячелетнего — конфликта. В «Необыкновенной истории» (1875–1876) он писал: «Человек, жизнь и наука — стали в положение разлада, борьбы друг с другом: работа, т. е. борьба кипит — и что выйдет из этой борьбы — никто не знает! Явление совершается, мы живем в центре этого вихря, в момент жаркой схватки — и конца ни видеть, ни предвидеть не можем!» [Гончаров 2000: 272].

В самом деле, бурное развитие науки и техники уже к 1830–1840 гг. привело человечество к осознанию своего могущества, превосходства над природными силами. Во «Фрегате “Паллада”» романист писал: «Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства. И теперь воды мор-

¹ Гончаров высказывал эту же мысль в 1850-е гг. во «Фрегате “Паллада”»: «Всё было загадочно и фантастически прекрасно в волшебной дали: счастливицы ходили и возвращались с заманчивою, но глухою повестью о чудесах, с детским толкованием тайн мира. Но вот явился человек, мудрец и поэт, и озарил таинственные углы. Он пошел туда с компасом, заступом, циркулем и кистью, с сердцем, полным веры к Творцу и любви к Его мирозданию. Он внес жизнь, разум и опыт в каменные пустыни, в глушь лесов и силою светлого разума указал путь тысячам за собою» [Гончаров 1997–2017. 2: 10].

ской нет, ее делают пресною, за пять тысяч верст от берега является блюдо свежей зелени и дичи; под экватором можно поесть русской капусты и щей. Части света быстро сближаются между собою: из Европы в Америку — рукой подать; поговаривают, что будут ездить туда в сорок восемь часов, — пуф, шутка конечно, но современный пуф, намекающий на будущие гигантские успехи мореплавания» [Гончаров 1997–2017. 2: 13].

Бог как источник всякого благоденствия в сознании человека XIX в. начал терять первостепенное значение, все более заметно стал проявляться упадок веры. Родилась формула «Бог умер». По словам одного из крупнейших богословов XX в. П. Тиллиха, «Фейербах отделался от Бога, объяснив Его как бесконечную жажду человеческого сердца; Маркс отделался от Него как от идеологической попытки возвыситься над наличной реальностью; Ницше отделался от Него как от того, что ослабляет волю к жизни. В результате появился лозунг “Бог умер”, но вместе с Ним умерла и вся система ценностей и смыслов, внутри которой жил человек» [Тиллих: 101]. В письме к философу Вл. С. Соловьеву романист признавал: «Чувства младенческой веры не воротитишь взрослому обществу: основания некоторых библейских сказаний с мифологическими сказаниями греческой и других мифологий — (не говоря уже о новейшей науке) подорвали веру в чудеса — и развившееся человеческое общество откинуло все так называемое метафизическое, мистическое, сверхъестественное» [Гончаров 1994: 348–349]. Все более явственно стало проявляться всеобщее равнодушие к вере: «Вот враг, с которым приходится бороться: равнодушие! А бороться нельзя и нечем! Против него нет ни морального, ни материального оружия! Он не спорит, не противится, не возражает, молчит и только спускается все ниже и ниже нуля, как ртуть в термометре. От этого равнодушия, на наших глазах, пало тысячелетнее папство!» [Гончаров 2000: 272].

Хотя официальная полемика сторонников науки и традиционных религиозных взглядов возникла в 1860-е гг., Гончаров уже в 1830–1840-е гг. почувствовал этот узловый конфликт эпохи. Разлом истории, которую Гончаров измеряет тысячелетней мерой, автор «Обыкновенной истории» остро почувствовал в то время, когда в русском обществе еще не было и мысли о масштабности назревающего конфликта между научным знанием и религиозными представлениями. Масштаб исторического разлома был не только чутко, но и системно осознан пи-

сателем потому, что он в своих размышлениях исходил из коренной философской проблемы: человек в его отношениях к Богу. Некоторые современники Гончарова в России не менее остро чувствовали переломный момент эпохи, однако, обращаясь к частным проблемам, не могли сформулировать мысль о кризисе столь же ясно, как это сделал Гончаров своей романной трилогией, генетически восходящей к «Божественной комедии» Данте. Например, А. И. Герцен в цикле статей «Дилетантизм в науке» (1842 – 1843) писал в духе, столь близком «Обыкновенной истории» Гончарова: «Мы живем на рубеже двух миров — оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящих людей. Старые убеждения, все прошедшее мирозозерцание потрясены — но они дороги сердцу. Новые убеждения, многообъемлющие и великие, не успели еще принести плода; первые листья, почки пророчат могучие цветы, но этих цветов нет, и они чужды сердцу» [Герцен 3: 7]. Эти слова словно перекликаются с размышлениями Александра Адуева: «Ах! если б я мог еще верить в это!.. Младенческие верования утрачены, а что я узнал нового, верного?.. ничего: я нашел сомнения, толки, теории... и от истины еще дальше прежнего... К чему этот раскол, это умничанье?.. Боже!.. когда теплота веры не греет сердца, разве можно быть счастливым? Счастливее ли я?» [Гончаров 1997–2017. 1: 443–444].

В этих условиях науку нельзя было просто игнорировать, хотя такие попытки предпринимались в обществе. Гончаров однозначно выступал за развитие научных знаний. В предисловии к роману «Обрыв» он замечал: «Нельзя жертвовать серьезными практическими науками малодушным опасениям незначительной части вреда, какая может произойти от свободы и широты ученой деятельности. Пусть между молодыми учеными нашлись бы такие, которых изучение естественных или точных наук привело бы к выводам крайнего материализма, отрицания и т. п. Убеждения их останутся их личным делом, а учеными усилиями их обогатится наука, как некогда исследованиями алхимиков и астрологов, добывавшихся открытия философского камня и тайн читать будущее по звездам, обогатились химия и астрология» [Гончаров 1952–1955. 8: 156].

Многие представители церкви поддерживали изучение естественных наук. В русском обществе проблема начала широко обсуждаться, когда журналы, наряду с работами по естествознанию и, особенно, по астрономии и космологии, начали печатать возражения на попытки

антихристианских мыслителей разрушить сложившиеся религиозные догмы и традиции — при апелляции к достижениям современной науки. «Журнал Министерства народного просвещения» опубликовал любопытный отчет ординарного профессора богословия Московского университета — протоиерея Николая Сергиевского, который писал в отчете: «... с развитием научного сознания... не должно оставлять сознания религиозного без соответственного развития. И это — особенно в наше время, при чрезвычайно быстром развитии науки, при накоплении массы новых открытий, при перестройке почти во всех отраслях знания, при возникновении даже новых наук, неведомых прежнему времени... *Богословская апологетика* (курсив автора. — В. М.) — это новая наука, возникшая в Германии, именно в виду современных общественных потребностей... Исследуя основания религии вообще и веры христианской в особенности, в виду вопросов... сомнений или отрицаний современной науки, апологетика спокойно устанавливает для данного времени правильные отношения научного сознания к религиозному, человеческого разума к религиозным истинам» [Отчет].

Как уже было сказано, влияние бурного развития естественных наук на традиционные религиозные и нравственные ценности Гончаров заметил еще в пору своей молодости, в 1830-е гг. Перед молодым писателем открывалась широчайшая перспектива художественного исследования сознания и духа современного человека XIX в. Придерживаясь сходной с Данте богословской концепции (ад, чистилище, рай, но, в отличие от Данте, не в буквальном, или мистериальном, а в духовно-психологическом смысле, как отражение ада, чистилища и рая в душе современного человека), избегая мистической буквальности средневековой догматики, романист расположил главные векторы своей художественной мысли в узнаваемом и ничем не выдающемся поле обыденной русской жизни, вложив в романы собственный духовный опыт преодоления «ада»¹. В этом смысле перед ним как художником

¹ В письме к И. И. Льховскому от двадцатых чисел июля 1853 г. он признавался: «...Если б Вы знали, сквозь какую грязь, сквозь какой разврат, мелочь, грубость понятий, ума, сердечных движений души проходил я от пелен и чего стоило бедной моей натуре пройти сквозь фалангу всякой нравственной и материальной грязи и заблуждений... Я должен был с неимоверными трудами создавать себе сам собственными руками то, что в других сажает природа или окружающие: у меня не было даже

стоял вопрос: как современному человеку совместить научное и религиозное мировоззрения, духовно возмужать, не разрушая основ «младенческой веры»?

Запоздалое обсуждение этого вопроса в журналистике 1860-х гг. показывало отсутствие ясных ответов. Понятно было одно: в новых условиях наука и религия должны были дополнять друг друга, поскольку наука не могла ответить на все вопросы, а религия должна была по-новому толковать известные понятия и некоторые библейские сюжеты. Характерно сказал об этом священник А. Владимирский: «Игнорировать их (новые мнения. — В. М.)... профессору богословия невозможно... чтобы успешнее действовать в самом рассуждении откровенных догматов... недостаточно быть знакомым с науками собственно только богословскими, но надобно бывает... знакомиться и следить за современным направлением мысли и в науках светских, особенно естественных...» [Приложения]. Указанное требование — следить за развитием естественных наук — Гончаров считал актуальным не только для богословов, но и для всех мыслящих людей. Даже Илья Обломов берется за чтение «Истории открытий и изобретений»¹. Сам же романист особенный интерес проявлял к астрономии. И это не случайно. Именно астрономия и идеи Дарвина оказались в центре внимания философии, богословия и естествознания XIX в. Показательно предисловие Н. Н. Страхова к книге «Мир как целое» (1872), в которой он решил вскрыть идейную сущность споров о науке и религии. Критик пишет: «Вся моя цель как будто состояла только в том, чтобы во что бы то ни стало разбудить читателя, возбудить в нем философскую деятельность мысли. Для этого, как будто преднамеренно, мною взята такая постановка философских вопросов, в которой они получают наибольшую определенность и наглядность. Когда мы рассуждаем о природе вообще, о мироздании, взятом в его целостности, то для этого вопроса нельзя выбрать формы яснее и резче, как вопрос *о жителях планет*², вопрос, известный во всемирной литературе под именем вопроса о *множестве*

естественных материалов, из которых я мог бы построить что-нибудь...» [Гончаров 1952–1955. 8: 258].

¹ Bechmann J. A History of Inventions, Discoveries and Origins. London, 1846. Vol. 1–2 [Гончаров 1997–2017. 6: 560].

² Термин взят из работ французского астронома К. Фламмарiona.

*миров*¹... Так как дело состоит как бы в том, чтобы принудить читателя мыслить философски, то замечу, что взятые мною формы имеют величайшую принудительную силу. Можно воздерживаться от многих философских вопросов, ... но воздержаться от вопросов о жителях планет и об атомах — всего труднее, и если кто воздерживается, тот для последовательности должен уже ничего не говорить ни о мироздании, ни о веществе» [Страхов 1872: IV–V].

Как известно, в России еще при Петре I проявилось обращение к астрономическим наблюдениям. Первой обсерваторией в стране была частная обсерватория А. А. Любимова в Холмогорах Архангельской области, открытая в 1692 г. В 1701 г. по указу Петра I создана обсерватория при «Навигацкой школе»² в Москве. В 1831 г. была основана обсерватория Московского университета, в 1839 г. — Пулковская обсерватория под Петербургом и т. д. В XIX в. Россия вслед за Европой переживает новую волну увлечения астрономией. Уже в начале XIX в. лекции по механике, оптике и астрономии читает в Харьковском университете имевший семинарское образование профессор Т. Ф. Осиповский (1766–1832). В 1860-е гг. в Московском университете лекции по астрономии читал профессор Ф. А. Бредихин (1831–1904), в Петербурге — В. Я. Струве (1793–1864), в Казанском университете — Н. М. Лобачевский (1792–1856). Правда, первый специальный журнал начал издаваться лишь в 1892 г. («Известия Русского астрономического общества»). Многие грамотные люди увлеклись наблюдениями за звездным небом и даже выдвигали гипотезы или пытались внести поправки в господствующие теории (как, например, липецкий житель Е. В. Быханов, опубликовавший две книги по астрономии [Быханов 1877; Быханов 1894], обсуждавшихся впоследствии в астрономической науке). В 1888 г. возник Нижегородский кружок любителей астрономии, а уже в 1890 г. — Русское астрономическое общество.

¹ Название книги Б. Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» (эту книгу Н. Н. Страхов упоминает и подробно останавливается на критике этой книги Вольтером в «Микромегасе»), а также книги К. Фламариона «Множественность обитаемых миров».

² Школа математических и навигацких наук (школа Пушкарского приказа) — первое в России артиллерийское, инженерное и морское училище, историческая предтеча и предшественник всей современной системы инженерно-технического образования России.

О популярности астрономии говорит тот факт, что многие журналы давали краткий обзор выходящих в России переводов западноевропейских естественнонаучных и, очень часто, астрономических трудов. В «Журнале Министерства народного просвещения» постоянно и в большом количестве публиковались обзоры естественнонаучных открытий и новостей, прежде всего, из Европы и США. Большое место в этих обзорах занимала астрономия. Журнал, в частности, опубликовал работу французского астронома Араго «Биографии главных астрономов» в переводе ректора Московского университета Д. Перевощикова. А в апрельском, например, номере журнала за 1856 г. были рассмотрены следующие астрономические вопросы: «Новая таблица астрономического преломления», «Новая теория сверкания звезд», «Новый каталог звезд». Открытия в астрономии совершались одно за другим, так что почти в каждом новом номере журнала размещались научные обзоры и рецензии.

Интересно, что Церковь немедленно начала искать пути сближения с наукой, дабы оградить паству от разделения и противопоставления научного и религиозного мышления, что неминуемо привело бы к распространению атеизма. Вот почему популярные книги по астрономии издавались даже для народа. При этом разрушались традиционные народные представления о космологии и «упреждающе» совмещались с новыми, собственно научными представлениями. Характерный пример в этом отношении представляет книга А. Иванова (настоящее имя: Стронин Александр Иванович [Масанов 1: 426]) «Рассказы о земле и небе» [Иванов]. Рецензент «Журнала Министерства народного просвещения» писал по поводу этой книги: «...рассматриваемая книжка составлена хорошо и может быть полезна для библиотек начальных народных училищ: при других своих достоинствах, она удовлетворяет и нравственно-религиозным требованиям. Так, на стр. 19 автор, говоря о величине солнца и земли, присовокупляет: “И не нужно тут никаких столбов, ни рыбы-кита, ни слона, ни черепахи (чтобы держать землю). Умудрился Господь и без них, одной невидимой силой своей, все поставить и все содержать. Слава Тебе, Господи, яко сподобил мя познать дела Твои”...» [Иванов].

В произведениях современников Гончарова неоднократно упоминается астрономия. Утопическую повесть «4338-й год» (1835) В. Ф. Одоевский начал именно с такого упоминания: «Вычисления астрономов,

доказывающих, что в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, комета Вьеллы должна непременно встретиться с Землей, сильно поразили нашего сомнамбула». Упоминания об астрономии встречаются у Д. В. Григоровича («Скучные люди», 1845), Ф. М. Достоевского («Село Степанчиково и его обитатели», 1859; «Подросток», 1875), А. Н. Островского («Бешеные деньги», 1870; «Красавец мужчина», 1882), М. Е. Салтыкова-Щедрина («Дневник провинциала в Петербурге», 1872) и пр.

Но, за исключением В. Ф. Одоевского, авторы лишь отмечали как факт усилившийся интерес к астрономии. Гончаров же относился к науке более серьезно, и притом с самого детства. Любовь к астрономии прививал ему его крестный отец Н. Н. Трегубов. «Особенно, — вспоминал романист, — ясны и неоцененны были для меня его беседы о математической и физической географии, астрономии, вообще космогонии, потом навигации. Он познакомил меня с картой звездного неба, наглядно объяснял движение планет, вращение земли, все то, что не умели или не хотели сделать мои школьные наставники. Я увидел ясно, что они были дети перед ним в этих технических, преподаваемых мне им уроках. У него были некоторые морские инструменты, телескоп, секстант, хронометр. Между книгами у него оказались путешествия всех кругосветных плавателей, с Кука до последних времен. Я жадно поглощал его рассказы и зачитывался путешествиями» [Гончаров 1952–1955. 7: 238]. Впоследствии интерес к астрономии мог быть поддержан в Гончарове во время плавания на фрегате «Паллада» адмиралом Е. В. Путятиным, который смолоду увлекался астрономическими наблюдениями вместе с будущим декабристом Д. Завалишиным. Перед отправлением в кругосветное путешествие романист прочел уже два или три тома книги А. Гумбольдта «Космос» (третий том посвящен собственно вопросам космогонии).

Гончаров внимательно следил за литературой по астрономии, о чем говорит состав его библиотеки. Уцелевшая лишь в незначительной части личная библиотека Гончарова, хранящаяся на родине писателя, в Ульяновском дворце книги, содержит издания (и описания утраченных книг) достаточно крупных европейских ученых и популяризаторов науки XIX в., среди которых были и астрономы. Так, на книжных полках романиста стояла книга французского физика и астронома, директора Парижской обсерватории, сотрудничавшего с А. Гумбольдтом, Ф. Араго «Гром и молния» [Араго]. Особенный интерес писатель проявлял к

книгам французского астронома К. Фламариона, посвященным чисто научной проблематике, но в то же время написанным в романтически мечтательном духе [Flammariion 1869; Flammarion 1872; Flammarion 1873] и др. Интересно, что в библиотеке Гончарова были не только научно-популярные, но и собственно научные книги по астрономии, в частности, работа итальянского астронома Секки Анджело (1818–1878) о поверхности Солнца [Secchi]. Авторы описания библиотеки Гончарова отмечают: «Присутствие книги Секки в библиотеке И. А. Гончарова несколько неожиданно: книгу Секки никак не назовешь популярной ни по языку, ни по содержанию. Видимо, любознательность и интерес Гончарова к последним достижениям в астрономии побороли боязнь “строгих научных форм”» [Описание библиотеки: 117]. К сожалению, многие книги оказались утраченными и нельзя сделать выводов о том, содержали ли эти книги пометки, сделанные рукой Гончарова.

Астрономические микросюжеты встречаются и в произведениях Гончарова. Так, во «Фрегате “Паллада”» автор пишет, что кодекс дружбы «устарел гораздо больше Птолемеевой географии и астрономии или Аристотелевой риторики» [Гончаров 1997–2017. 5: 37]. Космическая тема звучит в романе «Обрыв». Райский говорит Марфиньке: «Ты знаешь, что прежде в центре мира полагали землю, и все обращалось вокруг нее, потом Галилей, Коперник — нашли, что все обращается вокруг солнца, а теперь открыли, что и солнце обращается вокруг другого солнца. Проходили века — и явления физического мира поддавались всякой из этих теорий» [Гончаров 1997–2017. 7: 229].

Но еще более характерно тема космоса прозвучала в одном из последних произведений писателя «Май месяц в Петербурге» (1891): «Тот лет десять все составляет какой-то лексикон восточных языков, да кроме того занимается астрономией, перечел все авторитеты от Ньютона, Гершелей, до какого-нибудь Фламариона, и все хочет добиться, есть ли жители на Венере, Марсе и других планетах, какие они, что делают и прочее?» [Гончаров 1952–1955. 8: 426]. Одного из «астрономического семейства» Гершелей писатель уже упоминал во «Фрегате “Паллада”» [Гуськов]. Теперь же речь идет о семье астрономов Гершелей. Во-первых, это Уильям Гершель (1738–1822) — выдающийся английский астроном немецкого происхождения. Прославился открытием планеты Уран, а также двух ее спутников — Титании и Оберона. Во-вторых, это его сестра Каролина Гершель (1750–1848), сделавшая заметные астро-

номические открытия. В-третьих, это Джон Гершель (1792–1871) — английский астроном и физик, сын Уильяма Гершеля.

Что касается вопросов о жизни на других планетах, то они появились у Гончарова, скорее всего, под влиянием К. Фламариона, который развивал идеи жизни на других планетах и издал целый ряд замечательных научно-популярных книг: «Множественность обитаемых миров», «Миры воображаемые и миры реальные» (1865), «Небесные чудеса» (1865), первый популярный учебник по астрономии, «История неба» (занимательная история астрономии (1867)). Была издана целая серия его научно-популярных лекций «Этюды по астрономии» (к 1880 году вышло девять томов). Фламарион много сил посвятил исследованию Марса и позже, уже после кончины Гончарова, написал книгу «Планета Марс и условия обитания на ней» (1909). Во времена Фламариона мысль о множественности миров, населенных разумными существами, расходилась все шире и высказывалась многими. Н. Н. Страхов иронически приводит интересный пример: «Какой-то ученый, и едва ли не немецкий, предлагал какому-то правительству, и едва ли не русскому, где-нибудь на больших пространствах изобразить яркими огнями какой-нибудь геометрический чертеж, например чертеж Пифагоровой теоремы. Жители луны, которые, вероятно, не менее Пифагора радовались открытию этой теоремы и, может быть, также принесли за это в жертву богам сто лунных быков, без сомнения, узнали бы чертеж и любезно отвечали бы нам другим чертежом» [Страхов 1872: 197–198].

Очевидно, Гончаров склонялся к мнению, что мыслящие существа на других планетах, если они существуют, могут быть и не похожи на людей, его герой задается вопросом: «Какие они, что делают»? Большинство (в их числе знаменитый математик и астроном Гюйгенс), как известно, придерживалось мысли о том, что эти существа должны быть похожими на людей¹. Немногие, в том числе и Фламарион, были

¹ Гюйгенс — автор книги «Зритель мира, или о небесных странах и их убранстве» (1698). Н. Н. Страхов не признавал мысли Шеллинга [Schelling: 495; Страхов 1872: 204–205], Фонтенеля и Фламариона о разнообразии миров и писал: «Из всех фактов астрономии нет ни одного, который бы отзывался чем-нибудь совершенно чуждым; нет ни одного, который бы доказывал разнообразие мира. Великие успехи астрономии, напротив, состоят именно в постепенном распространении однообразия на все мироздание... Планеты — та же земля; звезды — то же солн-

иногое мнения. Французский ученый писал: «Судить о всем беспредельном мироздании по одной только Земле — это все равно, что судить о ... “Божественной комедии” Данте по какой-нибудь группе одного из кругов “Ада”» (цит. по: [Лосев: 114]).

Гончаров не случайно упоминает в «Мае месяце в Петербурге» имя Фламариона, поскольку тот не только интересовался наукой, но и разрабатывал ее философию, во многом сходную с гончаровской. Писатель мог бы обнаружить свои собственные мысли о религиозном кризисе человечества в трудах К. Фламариона. Характерно, что и Гончаров, и Фламарион выражают мысли об этом кризисе почти одними и теми же словами. Вопрос о том, что жизнь возможна не только на Земле, должен был, в числе других подобных, породить кризис религиозного сознания. Однако ученые, не потерявшие веры, искали такой ответ на этот вопрос, который не разрушал бы традиционного религиозного мышления, а примирял его с наукой, о чем много думал и сам автор «Обрыва». В предисловии к роману он писал: «Уяснение религии, даже самое отрицание ее началось вместе с религией и идет параллельно. Только пылкой юности позволительно мечтать, что эти два параллельные потока уже сошлись у ней под ногами. В спорах об этом выясняются истины, выигрывает наука, мысли, философия, а религия не теряет своей власти над большинством. Источник знания неистощим: какие успехи ни приобретаешь человечество на этом пути, впереди все будет бездна неведения — все людям будет оставаться искать, открывать и познавать... Мыслители говорят, что ни заповеди, ни евангелие ничего нового не сказали и не говорят, тогда как наука прибавляет ежечасно новые истины. Но в нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует евангелие, а это едва ли не труднее достижения знания. Если путь последнего неистощим и бесконечен, то и высота человеческого совершенства по евангелию так же недостижима, хотя и не невозможна! Следовательно — и тот и другой пути параллельны и бесконечны!

це; и до бесконечности небес все то же и то же, все солнца, да планеты, да пространство, не имеющее конца...» [Страхов 1872: 203]. Мысль об однообразии мира привела Страхова к заключению, что вокруг звезд существуют планеты, на которых могут находиться существа, подобные человеку [Страхов 1872: 249–250].

И то и другое одинаково трудно одолимы» [Гончаров 1952–1955. 8: 156–157].

Во введении к книге «Многочисленность обитаемых миров» (1862) Фламарион, как и Гончаров, размышлял о современном кризисе, причем в стилистике «Необыкновенной истории» и гончаровских писем: «Если мы внимательно взглянем в духовную жизнь современного человечества, то мы увидим, что человек утратил свою прежнюю веру, а с ней и безмятежный душевный покой, которым он когда-то наслаждался; что мы живем среди борьбы противоречивых мыслей и что обеспокоенное человечество ищет философию, которая создала бы прочную религиозную основу для развития и осуществления его надежд... человек, обессиленный сомнениями, теряет сознание и падает в объятия скептицизма. Завершено дело разрушения!.. Прошлое умерло; новая философия еще не родилась, она еще скрывается в хаосе творчества. Дух современного человечества живет в противоречии с самим собой, он распадается сам в себе. Природоведение, этот могучий властелин нашего времени, руководящий прогрессом, никогда еще не был так чужд всякой философии, как именно теперь. Во главе естественных наук стоят люди, которые совершенно произвольно отрицают бытие Божие...» [Фламарион: 3–4].

В контексте размышлений о мировоззрении Гончарова астрономия является лишь частным случаем, демонстрирующим интерес писателя не только к процессу развития современной науки, но и к выработке собственной философии науки и ее взаимосвязи с традиционным религиозным сознанием. Недаром в его библиотеке находились труды тех западных ученых, которые активно участвовали в дискуссиях о судьбах религии и науки в современном мире. Это книги английского физика Д. Тиндаля [Тиндаль], французского химика, автора работ по истории науки, Р. Л. Фигье [Фигье]. Гончаров, конечно, был знаком с важной в контексте его размышлений книгой американского ученого Д. Дрейпера «Конфликт науки и религии» [Дрейпер], которая также была в его библиотеке. Возможно, читал он и его книгу «История умственного развития Европы» («History of the intellectual development of Europe», 1862, русский перевод 1866 г.), которая пользовалась популярностью в России в середине 1860-х гг.

Д. Дрейпер был приверженцем эволюционных идей Ч. Дарвина и Г. Спенсера. Труды Ч. Дарвина «Происхождение видов» и «Происхож-

дение человека» произвели подлинную революцию не только в науке, но и в массовом сознании. Известно, что весь тираж книги «Происхождение видов» (1859) был скуплен уже в первый день. Книги английского ученого иначе, чем христианское учение, трактовали возникновение мира и человека. Об этом писал в свое время Л. Н. Толстой: «По решению вопроса Моисеем (в полемике с которым и состоит всё значение этой теории), выходит, что разнообразие видов живых существ произошло по воле Бога и бесконечному могуществу Его; по теории же эволюции выходит, что разнообразие живых существ произошло по случайности и по разнообразным условиям наследственности и среды в бесконечно долгое время. Теория эволюции, говоря простым языком, утверждает только то, что по случайности в бесконечно долгое время из чего хотите может выйти всё, что хотите. Ответа на вопрос нет. А только тот же вопрос поставлен иначе: вместо воли поставлена случайность, а коэффициент бесконечного переставлен от могущества к времени» [Толстой 25: 338–339]¹.

Общественная опасность состояла не столько в гипотетических предположениях Дарвина, сколько в вульгаризации его идей интерпретаторами, исходившими порою из спекулятивных политических мотивов. Современный исследователь отмечает, что появились «попытки вульгарной экстраполяции законов, открытых Дарвином в природе, на жизнь социума, отразившиеся, прежде всего, в работах Г. Спенсера и Э. Геккеля... естественнонаучное знание воспринималось как идейный базис не только для философских, но и для политических выводов. Популяризация достижений естествознания стала знаменем борьбы с религией и ассоциируемым с ней общественным строем» [Кругликова: 102–103]. Широкое распространение научных идей в радикальной философско-политической интерпретации с неизбежностью приводило и к вульгаризации науки. Н. Н. Страхов писал по этому поводу: «Давно ли мы очень усердно занимались дарвинизмом? Сколько сочинений Дарвина переведено у нас! Иногда появлялись разом два перевода той же книги; иные переводы выдержали два и три издания. Значит, читали не одни ученые, а все жаждущие просвещения и боящиеся не отстать от века. Но к чему же все это привело? Можно ли сказать, что читатели

¹ См. также такие произведения Л. Н. Толстого, как «Царство Божие внутри вас», «Что такое искусство?», «На каждый день», «Воскресение», статьи «О Шекспире и о драме» и др. В них содержится критика Дарвина.

глубоко заинтересовались вопросом о происхождении видов, что они понимают постановку этого вопроса, его важность и трудность? О, насколько. Бедная публика! Она вечно гонится за одними результатами, за выводами, за решениями, и потому, сколько ни читает, ничуть не становится способнее судить об этих решениях, сколько ни поглощает книг, обретает только предубеждения, а не действительные познания. Пусть не упрекают нас за резкость; в настоящую минуту то, что мы говорим, есть совершенная очевидность. Ото всех книг, статей и толков о Дарвине, в умах читателей, без всякого сомнения, осталось только то, что по Дарвину человек происходит от обезьяны. Сведение это ужасно занимательно для читателей, но вовсе не потому, что они очень любят обезьян, или что глубоко заинтересованы удивительным процессом обращения неразумной обезьяны в человека, а только потому, что они не любят другого учения, вовсе непохожего на дарвиновское. Поэтому им доставляет большое удовольствие провозглашать: «Дарвин доказал то-то и то-то», а как он там доказал, это уже его дело, и вникать в это нет никакого интереса» [Страхов 1886].

Теория Дарвина содержала в себе еще больший антирелигиозный потенциал, чем вдохновенные, но бездоказательные фантазии К. Фламма-риона и других астрономов о жизни на других планетах. Гончаров не мог не принять во внимание открытия Дарвина. Хотя и с осторожностью, но он высказал свое отношение к ним, о чем будет сказано ниже. В 1860-е гг. началась общеевропейская дискуссия, которая до сих пор порождает обсуждения в западноевропейской науке и за которой, несомненно, следил автор «Обрыва», выступивший в романе против позитивистских идей. В центре этой дискуссии находился вопрос о научном открытии Ч. Дарвина, а конфликтующими сторонами были, с одной стороны, Церковь, а с другой — позитивная наука («научный натурализм»). Как писал К. А. Тимирязев, «возникла борьба, какой не запомнят в летописях научной мысли» [Тимирязев: 10]. Современный канадский ученый Бернард Лайтман в статье «“Тезис о конфликте” и научный натурализм» пишет: «Наряду со своими друзьями, физиком Джоном Тиндалем (Tyndall) и философом-эволюционистом Гербертом Спенсером (Spenser), Гексли¹

¹ Томас Генри Гексли (Хаксли) (1825–1895) — английский зоолог, популяризатор науки и защитник эволюционной теории Чарлза Дарвина (за свои яркие полемические выступления он получил прозвище «Бульдог Дарвина»). Гексли — член (в 1883–1885 гг. — президент) Лондонского ко-

всегда был центральной фигурой в любом описании отношений между наукой и религией в XIX в. До семидесятых годов прошлого столетия, когда “тезис о конфликте” широко был в ходу, они представлялись исследователям героями науки, отчаянно защищавшими Дарвина от нападков идейных христианских антиэволюционистов. Дебаты о состоятельности теории эволюции между Гексли и епископом Самюэлем Вилбер Форсом на встрече Британской ассоциации содействия развитию науки в Оксфорде в 1860 г. стали почти мифическим событием, символизирующим “тезис о конфликте”. Равным образом “Белфастская речь” Тиндаля, произнесенная им в 1874 г. в бытность президентом Британской ассоциации, была воспринята как образец радикального материализма ученых, группирующихся вокруг Дарвина. “Система синтетической философии” (1862–1896) Герберта Спенсера — амбициозная многотомная работа, основанная на принципах теории эволюции, — интерпретировалась как попытка заменить христианство новым, светским мировоззрением. Если бы история взаимоотношений между наукой и религией в XIX в. должна была бы целиком выстраиваться вокруг конфликта, то такие персонажи, как Гексли, Тиндаль и Спенсер, были бы крайне важны для ее изложения» [Лайтман: 13].

Дискуссия перенеслась и в Россию. Теория Дарвина проникла сюда практически сразу же после выхода «Происхождения видов» на английском языке. Уже в 1860 г. профессор Санкт-Петербургского университета С. С. Куторга включил теорию Дарвина в свой курс. Но главным апологетом учения Дарвина был естествоиспытатель К. А. Тимирязев, который не только переводил и пропагандировал Дарвина, но и посетил своего кумира в Англии в 1877 г. Эволюционное учение Дарвина он рассматривал как крупнейшее достижение науки XIX в., на основе которого совершил и свои открытия. В 1864 г. в «Отечественных записках» появляются работы Тимирязева о Дарвине, в которых он выступает как страстный защитник и пропагандист учения об эволюции. В 1865 г. его статьи из «Отечественных записок» выходят отдельной книгой под названием «Краткий очерк теории Дарвина». Во втором издании она получила окончательное заглавие — «Чарльз Дарвин и его учение» (первое издание — 1872 г., второе — 1883 г. [Тимирязев]).

ролевского общества, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1864). В своих апологетических статьях о Дарвине К. А. Тимирязев цитирует Гексли.

Еще одним русским ученым, высоко оценившим теорию Дарвина о происхождении видов, стал ботаник А. С. Фаминцын, опубликовавший в 1874 г. свою речь, читанную в Петербургском университете. В своей брошюре он отмечал: «К числу... немногих избранных принадлежит великий естествоиспытатель Чарльз Дарвин, имя которого известно всякому образованному человеку и не занимающемуся специально естественными науками. Влияние его на развитие разных отраслей человеческих знаний столь велико, что уже в настоящее время имеется значительная литература об этом замечательном человеке, о его ученых трудах. Статей, написанных о Дарвине и его учении, насчитывают с 1859 года, когда вышел в свет первый замечательный труд его по этому предмету, до 1871 года всего до 230. Исследований же, в которых говорится более или менее обстоятельно о теории Дарвина, столь много, что одни только заглавия их составляют целую книжку, изданную Зейдлицем в виде отдельной брошюры. Главнейшие сочинения Дарвина переведены, кроме того, на многие европейские языки» [Фаминцын: 1]. Важнейшая заслуга Дарвина, по Фаминцыну, заключается в том, что ему первому удалось доказать изменяемость организмов и показать способ, которым она достигается. Фаминцын подходил к вопросу более объективно, чем Тимирязев и не считал доказанным тезис о происхождении человека от обезьяны: «Хотя и не подлежит сомнению, что он показал великое влияние, как естественной, так и половой подборки на изменения человека, однако нельзя не сознаться, что главный вопрос, вопрос о происхождении человеческого рода, невозможно и в настоящее время считать разъясненным» [Фаминцын: 18].

Между прочим, Фаминцын отметил в учении Дарвина те черты, которые были близки Гончарову: «В противоположность прежде господствовавшему мнению о неизменяемости форм растений и животных, Дарвин приводит несомненные доказательства постепенного их перерождения под влиянием ухода человека. Так, например, несомненно изменились плоды хлебных растений... Необходимо следует предположить, что и хлебные растения наши в диком состоянии могли не заключать более питательных веществ, чем остальные травы. Только уходом человека вызвано у них значительное развитие семян, которое они представляют в настоящее время» [Фаминцын: 7]. Подобные определения заслуг Дарвина, конечно, вызывали в Гончарове симпатию к

английскому ученому и по-своему даже вдохновляли его, поскольку объективно укладывались в его концепцию взаимоотношений Бога (Творца) и человека (его помощника в деле превращения пустынь в сады). Другое дело, что в учении Дарвина отсутствовала идея Божьего Промысла, но тем ценнее были для Гончарова эти объективные сближения научных данных с религиозной картиной мира.

Между тем в России были у Дарвина и противники его идей. Главный тезис, который защищал в книге «Мир как целое» Страхов, сводился к «одухотворенности» (а потому и единства) материи: «Мир есть целое, то есть он связан во всех направлениях, в каких только может его рассматривать наш ум. Мир есть единое целое, то есть он не распадается на два, на три или вообще на несколько сущностей, связанных независимо от их собственных свойств. Такое единство мира можно получить, не иначе как одухотворив природу, признав, что истинная сущность вещей состоит в различных степенях воплощающегося духа» [Страхов 1872: VII]. В 1885 г. вышла в свет книга Н. Я. Данилевского «Дарвинизм. Критическое исследование» [Данилевский]. Данилевский писал, что естественный отбор не существовал, не существует и не может существовать. Он считал, что Дарвин подарил миру не доказанную научную теорию, а гипотезу, притом противоречащую множеству фактов и основанную на ложных философских доктринах. Данилевский доказывал невозможность того, чтобы масса случайностей, не связанных между собою, могла произвести порядок, гармонию и удивительную целесообразность. По мнению русского ученого, развитие природы идет по плану Творца, «имеющему в виду достижение определенной цели». После выхода первого тома книги Данилевского Страхов выступил с одобрительной рецензией: «Можно прямо сказать: если кто-нибудь в России рассуждает или пишет о дарвинизме и не прочел этой книги, того не стоит слушать и читать, тот не знает настоящего положения дел и не имеет никакого права ссылаться на науку, а должен, если угодно, сам отвечать за свои соображения, как будто Дарвина и на свете не существовало» [Страхов 1886].

Будучи цензором и много читая на английском и французском языках, Гончаров, несомненно, следил за полемикой, касающейся как астрономии, так и других естественных наук в Европе и США. Его статья «О пользе истории» свидетельствует, что он попытался объективно оценить значение того действительно важного, что сделал

Ч. Дарвин. В статье «О пользе истории» он писал: «Новая... наука в лице Дарвина и других создала закон о наследственности, который и прежде чувствовали и признавали все мыслящие люди... Тот же духовный закон наследственности проходит по всей истории» [Гончаров 1965]¹. Весьма характерно, что Гончаров говорит не столько о «материальной» наследственности, открытой английским ученым, сколько о «духовном законе наследственности» и, тем самым, показывает, что наука лишь подтверждает и переводит на иной уровень осмысления незбылемые основы религиозного миропонимания. Очевидно, он был согласен с аргументацией, которую выдвигал, например, Альфонс де Кандоль, писавший о Дарвине: «Не думал ли он, что если его учение не противоречит основам религиозных убеждений, то уже дело theologов уладиться с фактами? Почему бы не примириться им с теорией развития органического мира — как примирились они после Галлилея с вращением земли, после Лапласа — с последовательным образованием небесных тел. Эти научные идеи распространены во всем свете, даже в Китае. Они не пошатнули ни христианства, ни магометанства, ни буддизма... по случаю кончины знаменитого натуралиста, в соборе Св. Павла и других Лондонских церквях говорились проповеди, в которых доказывалось, что дарвинизм не противоречит религии» (цит. по: [Тимиразев: 4]). Гончаров понимал, что никакое истинное научное открытие в принципе не может противоречить вере, о чем он писал в неотправленном послании к Вл. С. Соловьеву: «Вера — не смущается никакими “не знаю” — и добывает себе в безбрежном океане все, что

¹ Характерно, что Гончаров упоминает не только Дарвина, но и его последователей, а из открытий Дарвина — не подвергавшуюся критике бесспорную идею о наследственности. Идеи Гончарова отчасти перекликаются с мыслями А. К. Толстого из его стихотворения «Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинизме» (1872), в котором поэт не защищает дарвинизм, но говорит о свободном самовыражении науки, о необходимости не противопоставлять веру и науку, а сочетать их в стремлении к истине. Л. Н. Толстой выделил в теории Дарвина идею эгоистичной борьбы за существование, о чем говорит Левин в «Анне Карениной»: «Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего, и не душить его? Мне сказали это в детстве, и я радостно поверил, потому, что мне сказали то, что было у меня на душе. А кто открыл это? Не разум. Разум открыл борьбу за существование и закон, требующий того, чтоб душить всех, мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно» [Толстой 19: 379].

ей нужно. У ней есть одно единственное и всеильное для верующего орудие — чувство. У разума (человеческого) ничего нет, кроме первых, необходимых для домашнего, земного обихода, знаний, т. е. азбуки всеведения» [Гончаров 1994: 348].

Хотелось бы обратить внимание и на другое: чтение Ч. Дарвина, Ламарка («Philosophie Zoologique») наложило свой отпечаток на стилистику разговора Гончарова о сугубо литературных вопросах, заставляя нетрадиционно для литератора внутренне апеллировать к законам «духовной наследственности» и «взаимного сходства организмов» [Тимирязев: 15–16] в размышлениях над литературой, чему свидетельство его строки из статьи «Лучше поздно, чем никогда»: «Этот мир творческих типов имеет как будто свою особую жизнь, свою историю, свою географию и этнографию, и когда-нибудь, вероятно, сделается предметом любопытных историко-философских критических исследований. Дон Кихот, Лир, Гамлет, леди Макбет, Фальстаф, Дон Жуан, Тартюф и другие уже породили, в созданиях позднейших талантов, целые родственные поколения подобию, раздробившихся на множество брызг и капель. И в новое время обнаружится, например, что множество современных типов вроде Чичикова, Хлестакова, Собакевича, Ноздрева и т. д. окажутся разнородностями разветвившегося генеалогического дерева Митрофанов, Скотининых и в свою очередь расплодятся на множество других и т. д. И мало ли что открылось бы в этих богатых и нетронутых рудниках!» [Гончаров 1952–1955. 8: 104–105]. Эти мысли восходят к общей дарвиновской идее, которую Тимирязев сформулировал следующим образом: «... все организмы находятся в кровном родстве... они произошли одни из других медленным, непрерывным процессом исторического развития, о котором свидетельствует геология» [Тимирязев: 19].

Любопытно в этом смысле и другое. Гончаров, как мы уже писали [Мельник 2020: 163–167], считал красоту и гармонию признаком существования Бога. Сходные мысли он мог наследовать не только из философии и литературы, но и из научных трудов естествоведов. Возможно, Н.Я. Данилевский имел предшественников в среде исследователей природы (которых мог читать и Гончаров, утверждаясь в собственных мыслях), когда возражал Дарвину, апеллируя и к закону красоты. Рассказывая о побудительных мотивах своего труда над критикой дарвинизма, он говорит: «...из бесчисленного множества случайностей ничего разумного, никакого порядка и гармонии не может произойти — ничего,

кроме хаоса и бессмыслицы... камни, из которых возведено здание (теории Дарвина — В. М.), не прилаживаются друг к другу» [Данилевский. 1: 21]. Критикуя Дарвина, Данилевский исходит из убеждения, что развитие природы идет по плану Творца, «имеющему в виду достижение определенной цели». Дарвину возражали не только исходя из законов нравственности, Данилевский подчеркнул, что взгляд Дарвина на природу «есть наименее эстетический». В особенности важна для романиста здесь подспудно доминирующая мысль о единстве пластической и духовной красоты (а еще шире, имея в виду Бога как Творца: единство нравственности, красоты, целесообразности, промыслительности).

Несомненно признавая научный и технический прогресс как положительное явление, Гончаров прекрасно понимал относительность могущества науки, вовсе не отменяющей религиозных ценностей, хотя и воздействующей в этом плане на незрелые умы. Принципиально вопрос о соотносительности современной науки и религиозного сознания был решен Гончаровым еще до написания «Обыкновенной истории». С тех пор его воззрения кардинально не менялись. В 1881 г. выходит книга Вл. С. Соловьева «Чтения о Богочеловечестве», в которой Гончаров нашел сходные для себя мысли, чем и было вызвано его письмо к философу. В своей книге Вл. С. Соловьев подчеркивал, что центральный момент современной духовной жизни — это «стремление организовать человечество вне безусловной религиозной сферы». Автор «Чтений о Богочеловечестве» отмечал, что «этим стремлением характеризуется вся современная цивилизация» [Соловьев: 3]. Логика книги подсказывала, что укрепить в обществе расшатанные основы традиционного религиозного мышления уже невозможно, если действовать лишь методом огульного и прямолинейного отрицания успехов естественных наук и позитивизма. «Чтения о Богочеловечестве» были попыткой синтезировать религию и научный эмпиризм, причем именно религия выступала в этом синтезе на первый план [Лосев: 186].

Гончаров, как и Соловьев, считает, что религия и наука не находятся в состоянии непримиримой вражды: «В перспективе, весьма туманной, неверной и далекой — у дерзких пионеров науки есть надежда дойти когда-нибудь до тайн мироздания надежным путем науки. Настоящая (т. е. современная. — В. М.) наука мерцает таким слабым светом, что пока дает только понятие о глубине бездны неведения. Она, как аэростат, едва взлетает над земной поверхностью и в бессилии опускается

назад» [Гончаров 1994: 348].

Гончаров выработал свое отношение к науке уже в 1840-е гг., когда ему было чуть более тридцати лет. Тем самым он опередил многих своих современников в подходе к важнейшей для XIX в. проблеме: как сохранить религиозно мыслящую личность в условиях, когда «чувства младенческой веры не воротись взрослому обществу». Будучи консервативным и глубоко верующим человеком, он серьезно и с большой симпатией относился к научному прогрессу, считая его не только не противопоставленным религии, но и орудием «Божьего Промысла» о человечестве, поскольку в его представлении развитие культуры и цивилизации является «Божьим заданием» для человечества, превращающего «пустыни в сады», являющегося соработником Творцу и своим творческим трудом возвращающего Богу «плод брошенного Им зерна» («Фрегат “Паллада”»). Наука, в его понимании, делает более удобоисполнимым замысел Творца: приблизить к Себе человека как своего со-работника, помощника, цивилизатора, творца искусства и культуры. Глубоко позитивное восприятие науки как раз и определялось типом религиозности Гончарова, который, как и А. К. Толстой, среди многих свойств Бога выделял свойство Бога-Творца.

Список литературы

Источники

Араго Ф. Гром и молния: Ученая записка. Изд. торг. дома С. Струговщикова, Г. Похитова, Н. Водова и К. СПб.: Тип. Академии наук, 1859. 414 с.

Быханов Е. В. Астрономические предрассудки и материалы для составления новой теории образования планетной системы. Ливны: Тип. И. А. Савкова, 1877. 160 с.

Быханов Е. В. Нечто из небесной механики. Очерк. Популярное изложение Е. Быханова. Ливны: Тип. И. А. Савкова, 1894. 70 с.

Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М.: АН СССР, 1954–1966.

Гончаров И. А. О пользе истории // Неделя. 1965. № 32.

Гончаров И. А. Письмо к В. С. Соловьеву. Предисловие и публикация В. И. Мельника // И. А. Гончаров (Материалы международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова). Ульяновск: ТОО «Стрежень», 1994. С. 343–351.

Гончаров И. А. Полн. собр. соч.: в 20 т. СПб.: Наука, 1997–2017. Т. 1–15.

Гончаров И. А. Собр. соч.: в 8 т. М.: Худож. лит., 1977–1980.

[*Данилевский Н. Я.*] Дарвинизм. Критическое исследование Н. Я. Данилевского: в 2 т. СПб.: Изд-е М. Е. Комарова, 1885–1889.

[*Иванов*]. Рассказы о земле и небе. СПб., 1867 // Журнал Министерства народ-

ного просвещения. 1867. СXXXIII. Отд. VII. С. 263–264.

Рассказы о земле и о небе А. Иванова. СПб.: [б.и.], 1867. 64 с.

Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1956–1960. Т. I–IV.

Описание библиотеки И. А. Гончарова. Ульяновск: [б.и.], 1987. 120 с.

Отчет ординарного профессора богословия в Московском университете протоиерея Николая Сергиевского о путешествии его во время летних каникул 1865 года по прочим русским университетам для совещания с тамошними профессорами богословия о лучшем устройстве преподавания этого предмета в наших университетах // Журнал Министерства народного просвещения, 1865. СXXXVIII. Отд. III. С. 182–185.

Приложения к отчету профессора Сергиевского. Мнение священника А. Владимирского // Журнал Министерства народного просвещения, 1865. СXXXVIII. Отд. III. С. 203.

Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве. М.: [б.и.], 1881. 528 с.

[Страхов Н. Н.] Мир как целое. Черты из науки о природе. СПб.: Тип. К. Замысловского, 1872. 506 с.

Страхов Н. Н. [Рец. на кн.: Дарвинизм. Критическое исследование Н. Я. Данилевского. СПб. 1885] // Гражданин. 1886. 7 марта. № 25.

Тимирязев К. А. Чарльз Дарвин и его учение. Два общедоступных очерка. М.: Изд. А. Л. Васильева, 1883. 192 с.

Тиндаль Д. Речи и статьи. М.: Тип. В. П. Племянникова. 1875. 188 с.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1935–1958.

Фаминцын А. С. Дарвин и его значение в биологии. СПб.: Тип. В. Безобразова и К., 1874. 22 с.

Фламарион К. Многочисленность обитаемых миров. М.: Тов-во И. Д. Сытина, 1908. 122 с.

Dreper J. Les conflits de la scientifique et industrielle. Paris, 1875. 265 p.

Figuiet L. L'annee scientifique L'impression de la 20 annee. Paris, 1876. 476 p.

Flammarion C. La pluralité des mondes habités: étude où l'on expose les conditions d'habitabilité des terres célestes, discutées au point de vue de l'astronomie, de la physiologie et de la philosophie naturelle. Paris: Didier, 1872. 475 p.

Flammarion C. Les merveilles celestas, lectures du Soir. Paris; Hachette, 1869. 394 p.

Flammarion C. Recits de l'infini, humaine histoire d'une cjmete dans l'infini. Paris; Didier, 1873. 436 p.

Schelling F. W. J. Sammtliche Werke Zweite. Abth. 1 Bd. Stuttgart, Augsburg, J. G. Cotta. 1856. 694 p.

Secchi A. Le Soleil: expose des principales decouvertes modernes sur la structure de cet, son influence dans l'univers et ses relations avec les autres corps celestas... Paris: Gauthier-Villars, 1870. 422 p.

Исследования

Гуськов С. Н. Жители Луны: (комментируя «Фрегат “Палладу”») // Sub specie tolerantiae: Памяти В. А. Туниманова. СПб.: Наука, 2008. С. 545–551.

Кругликова О. С. Эволюционная теория Дарвина в отражении русской консервативной и либеральной прессы второй половины XIX в. // Вестник Московского

университета. Серия 10: Журналистика. 2018. № 5. С. 101–119.

Лайтман Б. (*Bernard Lightman*). «Тезис о конфликте» и научный натурализм // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 4 (33). С. 11–35.

Лосев А. Ф. Вл. Соловьев. М.: Мысль, 1983. 206 с.

Мельник В. И. Философские мотивы в романе И. А. Гончарова «Обломов»: К вопросу о соотношении «социального» и «нравственного» в романе // Русская литература. 1982. № 3. С. 81–99.

Мельник В. И. «Крупный, мыслящий и осмысливающий синтез...» (Возникновение замысла романной трилогии И. А. Гончарова) // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 3. С. 118–199. DOI <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-3-118-199>

Стражева И. Удивительная жизнь Фламариона. М.: Молодая гвардия, 1995. 448 с.

Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М.: Юрист, 1995. 480 с.

References

Gus'kov, S. N. "Zhiteli Luny: (kommentiruiia 'Fregat Palladu') ["Inhabitants of the Moon: (Commenting on the "Frigate 'Pallada')"]. *Sub specie tolerantiae: Pamyati V. A. Tunimanova* [*Sub Specie Tolerantiae: In Memory of V. A. Tunimanov*]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2008, pp. 545–551. (In Russ.)

Kruglikova, O. S. "Evolucionnaia teoriia Darvina v otrazhenii russkoi konservativnoi i liberal'noi pressy vtoroi poloviny XIX v." ["Darwin's Evolutionary Theory as Reflected by the Russian Conservative and Liberal Press in the Second Half of the 19th century"]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Serii 10: Zhurnalistsika*, no. 5, 2018, pp. 101–119. (In Russ.)

Laitman, B. (*Bernard Lightman*). "'Tezis o konflikte' i nauchnyi naturalizm" ["'Thesis on Conflict' and Scientific Naturalism"]. *Gosudarstvo, religii, tserkov' v Rossii i za rubezhom*, no. 4 (33), 2015, pp. 11–35. (In Russ.)

Losev, A. F. *Vl. Solov'ev* [*Vladimir Solovyov*]. Moscow, Mysl' Publ., 1983. 206 p. (In Russ.)

Me'nik, V. I. "Filosofskie motivy v romane I. A. Goncharova 'Oblovov': K voprosu o sootnoshenii 'sotsial'nogo' i 'nrvstvennogo' v romane" [Philosophical Motives in Ivan Goncharov's novel 'Oblovov': On the Correlation of 'Social' and 'Moral' in the Novel]. *Russkaia literatura*, no. 3, 1982, pp. 81–99. (In Russ.)

Me'nik, V. I. "'Krupnyi, mysl'iaschii i osmyslivaiushchii sintez...' (Vozniknovenie zamysla romannoi trilogii I. A. Goncharova)" ["'The Large, Thinking and Comprehending Synthesis...' (The Emergence of the Idea of Ivan Goncharov's Novel Trilogy)"]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 2, no. 3, 2020, pp. 118–199. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-3-118-199>

Strazheva, I. *Udivitel'naia zhizn' Flammariona* [*The Amazing Life of Flammarion*]. Moscow, Molodaia gvardiia Publ., 1995. 448 p. (In Russ.)

Tillikh, P. *Izbrannoe. Teologiia kul'tury* [*Selected Works. Theology of Culture*]. Moscow, Jurist Publ., 1995. 480 p. (In Russ.)

© 2021. В. Г. Андреева
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Героини романов Л. Н. Толстого и «одуряющее свойство» светского существования

Аннотация: В статье анализируются женские образы в романах Л. Н. Толстого: от «Семейного счастья» к «Воскресению». По аналогии с автобиографическим героем в творчестве писателя выявляется изменяющийся образ героини, рассматриваются эпические мерки, выбранные Толстым еще в середине 1850-х гг. и используемые им для оценки женщины: красота, ум, способность к уединению, отношение к труду, религиозность. Отмечается, что идеал женщины Толстого был во многом сформирован в письмах к Валерии Арсеньевой во время обдумывания писателем собственного пути. Маша в «Семейном счастье» начинает череду героинь Толстого, которые отражают толстовское представление о лучших качествах женщины. Одним из важнейших составляющих ее правильной жизни Толстой считает равнодушие, даже презрение к свету и светским удовольствиям. Автор статьи рассматривает центральные женские образы в романе-эпопее «Война и мир», романах «Анна Каренина», «Воскресение» в их отношении к светскому обществу. На основе аналитического изучения черновиков произведений и сопоставления их с окончательными текстами показана работа писателя над обликом и внутренним миром героинь, складывание их из часто противоречивых, контрастных описаний, исключение лишних подробностей и деталей, бывших в черновых материалах, а также эпизодов, имевших однозначные оценочные характеристики.

Ключевые слова: Л. Толстой, роман, эпические свойства, женские образы, женский вопрос, светское общество, семейная тема, автобиографические герои, динамика образов персонажей, творческая история.

Информация об авторе: Валерия Геннадьевна Андреева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25а, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4558-3153>

E-mail: lanfra87@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 14.11.2020

Дата одобрения статьи рецензентами: 11.02.2021

Дата публикации статьи: 22.03.2021

Для цитирования: Андреева В. Г. Героини романов Л. Н. Толстого и «одуряющее свойство» светского существования // Два века русской классики. 2021. Т. 3, № 1. С. 160–209. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-160-209>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 160–209. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 160–209. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2021. Valeria G. Andreeva
A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

Heroines of Leo Tolstoy's Novels and the "Stupefying Character" of Secular Existence

Abstract: The article analyzes female characters in Leo Tolstoy's novels: from "Family Happiness" to "Resurrection." By analogy with the autobiographical hero, the changing character of a heroine is revealed in the writer's works, while considering peculiar epic measures chosen by Tolstoy in the mid-1850s, which he used to evaluate a woman: beauty, intelligence, ability for solitude, attitude to work, religiosity. It is noted that the ideal of Tolstoy's woman was largely formed in letters to Valeria Arsenyeva while the writer was pondering his own path. Masha in "Family Happiness" begins a series of Tolstoy's heroines, who reflect Tolstoy's idea of the best qualities of a woman. Tolstoy considers indifference, even contempt for society and worldly pleasures one of the most important components of a woman's correct life. The author of the article examines central female images of the epic novel "War and Peace," novels "Anna Karenina," "Resurrection" in their relation to secular society. In the course of analyzing drafts and comparing them with final texts, the author demonstrates the writer's work on the appearance and inner world of heroines by constructing them from often contradictory, contrasting descriptions, excluding unnecessary details from draft materials as well as episodes that had unambiguous and evaluative specifications.

Keywords: Leo Tolstoy, novel, epic qualities, female images, women's issue, secular society, family theme, autobiographical characters, dynamics of character images, creative history.

Information about the author: Valeria G. Andreeva, DSc in Philology, Leading Research Fellow, A. M. Gorky institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25a, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4558-3153>
E-mail: lanfra87@mail.ru

Received: November 14, 2020

Approved after reviewing: February 11, 2021

Published: March 22, 2020

For citation: Andreeva, V. G. "Heroines of Leo Tolstoy's Novels and the 'Stupefying Character' of Secular Existence." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 160–209. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-160-209>

Образ автобиографического героя в творчестве Л. Н. Толстого рассмотрен в гораздо большей степени, нежели образ героини. Женские характеры в романах писателя слишком многообразны, чтобы можно было говорить о них в общем, более того, все героини Толстого неповторимы. Но попытаемся проследить своеобразную динамику женского образа от ранних произведений к более поздним, уяснить основные позиции, с которых оценивается женщина в романах писателя и отметить роль светского общества в ее жизни.

Проблема судьбы женщины напрямую связана у Толстого с мыслью семейной. Роман «Анна Каренина» начинается с рассуждения о счастливых и несчастливых семьях; семейные гнезда, видим мы в «Войне и мире». В романе «Воскресение», несмотря на широту повествования и выход Нехлюдова и Масловой к народному миру, герой и героиня мыслят категориями личной, семейной жизни, которые уже далее вливаются в общую. «Я жить хочу, хочу семью, детей, хочу человеческой жизни», — думает Нехлюдов, видя Катюшу в арестантской кофте и платке и вспоминая предшествующий вечер у сибирского генерала, где он познакомился с семьей его дочери [Толстой 32: 431]. И Катюша, любящая Нехлюдова, но освобождающая его, объединяет себя в финале с Симонсоном: «Что мне обдумывать? Где Владимир Иванович будет, туда и я с ним» [Толстой 32: 432]; «Нам, — она сказала: “Нам” — и взглянула на Нехлюдова, — ничего не нужно» [Толстой 32: 433]. Проблеме взаимоотношений супругов, их заблуждений посвящено «Семейное счастье».

Семейная тема в русской литературе второй половины XIX в., особенно в творчестве классиков, становится одной из основ прогресса, движения России, мысли семейная и народная оказываются тесно связанными. Закономерно возникает вопрос о роли женщины в общественной жизни страны — «женский вопрос», который для Толстого в произведениях, написанных еще в XIX в., решался не в форме актив-

ной и самостоятельной деятельности женщины, а в ее способности поддерживать мужчину и содействовать реализации его планов. Позиция Толстого по отношению к женщине носила на себе отголоски общей полемики русских романистов, при этом в определенной мере в творчестве писателя оказался воплощенным образец женщины и матери, веками хранимый русским народом.

Исследователи творчества Толстого справедливо отмечают, что в основу «Семейного счастья» писателем была положена история его взаимоотношений с Валерией Владимировной Арсеньевой. Чувства, размышления, сомнения отражены в письмах Толстого, пытавшегося воспитывать девушку, способствовать ее изменению согласно собственным взглядам на женщину. Для большей наглядности Толстой представил в письмах историю Храповицкого и Дембицкой, под которыми подразумевались он сам и Валерия. Образ героини романа «Семейное счастье», ее размышления и поступки, реакция героя на них в совокупности с положениями писем Толстого позволяют определить важнейшие мерки, которые использовались писателем при оценке женщины.

Ситуация, представленная Толстым в «Семейном счастье», довольно типична: писатель выходит на уровень общечеловеческих взаимоотношений, показывает универсальность героев, имеющих эпический характер, проживающих определенные стадии, характерные для развития отношений. Однако и Маша, и Сергей Михайлыч — все-таки особенные герои, что заметно по их ощущениям, восприятию ими друг друга на фоне окружающего светского мира.

Г. М. Ребель считает, что «Семейное счастье» однозначно нельзя называть романом, исключительно повестью. Исследовательница начинает рассуждение о произведении с отзывов самого Толстого, напоминая, что «Семейное счастье» было названо Толстым «постыдной мерзостью» [Ребель: 859]. Действительно, суждения Толстого были довольно резкими, история диалога писателя с В. П. Боткиным описана еще в комментариях к произведению в 5 томе Полного собрания сочинений [Мендельсон: 305–306]. Однако нужно учитывать, в каком контексте находится эта оценочная характеристика. 9 мая 1859 г. Толстой записывает в дневнике: «Неделю уже в деревне. — Хозяйство идет плохо и опостыло. Получил Семейное Счастье. — Это постыдная мерзость. Я ко всему оказываюсь отвратительно холоден. Аксинью вспо-

минаю только с отвращением...» [Толстой 48: 21]. Толстой переживал период депрессии, по всей видимости, вызванной в немалой степени одиночеством, нереализованными планами, связанными с устройством личной жизни. Конечно, нельзя исключать, что писатель был недоволен узостью своего произведения, но первостепенной в этом недовольстве была все-таки сердечная тяжесть Толстого. Создавая «Семейное счастье», он заново переживал роман с Валерией Арсеньевой, а ведь в письма к ней 1856 г. Толстой вложил немало нежности, дорогих мыслей и планов. Обратим внимание на фрагмент письма, которое в конце апреля — первые дни мая 1859 г. Толстой отправил гр. А. А. Толстой. Писатель сообщает о собственном разочаровании, а его просьба об ответных письмах (ведь около трех лет назад Толстой писал Валерии один раз в несколько дней) открывает недостаток сердечного общения: «Ах, милый друг, бабушка. Пишите мне почаще. Мне так гадко, грустно теперь в деревне. Такой холод и сухость в душе, что страшно. Жить не зачем. Вчера мне пришли эти мысли с такой силой, как я стал спрашивать себя хорошенько: кому я делаю добро? кого люблю? — Никого! И грусти даже, и слез над самим собой нет. И раскаянье холодное» [Толстой 60: 294].

Рассуждая о жанровой характеристике произведения Толстого, Г. М. Ребель предпринимает попытку доказательств того, что это не роман, а повесть: «Толстой создал камерный, замкнутый в самом себе мир, живущий по инерции, не ведающий социально-политических проблем, тем более потрясений. Патриархальные пристрастия Сергея Михайлыча соотнесены с его возрастом и приверженностью традиции, порывы Маши — с молодостью и неизрасходованной жизненной энергией заблуждения» [Ребель: 861]. Исследовательница считает, что «эпического потенциала» в сюжете произведения нет: «Решение такой художественной задачи в пору только роману, написанному на основе не ригористических умозрительных проектов, а реального жизненного опыта. Сергей Михайлыч — черновой набросок Левина, но до масштаба и личностной сложности Левина, до мировоззренческой нагрузки образа Левина герою “Семейного счастья” очень далеко. Это пока именно набросок, эскиз, этюд, а произведение в целом — повесть, а не роман» [Ребель: 861].

«Ригористические проекты» во многом были обусловлены четкой схемой семейной жизни Толстого, общий план которой у него существовал (именно им он делился с Валерией Арсеньевой). Учитывая

своеобразную камерность «Семейного счастья», нельзя согласиться с Г. М. Ребель в том, что произведение лишено «эпического потенциала». Как раз наоборот: Толстой намечает здесь важнейшие *эпические мерки* для своих героев, которые далее будут использованы им в романах. В «Семейном счастье» писатель поднимает одно из ключевых противопоставлений, характерное в дальнейшем для его эпических романов: речь идет об антитезе естественной, трудовой жизни, в которой силы человека направлены на работу над собой и преобразование окружающего мира, и искусственного светского существования, основой которого являются эгоизм и постоянный обман. Указанные два полюса во многом составляют центр всех романов Толстого.

Вспомним первую трилогию писателя, ставшую поистине новаторской с точки зрения изображения характера главного героя с двух позиций: взрослого человека, уже прошедшего путь становления, и ребенка, подростка и юноши Николеньки Иртеньева, остро и чутко переживающего каждый новый момент жизни. Как справедливо подчеркнула Н. И. Городилова, эпическая картина мира в трилогии «определяется своеобразием художественного мышления Толстого, ориентированного на разрешение “вечных вопросов” и проникнутого морально-нравственным духом» [Городилова: 11]. «Детство», «Отрочество», «Юность» выглядят как семейная хроника, но нельзя не учитывать ту временную дистанцию, приближающую трилогию к эпическому роману, которая существует между взрослым героем, оглядывающимся назад, и им же, но в детстве. Несмотря на тот факт, что Толстой воссоздает в душе Николеньки детское восприятие мира, что Иртеньев сохраняет в себе определенную детскость, в художественном мире всех частей трилогии ощущается необратимость времени.

Двойную точку зрения на все произошедшее видим мы и в «Семейном счастье». В истории Маши Толстой использует свои же уникальные находки, получившие реализацию в «Детстве», «Отрочестве», «Юности». И название романа, и внешне счастливый итог (герои остаются вместе) позволяют говорить о благополучном финале показанного в произведении отрезка жизни. Подобно тому, как Николенька Иртеньев хранит в своей душе детские впечатления и чувства, становящиеся залогом его возрождения, так и Маша в «Семейном счастье» бережет в своей душе лучшее из юности. При этом Толстой показывает, что те ошибки и заблуждения, которые сбивают с пути конкретно-

го человека, в дальнейшем могущего все исправить, гораздо опаснее в семейной жизни. В письме к Валерии Арсеньевой от 19 ноября 1856 г. Толстой описывает процесс быстрого разрушения семейного счастья и его причины, которые (все, до одной) читатель может найти в истории жизни Маши и Сергея Михайлыча, убедившись, что счастье это все-таки относительно: «Потому что малейший faux pas¹ разрушает всё, и уж не поймашь потерянное счастье. А faux pas этих много: и *кокетство*, вследствие его недоверие, ревность, злоба, и ревность без причины, и *фютильность*², уничтожающая любовь и доверие, и *скрытность*, вселяющая подозрение, и *праздность*, от которой надоедают друг другу, и *вспыльчивость*, от которой говорят друг другу вещи, порождающие вечных мальчигов, и *неаккуратность* и непоследовательность в планах, и главное — *нерасчетливость*, тароватость, от которой путаются дела, расположение духа портится, планы разрушаются, спокойствие пропадает, и рождается отвращение друг к другу — и прощай!» [Толстой 60: 118–119].

Исследователями уже не раз поднимался вопрос о творческом освоении Толстым находок английских писателей XVIII–XIX вв., об изучении ими женской прозы. А. Ю. Саркисова проводит параллель между «Семейным счастьем» и романом «Простая история» (1791) английской писательницы Елизаветы Инчбальд, показывая, что Толстым были качественно переработаны все возможные ходы и ситуации, реализованные в романе Инчбальд. В «Семейном счастье» уже достаточно ярко проявились два мотива, характерные для всего творчества Толстого: мотив предпочтения пути, четкого следования выбранной линии движения и мотив разрыва со светской жизнью. Несколько скептическое отношение Толстого к женской судьбе в английском романе сохранится и далее. Э. Г. Бабаев, вспоминая о чтении Анной Карениной английского романа, говорит даже о пародии Толстого. Конечно, это не была прямая пародия: Э. Троллоп стал в некоторой степени учителем Толстого в работе с женскими образами [Андреева 2020: 65–66], однако Э. Г. Бабаев прав относительно собственной толстовской концепции: героиням Толстого не хватало романного внешнего счастья [Андреева 2020: 67; Бабаев: 133].

¹ Ложный шаг (франц.)

² Ничтожество, пустота (от франц. *futilité*).

Толстой не просто усложняет психологические характеристики образов, в «Семейном счастье» он представляет ряд парных оппозиций, описывает сложность выбора героини и героя. Их миссия ни много ни мало заключается в устроении правильной жизни — высокого национального образца семейного бытия, подравненного под мысли и мечты самого писателя (то, что эти мечты Толстому не удалось реализовать с Валерией Арсеньевой и справились ли с этой реализацией Маша и Сергей Михайлыч — это уже другой вопрос, но эпического масштаба произведения это не умаляет).

В юности Маша предстает как особенная героиня, отличающаяся от других женщин. Это почти толстовский идеал, но именно высота образа позволяет преодолеть его особенность и инаковость по отношению к миру: на идеал равняются многие, без идеала и цели невозможно движение вперед. Толстой сохраняет эту особенность героев и в финале. В итоговом тексте романа пределы личной уникальной истории преодолеваются описанием новой, во многом универсальной фазы отношений: «Новое чувство любви к детям и к отцу моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни» [Толстой 5: 143]. Обратим внимание, что в черновиках к произведению была сцена, должна подчеркнуть отличие Маши от всех других женщин, не случайно она повторяет дважды один вопрос: «Неужели я хуже всех других женщин?» [Толстой 5: 182]. «Я ждала и перерожденья, и счастья от материнской любви. Мне казалось, что новое чувство без всякого подготовленья с моей стороны, против моей воли, схватит меня и увлечет за собой в другой счастливый мир. Но Бог знает, отчего это случилось? От того ли, что я хуже других женщин, от того ли, что я находилась в других условиях...» [Толстой 5: 182]. Отказ писателя от указанного эпизода объяснялся, конечно, неправдоподобием описания, которое уничижало героиню, показывая отсутствие чувств к ребенку и материнского инстинкта. При этом главной задачей Толстого была иллюстрация разрушительного воздействия света на женщину и ее социальные роли. Утверждение Машей своей испорченности является своего рода сознанием собственного греха — увлечения роскошью, игнорированием любимых людей.

Николенька Иртеньев открывает галерею толстовских изменяющихся героев, наделяемых автобиографическими чертами: «В его судьбе уже предчувствуется постепенное преодоление влияния среды, от-

крытие мира, который не укладывается в рамки сословной философии. Наследуя привычный путь людей своего круга, Николенька не живет сословными интересами полным сердцем, а словно придумывает свою жизнь, соответствующую определенным ожиданиям» [Городилова: 10]. А Маша в «Семейном счастье» *начинает череду героинь* Толстого, которые, также имея определенные прототипы, отражают толстовское представление о женщине.

Отметим важнейшие критерии оценки разных женщин в романах Толстого, которые мало изменяются в художественных мирах писателя с «Семейного счастья» до «Воскресения». Не важнейшим, но значимым параметром, о котором рассуждает Толстой, является женская *красота*. Внешняя, эстетическая красота женщины, привлекательность, как показывает писатель, важна именно для мужчины и во многом определяет его первое впечатление, которое далее уже или дополняется, или не дополняется содержанием. «Я уже люблю в Вас Вашу красоту, но я начинаю только любить в Вас то, что вечно и всегда драгоценно, — Ваше сердце, Вашу душу. Красоту можно узнать и полюбить в час и разлюбить так же скоро, но душу надо узнать» [Толстой 60: 96]. И для самого Толстого, и для его героев-мужчин эта внешняя красота или хотя бы притягательность женского образа были чрезвычайно важны: речь тут идет, конечно, не об искусственной красоте, а о гармоничности облика женщины.

И в письмах к Валерии Арсеньевой, и в романе «Семейное счастье» Толстой несколько раз говорит о необходимом умении женщин *переносить одиночество* (в смысле временного и необходимого уединения в определенные моменты жизни).

«Это нехорошо не уметь переносить одиночества, — сказал он, — неужели вы барышня?» “Разумеется, барышня”, — отвечала я, смеясь. “Нет, дурная барышня, которая только жива, пока на нее любят, а как только одна осталась, так и опустилась, и ничто ей не мило; все только для показу, а для себя ничего”» [Толстой 5: 71].

В письме к Валерии от 23–24 ноября 1856 г. Толстой подчеркивает необходимость уединения. Описывая семью Храповицких (желаемый им образец семьи), писатель отмечает важность избирательного общения: «Деревня должна быть уединением и занятием, про которые я писал в предпоследнем письме, и больше ничего, но такой деревни Вы не выдержите, а тульские знакомства порождают провинциализм,

который ужасно опасен. <...> Нет-с, матушка, Храповицкие или никого не будут видеть, или лучшее общество во всей России, т. е. лучшее общество не в смысле царской милости и богатства, а в смысле ума и образования» [Толстой 60: 122–123].

«Семейное счастье» не содержит ярких упоминаний о труде и работе, хотя герой обращает внимание Маши на необходимость занятий [Толстой 5: 72]. Зато призывов к *труду* немало в письмах Толстого к Арсеньевой: впоследствии мотив работы станет одним из ведущих при оценке не только женщин, но и мужчин в романах Толстого [Андреева 2012: 115]. «Как Вы живете? *Работаете* ли Вы? Ради Бога, пишите мне. Не смейтесь над словом работать. Работать умно, полезно, с целью добра — превосходно...», — наставляет Толстой Валерию в письме от 9 ноября 1856 г. [Толстой 60: 105]. И о труде он будет говорить своей возможной невесте еще не один раз. В письмах мотив труда оказывается косвенно связанным с умственными способностями. Толстой не говорит прямо об *уме* героини, но его идеальная женщина однозначно должна соответствовать по уровню развития находящемуся рядом мужчине. На протяжении всего творчества писатель не отказывал в уме женщинам (как до сих пор считает ряд исследователей), Толстой всегда разделял мужской ум, связанный со способностью мыслить, и женский ум, который в первую очередь призван понимать, чувствуя, проницая ситуацию, собеседника и т. п. В еще одном письме Толстого встречается упоминание о женской способности думать: «Моя сила, за которую Вы меня любите, — ум, Ваша сила — сердце. И то и другое вещи хорошие, и будем стараться развивать с взаимной помощью и то и другое: Вы меня выучите любить, я Вас выучу думать» [Толстой 60: 116]. Насколько можно судить по этому письму, форма «выучу» предполагала уверенность писателя в том, что рядом должна быть умная и понимающая женщина.

Наконец, необходимым условием правильной жизни представительницы прекрасного пола Толстой считает равнодушие, даже *презрение к свету* и светским удовольствиям. Спокойным и чуждающимся света в письмах Толстого является Храповицкий, который «обожает тихую, семейную, нравственную жизнь и ничего в мире не боится так, как жизни рассеянной, светской, в которой пропадают все хорошие, честные, чистые мысли и чувства, и в которой делаешься рабом светских условий и кредитором» [Толстой 60: 108]. Исследователи твор-

чества Толстого уже писали о сходстве ситуаций в реальной жизни и романе «Семейное счастье». Отношение Толстого к Валерии Арсеньевой изменилось после ее поездки на коронацию, а предельным для терпения Сергея Михайлыча в романе оказалось желание Маши ехать на раут, на котором присутствовал принц.

В письмах к Валерии Арсеньевой Толстой не скрывает многие свои недостатки, хотя говорит о них обтекаемо. Однако главная цель его — уберечь девушку от светского эгоизма: Толстой объясняет Валерии сущность взаимоотношений в обществе, а в ответ просит писать максимально подробно и честно: «Отвечайте мне подлиннее, пооткровеннее, посерьезнее...» [Толстой 60: 98]. Стиль Толстого в этих письмах несколько напоминает слог духовного наставника (записи Толстого о Валерии и о своих чувствах в дневнике лета 1856 г., в отличие от писем, сбивчивы и часто противоречивы). Уместно в данном случае, отмечая некоторое формальное и содержательное сходство, вспомнить книгу Святого Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?», в которой автор в форме писем дает наставления своей духовной дочери. Необходимость откровенности девушек в ответных письмах у Толстого и Св. Феофана Затворника объясняется схоже. «Откровенность — первое дело в переписке, иначе нечего было ее и затевать. И пишите всегда сплеча — все, что есть на душе, и особенно пополюе излагайте вопросы, которые зашевелятся в голове и станут настойчиво требовать решения», — отмечает Святой Феофан [Св. Феофан: 7].

Главная ошибка Маши, допущенная в «Семейном счастье», заключается в увлечении пустым светским существованием, вытеснившим искреннюю любовь к мужу: «Светская жизнь, сначала отуманившая меня блеском и лестью самолюбия, скоро завладела вполне моими наклонностями, вошла в привычки, наложила на меня свои оковы и заняла в душе все то место, которое было готово для чувства» [Толстой 5: 126–127]. Найденный Машей в юности благодаря супругу счастливый смысл жизни: «Недаром он говорил, что в жизни есть только одно несомненное счастье — жить для другого» [Толстой 5: 80], — быстро забывается, как только она оказывается в Петербурге. Немногословные предупреждения Сергея Михайлыча, которого героиня в финале романа обвинит в том, что он ее не удержал, не направил, долгое время ею игнорируются. Первоначальное желание Маши посмотреть со сто-

роны жизнь Петербурга превращается в страстное стремление на светские мероприятия. «Дай Бог, чтоб такое отвращающее от светской жизни и светских увеселений чувство навсегда сохранилось в Вас», — писал своей собеседнице Св. Феофан. — Но возможно и то, что слюбится. Как видно, Вам нельзя не соприкоснуться к такой жизни. Во второй раз будет уж не так разрушительно и смутительно, в третий — еще меньше, а потом и ничего себе, как говорят про водочку: первая чарка колом, вторая соколом, а там уж только подавай» [Св. Феофан: 8].

Разумеется, Святитель наставляет свою духовную дочь согласно заветам православия. Толстой в письме к Валерии от 28 ноября 1856 г. называет *религию* великим делом в жизни женщины, однако сразу же просит девушку в возможном совместном будущем не поднимать религиозных вопросов: уже здесь писатель говорит о собственном понимании вопросов веры. Но на данном этапе Толстой не берется быть проповедником и учителем: «Какие бы ни были наши будущие отношения, *никогда не будем* говорить о религии и всё, что до нее касается. Вы знаете, что я верующий, но очень может быть, что во многом моя вера расходится с Вашей, и этот вопрос не надо трогать никогда, особенно между людьми, которые хотят любить друг друга. Я радуюсь, глядя на Вас. Религия великое дело, особенно для женщины, и она в Вас есть. Храните ее, никогда не говорите о ней и, не впадая в крайность, исполняйте ее догматы» [Толстой 60: 128].

При описании всех последующих женских образов вопрос веры и религии становится в произведениях Толстого одним из самых сложных: писатель (как будто согласно представленному в вышеуказанном письме своему же пожеланию) часто пытается наделить лучших героинь искренней верой, но во многих его женских образах в большей или меньшей степени отражается собственный взгляд Толстого на религию. Для художественных шедевров писателя не характерны те крайности, которые присутствовали в его публицистических сочинениях, однако Толстому порою не удается избежать авторского присутствия в мышлении и поведении героини. Тем не менее толстовские женские образы, в отличие от персонажей-мужчин, отличаются большей чуткостью. Для них не свойственны сложные аналитические выкладки и размышления, противоречия, они ближе к жизни и всему живому, менее абстрактны.

Обратим внимание на роль религии в жизни Маши. В «Семейном счастье» нет явных следов толстовского искажения православия: чут-

кая и детская вера, которая характерна для героини в пору юности, разумеется, уходит на второй план, когда Маша отдается светской жизни. Но в художественном мире романа важно описание поста, говения, причастия. Несмотря на то, что писатель не сдерживает некоторой иронии в представлении героини, решившей «потрудиться»: «...возвращалась одна пешком... и стараясь найти случай помочь, посоветовать, пожертвовать собой для кого-нибудь, пособить поднять воз, покачать ребенка, дать дорогу и загрязниться» [Толстой 5: 92], — ее вера искренняя. Уже в этом романе мы видим неизменные черты прозрения толстовских героев: Маша осмысляет истинные законы жизни, читая Евангелие (чтение Евангелия многое откроет позднее и главным героям других романов Толстого): «Между службами я читала Евангелие, и все понятнее и понятнее мне становилась эта книга и трогательнее и проще история этой божественной жизни...» [Толстой 5: 92].

И. Ф. Гнусова пишет: «Меняется и концепция героини: обрисовав идеальный образ послушной ученицы, Толстой вдруг заставляет ее изменить себе, увлечься мнимыми идеалами света и в итоге почти оступиться» [Гнусова: 20]. Однако необходимо оговориться и о том, что послушной ученицей Маша оставалась только до тех пор, пока у нее не было выбора между словами супруга и светской жизнью. Сложно согласиться с исследовательницей в том, что герой в «Семейном счастье» становится лишь символом правильного пути: «Понятно, что маркиз Д. также является в романе лишь символом, олицетворением аморальности, пошлости, абсолютного нравственного падения, оттого он предельно, до гротеска, схематичен. В неоднократно подчеркиваемом автором сходстве маркиза с Сергеем Михайловичем также заметна намеренная этическая полярность: два героя, каждый из которых весьма схематичен и не дотягивает до уровня характера, — это лишь заданная схема, два пути для Маши в ее внутреннем поиске себя» [Гнусова: 21]. На самом деле оценивать данное сходство нужно иначе: это не столько схема, сколько внутренняя тяга женщины к мужчине, похожему на мужа. Маша любит Сергея Михалыча, и даже в светской среде она отмечает того, кто похож на дорогого ей человека, связанного в сознании героини с счастьем, которого ей так не хватает в настоящем. В данном случае Толстой очень точно угадывает и подмечает особенность выбора, свойственного в большей степени женщине.

Конечно, писатель уделяет преимущественное внимание душевной и духовной жизни героини, но, как и сам Толстой в переписке с Валерией («...я Вам пишу мои планы о будущем, мои мысли о том, как надо жить, о том, как я понимаю добро и т. д. [Толстой 60: 141]), именно героиня в «Семейном счастье» хранит образ правильного существования.

Эпические мерки, найденные Толстым при создании образа Маши в «Семейном счастье», используются далее и в организации главных женских фигур романа-эпопеи «Война и мир». Лучшие героини Толстого, соотносимые в сложные, переломные для России времена со всей народной жизнью, не идеальны с позиции тех мерок, которые были определены Толстым в письмах к Валерии и в «Семейном счастье». Даже Наташа Ростова, являющаяся нравственным центром не только семьи Ростовых, но и всего русского мира, увлекается и ошибается. Главным искушением героиня Толстого, одновременно показывающим читателю их внутреннюю сущность, в «Войне и мире» вновь является светская жизнь. По сути дела, у толстовской героини всего два выбора: правильная дорога, ведущая к семье, и ложная, полная светских увлечений. И красота, и ум, и внутренняя сила главных женских образов Толстого оцениваются в романе-эпопее в проекции выбранного пути.

Чрезвычайно хороша супруга князя Андрея, которую не портит в начале романа даже ее беременность. Лиза привлекательна, а отдельные особенности лица придают ей собственную, неповторимую красоту. Толстой уже в черновиках задумывал жену Болконского как первую красавицу: мы узнаем, что Андрей Волконский (Болконский) недавно женился «на Lise Мейнен, первой по красоте и богатству невесте Петербурга» [Толстой 13: 175]. В итоговом тексте Лиза описана как «самая обворожительная женщина в Петербурге» [Толстой 9: 9]. Читателю вполне понятен этот выбор Болконского: он женится на первой красавице именно потому, что у него отличный вкус, более того, у Андрея с его тщеславием не может быть некрасивая женщина.

Примечательно также, что в черновых вариантах Болконский женится на Лизе без одобрения отца: вероятнее всего, сугубое пристрастие Лизы к свету и невозможность ее жить вне его слишком расходились с характером гордого и умного князя: «Князь Волконский, узнав ее в Петербурге у своего генерала, где она бывала, влюбился в нее, просил согласия отца и, не получив его, женился на Мейнен к общей радости всех придворных друзей Лизы, а их было много» [Толстой 13: 208].

В окончательном тексте романа старый князь Болконский буквально за несколько фраз составляет впечатление о красивой жене своего сына, которая оживляется исключительно тогда, когда разговор заходит о свете: «Князь спросил ее об отце, и княгиня заговорила и улыбнулась. Он спросил ее об общих знакомых: княгиня еще более оживилась и стала рассказывать, передавая князю поклоны и городские сплетни» [Толстой 9: 125]. Но Толстой избегает описания категоричного и уничижительного отношения старого Болконского ко всем женщинам, бывшего в черновиках: «В его отношениях к невестке заметно было нескрываемое совершенное презрение к ней, как к женщине, то есть, как к вещице, вероятно на что-нибудь годной для его сына и которую потому он готов был соблюсти как можно лучше» [Толстой 13: 261].

Скептическое отношение князя Андрея к жене в романе объясняется не просто гордостью и серьезностью самого Болконского, снисходящего до уровня недалекой Лизы, но ее приверженностью светской жизни. Необходимость смерти Лизы в художественном мире объясняется еще и тупиком, в который зашли ее взаимоотношения с супругом. Если в итоговом тексте эта линия предельных отношений четы Болконских показана пунктиром, то в черновых вариантах присутствует эпизод, в котором диалог Андрея и Лизы напоминает наивысший критический и драматический момент романа «Семейное счастье». Но у Маши в «Семейном счастье» были все шансы для возвращения к правильной жизни, а у Лизы в «Войне и мире» с ее юностью, проведенной в свете, и совершенно иной системой ценностей, таковых шансов не было:

«Что, Andre?» — «Надо, чтоб все это кончилось», — сказал он своим дурным голосом злобно глядя на нее. «Да что, Andre?» <...> — «Я не хочу, чтоб Вы ездили в это глупое общество, где Вы можете встречать всякую дрянь». — «Какое же дурное общество у Annette?» — «Самое гадкое. И я не хочу, чтобы Вы ездили. Слышите?» [Толстой 13: 266–267].

В окончательном тексте романа ко времени первого бала Наташи Ростовой читатель уже не воспринимает фигуру покойной маленькой княгини как контрастную образу Наташи, тем не менее Болконский в этот раз влюбляется не в светскую, а в иную красоту: Толстой подчеркивает, что он встречает девушку, которая не имеет на себе светского отпечатка. В отличие от прелестной Элен, Наташа притягательна имен-

но отсутствием опошляющего и развращающего влияния света. Но повторимся: искушенный и гордый Болконский не смог бы влюбиться в некрасивую девушку; по сравнению с черновыми материалами, Толстой значительно преобразует портрет Наташи (поэтому можно с уверенностью сказать, что все героини в романе, пользующиеся вниманием мужчин, красивы — Наташа, Элен, княгиня Болконская, Соня, m-lle Bourienne). Эпитет «некрасивая», применяемый по отношению к Наташе в итоговом тексте, ситуативен. К примеру, он используется Толстым при описании самого первого, детского портрета героини, но читатель понимает, что Наташа тут еще только девочка. И не случайно, представляя ее, Толстой раскрывает именно облик, фигуру, которая, несомненно, изменится, но избегает точного и подробного изображения лица Наташи, которое он до этого продумывал: «Верхняя часть лица — лоб, брови, глаза — были тонки, сухи и необыкновенно красивы, но губы были слишком толсты и слишком длинен, неправилен подбородок, почти сливавшийся с мощной и слишком сильной по нежности плеч и груди — шеей» [Толстой 13: 626].

В черновиках к роману было также несколько сцен, в которых Толстой показывал читателю прекрасное умение Наташи понимать свет и даже ее стремление скорректировать семейную жизнь Ростовых согласно идеалам *comme il faut*. Так, писатель рассказывал о приезде Ростовых в Петербург: «Все, по ее понятию, было не так. В передней по-московски сидел Фока и вязал чулок, а это не так надо было. Знакомые тоже были всякие, но одевались не так, и тоже были не такие. Где она научилась этому, нельзя было сказать, но у Наташи было в высшей степени чутье на то, что называется *comme il faut*, и она, как муху в молоке, видела всякую мелочь, оскорблявшую ее чувства тщеславия и изящества» [Толстой 13: 696]. С характерной для Наташи чуткостью, она, вероятнее всего, смогла бы сделать наблюдения и над светской жизнью, но Толстой отбрасывает все, что придавало бы Наташе оттенок пустого внешнего лоска и расчетливости. Писатель избегает в итоговом тексте присутствовавших в черновиках Наташиных оценок света с позиции самого светского общества. Особенно яркими они были в сцене бала: «Она все наблюдала: и прически, и мундиры, и отношения людей. По отношениям, взглядам она определяла для себя, кто принадлежал к самому высшему, высшему и среднему обществу, и мысль о том, какое они займут место, занимала ее» [Толстой 13: 717].

Мы видим, как по мере работы над текстом Толстой очищал образ Наташи от лишних отрицательных деталей, в первую очередь касающихся соотношения ее жизни со светским существованием. Являясь одной из лучших и любимых героинь Толстого, Наташа с христианской точки зрения на женщину и будущую мать не идеальна, что особенно хорошо заметно при сопоставлении ее с Марьей Болконской [Полтавец: 30]. А. В. Гулин, сравнивая Машу Миронову из «Капитанской дочки» Пушкина и Наташу Ростову, показывает, что Наташа, как несомненно положительная героиня, не столько отражает тысячелетний идеал русской женщины (как это было в случае с Машей Мироновой), сколько передает предпочтения самого Толстого: «Нравственно совершенный, согласно понятиям писателя, образ Наташи заключал в себе также толстовский идеал прекрасного. Неправильные черты только оттеняли в ней привлекательность вечно естественной жизни, которую сам Толстой находил единственным источником не только нравственности, но и гармонии» [Гулин: 77].

Наташа действительно является одним из центров романа-эпопеи, а Е. Ю. Полтавец справедливо считает, что ее образ нужно оценивать в том числе и в соотношении в фигурой княжны Марьи. Если говорить о женском уме героинь, то им примерно в одинаковой степени наделяет Толстой и Наташу, и Марью Болконскую, некоторый недостаток ума компенсируется в Наташе ее чувствительностью и близостью к жизни, а в Марье — смирением и праведным существованием по православным канонам. Вспомним, что она говорит о своем отце «Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно, как день, и может так заблуждаться?» [Толстой 9: 130]. В вопросах религиозных и в умении переносить одиночество Наташа сильно уступает некрасивой княжне Марье. Конечно, Толстой показывает, что несуразный и отталкивающий внешний вид последней (даже равнодушный Анатолий с сожалением смотрит на княжну: «Бедняга! Чертовски дурна») не дает Марье шансов на обожание мужчин. Марья Болконская не оценивает себя как интересную женщину, не знает и не желает другой жизни, кроме деревенского уединения:

Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам кажется, что мы насквозь видим. «Ты живешь в деревне и не находишь эту жизнь ужасною», — сказал он. «Я другое дело. Что обо

мне говорить! Я не желаю другой жизни, да и не могу желать, потому что не знаю никакой другой жизни...» [Толстой 9: 129].

Но обратим внимание на тот факт, что чуткая и верующая княжна Марья у Толстого не свободна от зависти и предвзятого отношения, которое отчасти является и фамильной чертой всех Болконских. Вспомним первую встречу Наташи и княжны Марьи, когда отец и дочь Ростовы приезжают к Болконским. Княжной Марьей овладевает чувство ревности, с которым она не может справиться: «Княжна Марья не знала, что, прежде чем она увидела свою будущую невестку, она уже была дурно расположена к ней по невольной зависти к ее красоте, молодости и счастью и по ревности к любви своего брата» [Толстой 10: 319–320]. И, несмотря на то что Наташа тоже несколько предвзято оценивает Марью, так как она оскорблена видом милости, оказываемой Ростовым в доме Болконских, читатель все-таки не может не учитывать дважды данную Марье характеристику: «Она казалась ей очень дурной собой, притворной и сухою»; «Когда граф вернулся, Наташа неучтиво обрадовалась ему и заторопилась уезжать: она почти ненавидела в эту минуту эту старую сухую княжну...» [Толстой 10: 321].

Конечно, в художественном мире романа несоизмерима ошибка одинокой княжны Марьи, наивно оценивающей Анатоля — первого приехавшего в Лысые Горы симпатичного мужчину: «Он ей казался добр, храбр, решителен, мужествен и великодушен. Она была убеждена в этом» [Толстой 9: 276], — и Наташи, уже давшей слово Болконскому и увлекшейся Анатодем: «Мне никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. Как ты смеешь говорить, что он неблагороден?» [Толстой 10: 348], но для спасения и Марьи, и Наташи необходимой оказывается внешняя противодействующая сила (старый князь Болконский, открывающий дочери глаза, и Марья Дмитриевна, расстроившая побег Наташи). Толстой показывает, что в заблуждениях героинь немалую роль играет именно светский обман.

«Княжна Марья, вытерпев очередные насмешки, которыми кончатся уроки геометрии с отцом, и заплатив дань французским этикетным формулам в письме своей “поэтической Жюли”, наедине с собою становится точно таким же, как графиня Ростова, глубоко русским человеком, пусть иной душевной природы, но с тою же самой просветленностью, сохраняемой в любых испытаниях» [Зверев, Туниманов:

245]. В окончательном тексте не остается яркого авторского акцента по поводу религиозной жизни в эпизодах, относившихся к княжне Марье. Убирая собственные мысли, Толстой делает героиню без колебаний верующей в правильность церковных догматов. Между тем в черновиках к роману было именно *толстовское* описание молитвы, относимое к Марье: «Все так же *сам с собою* разрешает человек свои сомнения без молитв и на молитве, — но с тою разницей, что на молитве он стоит лицо с лицом с Богом. Хотя *Бог этот и есть он же сам*, но это лучшая часть души человека, которая вызывается такою молитвой. Так молилась теперь княжна Марья» (курсив мой. — В. А.) [Толстой 13: 489].

Наташа Ростова отчасти выражает и толстовские мысли, только даны они в форме ощущений. В итоговом тексте эти чувства и сомнения Наташи описаны гораздо сдержаннее: «Когда молились за царскую фамилию и за синод, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себе, что, ежели она не понимает, она не может сомневаться и все-таки любит правительствующий синод и молится за него» [Толстой 11: 74–75], — нежели в черновиках: «Потом, когда молились за царскую фамилию, она всякий раз преодолевала в себе чувство сомнения: зачем так много молиться за них особенно, и низко кланялась и крестилась, говоря себе, что это — гордость и что и они люди. Также усердно молилась она и за синод, говоря себе, что она также любит и жалеет священствующий правительствующий синод» [Толстой 14: 48]. Уже здесь для Толстого государь — во многом просто грешный человек, образ помазанника Божьего постепенно отходит на второй план. А в романе «Воскресение» (в черновых материалах) Нехлюдов, поражаясь абсурду всей складывающейся в суде ситуации и игре чиновников, портрет государя воспримет не столько с осуждением и иронично, но именно с недоверием, как «портрет человека в странной одежде с орденами, называемого государем» [Толстой 33: 108].

А. В. Гулин отмечает, что «Наташа следовала за словами православного богослужения, вкладывая в них всегда по-толстовски конкретный, осязаемый смысл» [Гулин: 79]. Действительно, Наташа так непосредственно воспринимает многое, что и религиозные догматы она подстраивает под себя. Нельзя не согласиться с рассуждениями А. В. Гулина о некоторой странности Наташиной молитвы. Тем не менее и в эпизодах очаровывания Анатодем, и в храме Наташа отвлекается не просто на внешнее, но на сторонние наблюдения, *светский*

порядок. Как и по отношению к Маше в «Семейном счастье», Толстой не скрывает некоторой иронии к поведению и чувствам Наташи, для которой трепетной радости молитвы предшествует светское наблюдение: «...по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила tenue¹ и неприличный способ креститься рукой на малом пространстве одной близко стоявшей дамы, опять с досадой подумала о том, что про нее судят, что и она судит, и вдруг, услышав звуки службы, ужаснулась своей мерзости, ужаснулась тому, что прежняя чистота опять потеряна ею» [Толстой 11: 73].

Не случайно, по-видимому, Толстой не оставляет бывшее в черновиках «поддумывание» Наташи под слова молитв. Ирония писателя тут была бы слишком явной. И дело не в том, что, как отмечал К. Н. Леонтьев, «психические подсматривания и ненужные наблюдения телесные» разрушают «обще-психическую» [Леонтьев 1911] музыку в романе-эпосе, просто сам процесс «поддумывания» для почти не размышляющей Наташи не характерен.

Наташе и Марье в романе-эпосе противопоставляется красавица Элен, при живом муже умело сохраняющая близость как с молодым иностранным принцем, так и с покровительствующим ей вельможей, занимавшим одну из высших должностей в государстве. Вопрос о временном одиночестве Элен в свете даже не ставится, как и вопрос о ее уме, все в этой женщине оценивается по светским меркам: «То, что показалось бы трудным и даже невозможным для другой женщины, ни разу не заставило задуматься графиню Безухову, недаром, видно, пользовавшуюся репутацией умнейшей женщины. Ежели бы она стала скрывать свои поступки, выпутываться хитростью из неловкого положения, она бы этим самым испортила свое дело, сознав себя виноватою; но Элен, напротив, сразу, как истинно великий человек, который может все то, что хочет, поставила себя в положение правоты, в которую она искренно верила, а всех других в положение виноватости» [Толстой 11: 282]. Все светское однозначно отрицательно воспринимается Толстым, красота и ум Элен — самые выгодные средства для наилучшей игры. Уместно привести в данном случае еще одну цитату из сочинения Св. Феофана Затворника, открывающую обман падшей жизни: «Тут причина того, что всякий хочет навязать свои желания на другого или связать его ими, что назвали Вы очень метко тиранством.

¹ Манеру держаться.

Уж как ни скрашивает кто своих желаний, назади всего стоит эгоизм, желающий повернуть Вас по-своему или сделать вас средством. Тут причина и лицедейства, суть которого есть напряженное ухищрение всячески прятать свои дурные стороны, не исправляя их; иначе пресечется влияние на других и, следовательно, пользование ими как средствами» [Св. Феофан: 11].

Союз Пьера и Наташи в финале выгодно отличается от семьи Николая и Марьи: писатель демонстрирует, что очень многое держится именно на женщине, ее желании и способности понимать мужа. Но изменяется и героиня Толстого. Если юную Ростову можно соотносить с образцовой девушкой Толстого, то Наташа в финале романа-эпопеи — это образ матери, забывающей себя ради детей и мужа. Ни Наташа, ни Пьер — не идеальные герои, но их семья, дом становятся, как справедливо отмечают исследователи, примером: «Идиллические мотивы, доминантные в линии Ростовых, у Толстого носят программный характер, отвечая представлениям писателя об *идеальном русском доме*» [Нагина: 22]. Правильнее будет сказать, что жизнь не может быть идиллией на всем ее протяжении. У Толстого всегда был пример высокого образца желаемой им семейной жизни, который ощущается и во всех его романах, однако, как точно отметил С. Г. Бочаров, «в “Войне и мире” много счастья, тепла, уюта, но даже самые полнокровно-счастливые сцены в ней — не идиллии» [Бочаров: 20].

Подчинение Пьера не столько жене, сколько семье и установленным ею порядкам описано Толстым несколько иронично. Толстовское «не смел», звучащее рефреном, не открывает читателю, насколько хотелось Пьеру того, что оказалось запрещенным: «Подвластность Пьера заключалась в том, что он *не смел* не только ухаживать, но *не смел* с улыбкой говорить с другой женщиной, *не смел* ездить в клубы на обеды так, для того чтобы провести время, *не смел* расходовать денег для прихоти, *не смел* уезжать на долгие сроки, исключая как по делам, в число которых жена включала и его занятия науками, в которых она ничего не понимала, но которым она приписывала большую важность» (курсив мой. — В. А.) [Толстой 12: 269]. И это описание запретов дано еще и после замечания о том, что Наташа опустила и ревновала Пьера ко всем (красивым и некрасивым) женщинам. Становится ясно, что система ограничений, созданная для Пьера, направлена против его увлечения светской жизнью: Наташа, пережившая светское искушение,

расставание с Болконским, осознает необходимость создания обороны для своего маленького мира.

В описании самостоятельного кормления Наташей грудных детей, ее поведения по отношению к мужу много личного для самого писателя: Толстой тут использовал отчасти опыт и своей семейной жизни с Софьей Андреевной. В окончательном тексте писатель не оставил страстных восклицаний Наташи, которая в черновых материалах к роману кричала: «Мужа!» «Мужа!». Эти возгласы звучали бы из уст поэтической Наташи слишком вызывающе, поскольку читатель, не ведающий финала романа, ретроспективно не мог еще понять ее огромного желания иметь семью. Настоящая семья, по мнению Толстого, лучшее укрытие от пустого и выхолаживающего душу светского образа жизни. Однако необходимо учитывать и логику некоторого саморазвития образа Ростовской. «Главное в личности толстовских героинь (Наташа, Кити, Анна) — это страстное жизнелюбие, исключительная сосредоточенность на интимных переживаниях, одновременно сила внутренней моральной отзывчивости», — отметила Е. Н. Купреянова [Купреянова: 146]. И в силу своего характера, Наташа, которая чуждается любых рассуждений и аналитики, отдает себя полностью семье. «Гр. Толстой от себя хвалит Наташу за то, что она, вышедши замуж, вовсе перестала заботиться о своей наружности; но читатель не обязан соглашаться с ним в этом; читатель вынужден только признать и на этот раз, до чего сила таланта сумела и в этом последнем и неряшливом фазисе развития любимой героини сделать ее симпатичной и занимательной!» — отметил К. Н. Леонтьев [Леонтьев 1911]. Критик в данном случае приближается к пониманию того, что развитие образа требовало этого «фазиса», однако Леонтьев направляет читательское мнение в другую сторону. Для него потеря Наташей поэтической и светской легкости была явным признаком изменения героини в худшую сторону. Однако женский идеал Толстого не был, как мы уже отметили, однозначен. Наташу в финале романа писателю было необходимо противопоставить маленькой княгине Болконской, которая, собираясь рожать, при появлении Анатоля в Лысых Горах, «как старая полковая лошадь», быстро вернулась к своим светским привычкам. Вспомним своеобразный идеал Толстого умственно и духовно развитой женщины, описанный им в письме к Валерии Арсеньевой: «Помогай Вам Бог, мой голубчик, идите вперед, любите, любите не одного меня, а весь мир Божий, людей, при-

роду, музыку, поэзию и все, что в нем есть прелестного, и развивайтесь умом, чтобы уметь понимать вещи, которые достойны любви на свете. Хотя, что я скажу, нейдет вовсе к нашему разговору, но вот еще великая причина, по которой женщина должна развиваться. Кроме того, что назначенье женщины быть матерью, а чтоб быть *матерью*, а не *маткой* (понимаете Вы это различие?), нужно развитие» [Толстой 60: 122]. Конечно, Наташа, с ее естественным чувством жизни, многое понимает не умом, но образ «сильной, красивой и плодovitой самки» [Толстой 12: 266] потому только и хорош, что Наташа — это своего рода исключение, духовное развитие героини обуславливается ее чуткостью к жизни.

Б. М. Эйхенбаум отметил, что «от “Семейного счастья” Толстой перешел к “Войне и миру”, с тем, чтобы установить самую наличность этих нитей между исторической и частной жизнью. Теперь, потерпев неудачу в попытках связать эти нити в один исторический узел, он возвращается к семейному материалу, решив заменить тему “семейного счастья” темой семейного несчастья» [Эйхенбаум: 112]. Конечно, все гораздо сложнее, темы Толстой не заменял: семейное счастье и несчастье, как равно и человеческое счастье и несчастье у него сосуществуют в художественных мирах произведений. Интересно, что система запретов, созданная Наташей в финале «Войны и мира» и направленная на удержание правильной жизни Пьера, не используется в «Анне Карениной» Долли, не прошедшей школу светских увлечений, выданной замуж наивной девочкой и долгое время не понимавшей, что у мужа могут быть связи на стороне.

Анна и Кити не только красивы, но и отличаются пониманием жизни, наблюдательностью, женским умом. Хотя красивы героини тоже по-разному. Красота Анны — страстная, наделенная притягательной силой запрета, чувственная, а красота Кити во многом заключается в нежности, гармоничности и, конечно, идеализируется Левиным. Анна немало занимается, особенно в деревне: «Она выписывала все те книги, о которых с похвалой упоминалось в получаемых ею иностранных газетах и журналах...» [Толстой 19: 219]. И не случайно Толстой делает Анну особенно притягательной, значительно преображая ее несколько отталкивающий облик, данный в черновиках, где она была, как отмечал автор, «парой Каренину»: «Толстая так, что еще немного, и она стала бы уродлива. Если бы только не огромные черные ресницы, укра-

шавшие ее серые глаза, черные огромные волосы, красившие лоб, и не стройность стана и грациозность движений, как у брата, и крошечные ручки и ножки, она была бы дурна» [Толстой 20: 18]. Без прекрасной внешности Анна не смогла бы стать одним из центров светского общества, героиней, о которой говорят и которой завидуют. Более того, Анна Каренина в течение часа покоряет и Левина, буквально влюбляющегося в нее. Но покоряет она его не просто внешней красотой или умом, хотя и тем, и другим Анна обладает. Толстой демонстрирует, что Левин отмечает ум и справедливость сказанных Анной слов: «Всякое слово в разговоре с нею получало особенное значение. И говорить с ней было приятно, еще приятнее было слушать ее. Анна говорила не только естественно, умно, но умно и небрежно, не приписывая никакой цены своим мыслям, а придавая большую цену мыслям собеседника» [Толстой 19: 275]. Производимое Анной впечатление в целом примечательно: мужчины восхищаются ею. И по фразе забывшегося Левина, упорно глядящего на красивое лицо Анны: «Да, да, вот женщина!» [Толстой 19: 276], — читатель понимает, что главный герой Толстого оценивает Анну гораздо выше всех знакомых ему женщин, в том числе и Кити. Очень важная особенность отделяет Анну от всей той светской жизни, без которой она не представляет возможным свое существование, — это *искренность*. «И Левин увидал еще новую черту в этой так необыкновенно понравившейся ему женщине. Кроме ума, грации, красоты, в ней была правдивость. Она от него не хотела скрывать всей тяжести своего положения» [Толстой 19: 278]. Если не считать светской дамой Наташу Ростову, то с уверенностью можно сказать, что Анна Каренина — единственная во всех романах Толстого светская женщина, которой тягостно притворство.

В черновых материалах к «Анне Карениной» Толстой планировал другое, не семейное начало, изображавшее утро в доме Облонских: роман начинался с разговора в светской гостиной (эти первоначальные сцены позднее были использованы писателем для построения эпизодов диалога и крокета у Бетси Тверской). Организуя «светское» начало романа, Толстой во многом ориентировался на находки А. С. Пушкина, на его Вольскую и Минского из отрывка «Гости съезжались на дачу...». Напомним, что в отрывке Пушкина на первый план выходила тема противопоставления древнего русского дворянства и новой аристократии, заменившей честное служение Отечеству и государю, честь и

долг на светские увлечения и иллюзию деятельности. У Пушкина значимые моменты истории Вольской и судьбы Минского определяются именно светскими законами и нормами, вынуждающими героев подстраиваться под условности.

Исследователи творчества Толстого не раз отмечали, цитируя слова С. А. Толстой, что писатель достаточно внезапно увлекся чтением Пушкина и задумал роман из современной жизни [Гудзий: 577]. Нередко упоминаемые слова С. А. Толстой сейчас прочитываются не так внимательно, между тем в них заключалась первоначальная концепция образа: Анна должна была стать *центром* произведения, а задача писателя состояла в иллюстрации ошибки и заблуждения героини, но не обвинения ее: «Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины» [Толстая: 32]. Вспомним размышления Левина после единственной встречи с Анной, которая успела его очаровать: «Какая удивительная, милая и жалкая женщина»; а Стиве вслух он говорит: «Необыкновенная женщина! Не то что умна, но сердечная удивительно. Ужасно жалко ее» [Толстой 19: 279].

Разумеется, возникший у Толстого во многом вслед за Пушкиным сюжет об ошибающейся женщине из высшего света появился в русле давно продумываемой и разрабатываемой им системы противопоставления двух жизненных линий. Творческое освоение Толстым пушкинских кратких набросков и в целом осмысленного именно во время замысла «Анны Карениной» пушкинского принципа изображения душевной жизни замечательно показала Л. Д. Громова в статье «Многому я учусь у Пушкина» [Громова]. Толстой отмечает не просто сатирическое направление разговора, но злость, которой пронизаны все взаимоотношения людей в свете, — а ведь отсюда уже один шаг до той «борьбы за существование», о которой вспоминает Анна в финальном внутреннем монологе: «Да, про то, что говорит Яшвин: борьба за существование и ненависть — одно, что связывает людей» [Толстой 19: 342].

В художественном мире романа ни один из героев не избегает странных и предвзятых оценок других персонажей, но сам Толстой полностью принимает точку зрения, которая заявлена в эпиграфе. Отсутствие прямого суда над светской жизнью объясняется именно тем, что она организована и поддерживается людьми (которые не могут быть су-

димы другими), более того, сама Анна видит свою жизнь только в свете и именно по светским меркам оценивает Вронского. Страсть Анны не то что невозможна вне света, героиня уже просто не может представить несветскую жизнь, поэтому приходит со своим ярким чувством в общество Бетси Тверской. Примечательно, что Толстой многократно подчеркивает нерусский стиль и образ жизни общества, которое удаляется от основ национальной жизни: «Когда Анна покидает кружок графини Лидии и тем самым бежит от царящего там притворства, она сразу попадает в другой салон — салон княгини Бетси, где ее опять встречает “английский” дух, хотя и совершенно иной. Модная религия (иностраные проповедники, спиритизм) там заменена модными отношениями между полами», — отмечает Б. Леннквист [Леннквист: 53].

В статье «Анализ, стиль и веяние. (О романах гр. Л. Н. Толстого)» К. Н. Леонтьев, большой ценитель светской жизни, находивший в ней особые содержание и эстетику, с радостью отмечает, что Толстой превзошел сам себя (как автора «Войны и мира») в описании светского круга в «Анне Карениной». Леонтьев отмечает тонкое и понимающее описание Толстым светской жизни: «Ни желчи, ни злобы, ни придинок, а просто сама жизнь со всею полнотой ее и с тем равновесием зла и добра, которое доступно в ней чувству здравомыслящего человека. Этот Гончаровский почти “елейный”, тонкий и добрый характер комизма, юмора или насмешки в приложении к жизни круга высшего и богатого — в нашей литературе совершенная новость» [Леонтьев 1911]. Однако, как бы ни хотелось критику видеть добрый комизм по отношению к свету, в романе «Анна Каренина» его нет. Прямого и яркого обличения тех или иных героев светского общества, характерного для романа «Воскресение» (вспомним хотя бы сцену разговора Нехлюдова с Топоровым, когда герой сначала прячет руки за спину, чтобы не пожимать руку Топорова (так было в черновиках к роману), а потом жалеет, что поздоровался с ним и даже открыто называет его негодяем), в «Анне Карениной» мы, конечно не найдем, но и елейного, приемлющего юмора также. Этим светлым юмором у Толстого наполнены главы, посвященные жизни Левина, но точно не светского круга. Леонтьев выстраивал тут свою линию, которая не имела достаточных оснований. По мнению критика, в «Анне Карениной» Толстой освободился полностью от обличительного, гоголевского направления, которое для Леонтьева синонимично натуральной школе.

Тут видны сразу два своеобразных искажения Леонтьева. Одно касается принадлежности Гоголя к натуральной школе и предвзятой оценки его творчества, второе искажение связано с самим Толстым: использование писателем подробностей, которые так резали Леонтьеву слух, не уменьшается, а даже увеличивается в романе «Анна Каренина» в связи с тем, что изобразительная сила толстовского реализма уступает место силе выразительной. И Леонтьев, ослепленный прелестями высшего света, не замечает глубоко скептического отношения Толстого к внешнему блеску, придворным интригам и бегству за местами и почестями. Толстой, который, по мнению Леонтьева, постепенно находил образы все более изящные, за счет многочисленных поэтических соответствий открывал как раз пошлость и пустоту этой изящности, утратившей связь с чуткостью и душевностью, ставшей мертвенной и холодной. Вспомним хотя бы характеристику далекого от светского блеска и равнодушного к нему Алексея Александровича Каренина, которую он дает одновременно и Бетси, и обществу, и самому себе, подчеркивая при этом демоническую силу: «Я очень благодарю вас за ваше доверие, но...» — сказал он, с смущением и досадой чувствуя, что то, что он легко и ясно мог решить сам с собою, он не может обсуждать при княгине Тверской, представлявшейся ему олицетворением той грубой силы, которая должна была руководить его жизнью в глазах света и мешала ему отдаваться своему чувству любви и прощения» [Толстой 18: 445].

Урок Пушкина не прошел для Толстого даром: сатирический оттенок в изображении света писателем максимально приглушается, а все герои оказываются перед выбором: одиночество или светский шум, труд или имитация деятельности, вера и религия или светский эгоизм и скрытая ненависть к окружающим. Писатель избегает прямой оценки действий героев, но за толстовской объективностью, о которой, кстати, пишет Леонтьев, скрывается не новая манера, полностью лишенная, как отметил критик, «натуралистических вывертов», а признание писателем особой и художественной, и жизненной ценностью отсутствие фальши, честность перед собой и всеми окружающими.

Еще в письмах к Валерии Арсеньевой Толстой делил свет на разные части, отмечая пагубность общения с уездными и столичными высокими собраниями, но подчеркивая необходимость поддержания связи с интеллигенцией. Не случайно в романе «Анна Каренина» Тол-

стой уделяет большое внимание описанию светских правил Вронского, некоторой дикости Левина, чуждающегося ярких мероприятий, а также подразделениям петербургского высшего света: «Анна Аркадьевна Каренина имела друзей и тесные связи в трех различных кругах. Один круг был служебный, официальный круг ее мужа, состоявший из его сослуживцев и подчиненных... Другой близкий Анне кружок — это был тот, через который Алексей Александрович сделал свою карьеру. <...> Это был кружок старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых мужчин. <...> Третий круг, наконец, где она имела связи, был, собственно, свет, — свет балов, обедов, блестящих туалетов, державшийся одной рукой за двор, чтобы не спуститься до полусвета» [Толстой 18: 134].

Толстой не скрывает недостатков и первых двух кругов, но резко противопоставляет искренней и честной жизни именно последний, с которым Анна чрезвычайно сблизилась после поездки в Москву. Леонтьев, искавший в литературе привлекательности именно этого светского и лучшего, по его мнению, общества, не разглядел в «Анне Карениной» глубинных основ кризиса героини. По сути дела, в романе Леонтьев переворачивает с ног на голову толстовское понимание ценности аристократии, идущее еще от Пушкина. Толстой вслед за Пушкиным противопоставляет настоящему дворянству новую аристократию — тот самый мир балов и приемов, который был дорог Леонтьеву, восхищавшемуся внешней красотой. Уместно в данном случае вспомнить восхищение Леонтьева Вронским: «Больше всех от гоголевского одностороннего принижения жизни освободился, я говорю все-таки, он же — Лев Толстой — и дорос сперва до военных героев 12-го года, а потом и просто-напросто до современного нам флигель-адъютанта — Алексея Кирилловича Вронского», — писал Леонтьев в статье «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой» [Леонтьев 1996: 462]. Превознося Вронского — лучшего, по его мнению, героя романа, — Леонтьев не замечает разоблачаемой писателем пошлости.

Аналитическое изучение черновиков романа, особенно образа светской жизни и сопоставление их с окончательным текстом открывает, что Толстой исключил все эпизоды и большинство намеков, которые в начале произведения должны были сразу дать читателю ключ для разгадки страшного финала искренней толстовской героини. Уже в первых черновых материалах писатель указывал на жизнь Балашо-

ва (Вронского) и его жены (в будущем Анны Карениной, слово «жена» даже выделено Толстым курсивом) и их сознательное избрание не того пути: «Балашев вышел в отставку и не знал, что с собой делать. Он был за границей, жил в Москве, в Петербурге, *только не жил в деревне, где только ему можно и должно было жить*. Их обоих свет притягивал, как ночных бабочек. Они искали — умно, тонко, осторожно — признания себя такими же, как другие. Но именно от тех-то, от кого им нужно было это признание, они не находили его». «... им не нужно было одобрения этих добродетельных свободомыслящих людей, а нужно было одобрение так называемого пошлого света, куда их не принимали» (курсив мой. — В. А.) [Толстой 20: 43–44]. Под «пошлым светом» понимается Толстым прежде всего третий круг, указанный выше. Эти несколько концептуальных фраз в ранних черновых материалах становятся своеобразной программой всего романа.

Особенно примечательно указание на деревню, которая для Толстого ассоциировалась и с трудом, и с необходимым уединением. Исследователи творчества Толстого не раз отмечали, что одним их основных принципов построения в его романах является принцип контраста — ключевой в следующем романе «Воскресение». Именно этот принцип во многом и позволил писателю представить эпическую картину жизни с ее крайностями, полюсами, с возможностью выбора героями. И. Ю. Лученецкая-Бурдина точно отметила, что «создавая художественную модель мира, Толстой выстраивает образный ряд романа на контрастах, в его терминологии — “законе сцепления противоречий”» [Лученецкая-Бурдина: 220]. Сопряженность сюжетных линий Анны и Левина определяется тем, что обе они подчинены общим законам. Только постепенно идущий к вере, сомневающийся Левин находит поддержку, а Анна растрчивает последние силы.

Обратим внимание, что Вронский и Анна, а тем более Анна, остающаяся без Вронского, не могут выносить одиночества, под которым они понимают жизнь вне света. Указание на эту беду героев было продумано Толстым также еще в самых ранних набросках к роману: «Он не мог не ездить в клубы, в свет, и *жена ревновала, мучалась, хотела ехать в театр, в концерт и мучалась еще больше*. Она была умна и ловка и, чтоб спасти себя от одиночества, придумывала и пыталась разные выходы» [Толстой 20: 44]. В окончательном тексте развернутое описание деревенской жизни Анны и Вронского раскрывает страшный парадокс:

им мало любви друг к другу, мало достатка, здоровья и совместного ребенка, на которые указывает Толстой. Обоим героям, выросшим в свете, нужно внимание с его стороны: «Было между ними решено, что они никуда не поедут; но оба чувствовали, чем дольше они жили одни, в особенности осенью и без гостей, что они не выдержат этой жизни и что придется изменить ее» [Толстой 19: 219].

В черновиках к роману гораздо более подробно обсуждался вопрос об образовании и правах женщин, в котором принимали участие Левины, Облонские и гости Стивы [Толстой 20: 343–348]. Но этот модный в 1870-е гг. вопрос у Толстого не является центром романа, а Анна, как получается при внимательном рассмотрении, и не жаждет свободы. Анна ждет понимания и любви, но, находя их во Вронском, не может сохранить чутких взаимоотношений с ним именно потому, что живет по законам света. «Анна сталкивается с тем, что, уходя от государственного чиновника Каренина, принимающего за жизнь лишь бледные отражения ее, она сталкивается с человеческой нечуткостью аристократа Вронского, остающегося дилетантом и в живописи, и в хозяйственных начинаниях, и в любви», — отмечает Ю. В. Лебедев [Лебедев: 41]. Однако именно в сердце Анны под влиянием светских эгоистических законов постепенно угасает любовь. Сначала Анна сторонится круга мужа — «круга правительственных, мужских интересов», который ей, как умной женщине, мог дать и основу для занятий, и духовный рост. Потом Анна сторонится хозяйственных дел в имении Вронского: она сравнивается с уничижительно представляемым светским балагуром Васенькой Весловским, между тем как Вронский, по наблюдениям чуткой Долли, знающей толк в бытовых трудностях, становится неплохим хозяином: «Дарья же Александровна знала, что само собой не бывает даже кашки к завтраку детям и что потому при таком сложном и прекрасном устройстве должно было быть положено чье-нибудь усиленное внимание. И по взгляду Алексея Кирилловича, как он оглядел стол, и как сделал знак головой дворецкому, и как предложил Дарье Александровне выбор между ботвиньей и супом, она поняла, что все делается и поддерживается заботами самого хозяина. От Анны, очевидно, зависело все это не более, как от Весловского. Она, Свяжский, княжна и Весловский были одинаково гости, весело пользующиеся тем, что для них было приготовлено» [Толстой 19: 205].

Конечно, в данном случае можно вспомнить, что усадьба Вронского по контрасту соотносится в романе с поместьем Левина. Но, помимо отрицательного смысла мотива механизации, характерного для описания жизни в Воздвиженском, повествователем отмечается и широкий размах строительной деятельности, и особый четкий распорядок работ, и так несвойственная многим русским поместьям чистота и аккуратность, которые во многом были заслугой именно хозяина Вронского. По воспоминаниям С. Л. Толстого, отношение писателя к усадьбе, явившейся жизненной основой для изображения Воздвиженского, было также двойственным: «Толстой бывал в нескольких богатых усадьбах, похожих на усадьбу Вронского. Больше других на нее похожи усадьба П. П. Новосильцева в селе Воине Мценского уезда, и усадьба графа А. П. Бобринского в Богородицке. Про усадьбу Новосильцева Лев Николаевич писал в 1865 г. жене: «...все для изящества и тщеславия, — парки, беседки, пруды, points de vue¹ и очень хорошо» [Толстой С. Л.: 584].

В том, что Анна в романе чуждается во многом женского терпеливого и скрупулезного труда, связанного с домом и бытом, к которому готовится и привыкает в романе Кити, также заключается отдаление героини от идеала матери и хозяйки. Но в художественном мире это поведение Анны хоть и воспринимается в негативном ключе, оно все-таки не делает меньше толстовскую и читательскую симпатию к Анне. А. Ш. Тхостов пронизательно отметил, что толстовское желание обличить Анну (вместе со всем светским обществом), постепенно начинает заменяться *сочувствием героине* (именно Анне, а не обществу, в котором она пребывает): «В окончательном варианте она становится одной из самых обаятельных литературных героинь, настолько обаятельных, что читатель как-то утрачивает реальность восприятия ситуации романа. Создается такая абберация восприятия, что двусмысленность ситуации Анны Карениной не очевидна даже для самого пронизательного читателя» [Тхостов: 70]. Красота и сила страсти Карениной, осознающей свою неправоту, но жертвующей всем ради любви, делают ее в глазах читателя не уступающей поэтической, но скромной Кити и уж тем более хозяйственной, но измученной детьми, постаревшей Долли. Толстой ни в коем случае не оправдывает Анну, но при этом не только не винит ее, но и максимально преумножает силу притягательности

¹ Виды на ландшафт (франц.).

героини: «Строго говоря, Анна для Толстого — блудница, и он почти в точности воспроизводит оппозицию мадонна — блудница между Кити и Анной, дополнив ее земной женщиной — Долли. Сама по себе блудница достойна только осуждения, это для Толстого не героиня, способная вызвать сочувствие. В Анне же сходитесь и привлекательная страсть, и сочувствие, которое она обретает благодаря своему страданию» [Тхостов: 79].

Нельзя не учитывать того факта, что не только при описании Кити и Долли, но и при описании Анны Толстой использовал опыт собственной семейной жизни и отдельные эпизоды из жизни Софьи Андреевны: даже эта частичная связь героини с образом жены Толстого позволяет говорить об особом положении Анны, дорогой самому автору. По словам С. Л. Толстого, «в Кити можно найти много черт, общих с молодой Софьей Андреевной», а «родильная горячка Анны напоминает родильную горячку, бывшую у Софьи Андреевны после рождения ее дочери Марии (12 февраля 1871 г.). После болезни ей, так же, как Анне, обрили голову, во избежание падения волос; пока волосы не отросли, она носила чепчик» [Толстой С. Л.: 572; 582]. При этом своеобразным компасом для ориентирующегося читателя, удерживающим его от поклонения исключительно внешней красоте, оказывается религиозно-философская основа сюжетной линии Анны. Так, А. Н. Ужанков отмечает, что Лев Толстой был знаком «с учением о развитии греха (страсти) в изложении преп. Иоанна Лествичника и преп. Филофея Синайского, и, со значительной долей вероятности, можно утверждать, использовал именно его в качестве духовного основания для создания образа Анны Карениной» [Ужанков: 90].

Разница между «правильными» отношениями Левина и Кити и «неправильными» Анны и Вронского очень хорошо ощущается на основании анализа ссор героев. Парадоксально, но размолвки Левиных сближают их, помогают каждому осознать ценность другого: «Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам» [Толстой 19: 50]. Почти то же самое происходит с Кити: она не только осознает свою вину, но и становится еще нежнее. В отношениях Анны и Вронского все портит эгоизм (кото-

рый сродни эгоизму света), причем в этой паре не для мужчины, а для женщины оказывается свойственным чрезмерное чувство собственности: «Мотив “мое положение” вытесняет в ней всякое желание понять “положение” Вронского, для него тоже очень трудное. Ей во всем, что остается за пределами “любовного кругозора”, видится угроза любви и источник ревности; безмерно страдая, она винит и Вронского, и Каренина, но никогда не винит себя» [Реуцкая: 67].

Наконец, важнейшей причиной гибели Анны является ее неверие, приводящее героиню к полному одиночеству. В одном из ранних черновых набросков к роману к Татьяне Сергеевне (будущей Анне) приходил бывший муж, Михаил Михайлович, который каялся перед ней в нечуткости и говорил о Спасителе. Татьяна Сергеевна потом заявила Балашову (будущему Вронскому), что ее бывший муж приходил как духовник и сказал: «Но верьте, что без религии, без надежд на то, чего мы не понимаем, и жить нельзя. Надо жертвовать собой для Него, и тогда счастье в нас; живите для других, забудьте себя — для кого — Вы сами узнаете — для детей, для Него, и Вы будете счастливы» [Толстой 20: 46]. Это именно тот образ жизни для другого, о котором когда-то говорил Толстой Валерии Арсеньевой, а в «Семейном счастье» Михаил Сергеевич — Маше.

Но этих слов Анне никто не сказал, а условия жизни давно заслонили для нее детские и девичьи воспоминания, промелькнувшие вспышкой уже перед гибелью. В финале романа Анна страстно жаждет наказать Вронского. В состоянии помрачения и аффекта она фактически идет навстречу своей гибели. Каренина, сама того не понимая, начинает ревновать Вронского не к какой-либо одной женщине или даже нескольким, но ко всему светскому обществу, забирающему у нее любимого мужчину: «Для нее весь он, со всеми его привычками, мыслями, желаниями, со всем его душевным и физическим складом, был одно — любовь к женщинам, и эта любовь, которая, по ее чувству, должна была быть вся сосредоточена на ней одной, любовь эта уменьшалась; следовательно, по ее рассуждению, он должен был часть любви перенести на других или на другую женщину, — и она ревновала» [Толстой 19: 318].

Исследователи уже обратили внимание на тот факт, что Анна, желая забыться, уставая от своих тяжелых мыслей, принимает опиум. И до Карениной в художественном мире романа упоминается это нарко-

тическое вещество, но в связи с необходимостью ослабления страданий умирающего Николая Левина или болевых ощущений рожаящей Кити. Про Анну Толстой замечает следующее: «Когда она налила себе обычный прием опиума...» [Толстой 19: 331]: эта фраза показывает, что героиня уже фактически находится в физиологической зависимости. К. В. Безчасный констатирует, что состояние Анны не могло не характеризоваться изменением сознания, «для которого характерны искаженные восприятия действительности и человеческих взаимоотношений»: «Приемы наркотических препаратов усилили депрессию и суицидальное настроение главной героини. <...> В тексте романа существуют косвенные доказательства того, что у Анны Карениной постепенно стала формироваться наркотическая зависимость. Морфин и опиум усугубили отрицательные качества личности героини: появились злоба, раздражительность, гневливость, склонность к резким перепадам настроения, появились трудности при концентрации внимания» [Безчасный: 111].

Причем читатель романа, несмотря на явные слабости, промахи и ошибки Анны, на ее нечуткое отношение к Вронскому, продолжает оправдывать героиню. Между тем именно среда, где оказывается Анна, — светский мир, в котором героиня в финале романа так жаждет быть полноправной участницей, замыкает для Анны круг сумасшествия. Уместно в данном случае обратиться еще к одной цитате св. Феофана, называющего светское времяпрепровождение жизнью падшего человечества, одолеваемого эгоизмом, стремящегося любыми способами спрятать свои негативные стороны. Как показывает Святой, грешное общество втягивает в свои ряды новых жертв: жизнь света с самого начала кажется ошибочно притягательной. Не случайно появляется и пример с *опиумом* и мотив *сумасшествия*: «Жизнь, которой частичку Вы видели, имеет одуряющее свойство: так что и видят, что все это не то, а все тянутся, как привыкший к опиуму знает, что будет как сумасшедший, а все принимает его или потому и принимает» [Св. Феофан: 7].

Мотив сумасшествия достаточно ярко реализован в окончательном тексте романа, он используется более всего для иллюстрации странных, выходящих за пределы нормальной жизни ощущений героев. Так, Вронский, сопровождающий принца, чувствует себя как бы приставленным к опасному сумасшедшему. Этот же мотив увидим мы и в сцене попыт-

ки самоубийства Вронского. Примечательно, что еще в ранних черновых материалах к роману Анна, навсегда уходящая из дома, оставляла Вронскому записку. «Она ушла. Он сел в столовой, выпил вина, с свечей пошел к ней, ее не было. Записка: “Будь счастлив. Я сумасшедшая”» [Толстой 20: 46]. В окончательном тексте такой самохарактеристики героини остаться не могло, поскольку, во-первых, как мы уже говорили, все обобщенные и слишком прямолинейные оценки были Толстым отложены, во-вторых, Анна просто не могла трезво оценить своего состояния. Постепенно охватывающее ее помрачение очень хорошо заметно в диалогах с Вронским, которые в седьмой части романа представляют своеобразную драму в составе эпического романа, каждый эпизод которой ускоряет общее действие, приближая героиню к концу. Толстой наглядно демонстрирует, что вина за непонимание Анной и Вронским друг друга лежит на женщине, не слышащей интонаций героя: «Живя своей специфической внутренней жизнью, Каренина домысливает слова и события, которых объективно не существовало и не существует, погружаясь в моделируемый ею мир и постепенно теряя чувство реальности» [Волобуева: 211]. От природы чуткая Анна такой сама по себе стать не могла, но, принимая «одуряющие» вещества, она достаточно быстро оказывается именно в светской колее.

В художественном мире романа образ Анны и ее выбор искреннего чувства привлекает смелостью даже Долли, которая навещает и поддерживает Анну: «И хотя поддержка Долли открыто проявляется только в этом ее действии, на самом деле, она всем сердцем понимает Анну, принимает ее поступок — попытку сломать светские условности, отстаивать свою любовь и бороться за свое счастье» [Бугович: 90]. Несмотря на важность семейной темы в романе, Толстой не раз показывает, что счастье женщины не ограничивается домом и детьми, первоначально тут — понимание и любовь мужчины. «Я бы могла любить и быть любима по-настоящему», — говорит сама себе Долли по пути к Карениной [Толстой 19: 182], вспоминая мужчин, которые были внимательны к ней. И Кити, готовясь быть одновременно «женой мужа, хозяйкой дома», «носить, кормить и воспитывать детей», готовясь к этому «страшному труду», не упрекает себя в «минутах беззаботности и счастья любви» [Толстой 19: 55].

Как может показаться на первый взгляд, в следующем своем романе «Воскресение» Толстой не представляет неизменно существовавшего

в художественных мирах предыдущих произведений образа женщины-матери и хозяйки. Действительно, в романе нет подробного описания героинь, подобных Наташе Ростовой из финальных глав «Войны и мира», а также Долли Облонской. Но, несмотря на широту и множество социально-политических вопросов, поднятых в произведении, Толстой не изменяет себе и своему идеалу матери (пусть и несколько теряющемуся на фоне других героинь). В «Воскресении» образ подобной женщины — дочери сибирского генерала — появляется уже в самом конце романа, причем писатель отмечает, что свое счастье ей приходится отстаивать немалыми усилиями. И здесь Толстой не упускает возможности показать контраст пустоты светской жизни и честного и трудового пути. Старшее поколение, генерал и особенно его супруга, старается максимально поддерживать роскошь обстановки, которую Нехлюдов сразу чувствует, как и приятную лесть уже пожилой хозяйки, «петербургской старого завета grand dame, бывшей фрейлины николаевского двора» [Толстой 32: 427]. И хотя эта обстановка с ее удовольствиями и внешней красотой Нехлюдова очень притягивает, герою более всего приятно общение с дочерью генерала и ее мужем — молодой семьей, похожей у Толстого на дорогие ему союзы Наташи и Пьера, Левина и Кити: «Дочь эта была некрасивая, простодушная молодая женщина, вся поглощенная своими первыми двумя детьми; муж ее, за которого она после долгой борьбы с родителями вышла по любви, либеральный кандидат московского университета, скромный и умный, служил и занимался статистикой, в особенности инородцами, которых он изучал, любил и старался спасти от вымирания» [Толстой 32: 428].

Женские образы романа «Воскресение», с одной стороны, связаны со всей системой обличений «позднего» Толстого, с другой стороны, отражают единый и неизменный взгляд писателя, обозначенный им еще в письмах к Валерии Арсеньевой. Так, рассуждая о месте женщины в семье и вероятности появления каких-то новых семейных форм, 5 августа 1895 г. Толстой, как и в более ранние годы, отмечает: «Был разговор о семейной жизни. Я говорил, что хорошая семейная жизнь возможна только при сознанном, воспитанном в женщинах убеждении в необходимости всегдашнего подчинения мужу (разумеется во всем, кроме вопросов души — религиозных)» [Толстой 53: 48–49].

Судьба женщины, «женский вопрос», проблема особенностей гендерного восприятия мира не раз поднимаются на страницах дневника

Толстого в 1895–1899 гг. К примеру, 12 апреля 1898 г. писатель отмечает: «Говорил с Пешковой о женском вопросе. Вопросы женского нет. Есть вопрос свободы, равенства для всех человеческих существ. Женский же вопрос есть задор» [Толстой 53: 189].

Несколько раз Толстой фиксирует свою мысль об особенностях именно женского мышления, которое он находит просто отличающимся от мужского: «Женщины точно так же, как и мужчины, одарены чувством и умом, но разница в том, что мужчина, большей частью, считает обязательным и для себя и выше чувств веления ума (разум), женщина же считает обязательным для себя и выше разума — чувство» [Толстой 53: 212].

Однако аналитическое изучение дневниковых записей Толстого позволяет сделать вывод о том, что у писателя и к этому времени не было единого устоявшегося отношения к женщине. Нередко Толстой говорил об идеале целомудренности, духовной жизни, при которой любовь к противоположному полу будет падением. «Спор о том, хорошо ли влюбленье. Для меня решение ясно: если человек живет уже человеческой, духовной жизнью, то влюбленье, любовь, брак будет для него падение, он должен будет отдать часть своих сил жене, семье, или хоть только предмету влюбленья», — фиксирует писатель в дневнике от 19 июля 1896 г. [Толстой 53: 100–101]. А 17 ноября 1897 г. Толстой положительно говорит о влюбленности: «Еще думал нынче же совсем неожиданно о прелести — именно прелести — зарождающейся любви, когда на фоне веселых, приятных, милых отношений начинает вдруг блеснуть эта звездочка. Это вроде того, как пахнувший вдруг запах липы или начинающая падать тень от месяца. Еще нет полного цвета, нет ясной тени и света, но есть радость и страх нового, обаятельного. Хорошо это, но только тогда, когда в первый и последний раз» [Толстой 53: 163].

Остановимся на трех ключевых женских фигурах романа «Воскресение» — Катюше Масловой, Мисси Корчагиной и Марье Павловне Щетининой. Сразу же отметим, что все три эти женщины красивы, что не может не отмечать Дмитрий Нехлюдов. Именно красота Катюши не оставляет равнодушным молодого Нехлюдова, особая светская красота Мисси и ее утонченность является одной из причин, по которой Нехлюдов собирался на ней жениться, наконец, Марья Павловна обращает на себя внимание Нехлюдова в первую очередь как красивая и выделяющаяся из толпы женщина.

Тем не менее все три героини у Толстого не идеальны, их образы во многом оттеняют друг друга. В окончательном тексте Нехлюдов не уделяет такого большого внимания сравнению Катюши и Мисси, хотя параллель между светской утонченной девушкой и проституткой Любкой проводит. Между тем в черновиках к роману описание этого контраста между героинями было намного явственнее: прозревающий в суде герой Толстого сначала осознавал, насколько Катюша ему ближе и дороже Алины Кармалиной, наделенной изяществом и сдержанной лаской. В более поздних редакциях писатель противопоставлял Алину (Мисси) как чистую девушку с особым внутренним миром проститутке Масловой. И эта антитеза разворачивалась в представлении Нехлюдова: «Он не видел уже в ней теперь ту Катюшу, которую он знал: чистую, любящую его одного девушку, а видел перед собой чуждую себе проститутку... И в нем вместо прежнего чувства умиления поднялось чувство отвращения, неловкости и стыда. Чувство это особенно усиливалось еще тем, что он только что говорил с той стриженной девушкой, на лице которой не было ни одной морщинки и все существо которой дышало таким противоположным характеру Масловой духом естественного, прирожденного целомудрия» [Толстой 33: 174].

«Если проследить эволюцию образа Масловой, то в начальных рукописях она предстает легкомысленной, но в плане житейском — хитрой женщиной, которая “органично” переходит в “разряд” проституток», — отмечает О. Н. Виноградова [Виноградова 2019: 21]. Скорее всего, эта точка зрения очень категорична: несомненно, Толстой в окончательном тексте не делает образ Масловой отталкивающим, но и в черновиках он не вызывал того отвращения, о котором говорит исследовательница. Конечно, количество натуралистических подробностей, снижающих образ Масловой, в итоговом тексте уменьшается по сравнению с черновиками. Так, к примеру, не раз в черновых материалах Толстой в сцене свидания Катюши и Нехлюдова описывает просьбу героини отдать починить ее зуб: «У меня еще в Нижнем подлец один выбил зуб. Видели? <...> Я вставила себе, а там, в Таганской тюрьме, крючок отломился. Он золотой, и потеряла я его. А зуб вот. Отдайте починить, голубчик...» [Толстой 33: 126]. В более позднем варианте этой сцены Катюша ведет себя чуть скромнее, но также в разговоре о спиртном и курении, в череде своих просьб упоминает про зуб, только что не показывает теперь открыто Нехлюдову место отсутствия этого

зуба: улыбается, но аккуратно. Толстой не случайно опускает эти неприятные, натуралистические подробности: образ Масловой и так уже нуждался в облагораживающих, а не снижающих деталях. Однако ни в одной редакции романа Катюша не выглядит хитрой. Еще в первой незаконченной редакции Толстой показывает искреннюю любовь ее к Нехлюдову, усиливаемую многократно и теми социальными барьерами, которые были между ними: «Долго она томилась, лежа с головой под одеялом, повторяя в воображении своем все слова его, жесты, но, перебрав все по несколько раз воображением, она живо представила себе то, что его нет теперь здесь и не будет больше. И никогда она не увидит его. Она вспомнила, как он простился с ней в присутствии теток, как чужой, с горничной» [Толстой 33: 12]. Между тем можно согласиться с О. П. Виноградовой в том, что образ Масловой разительно изменяется: в черновиках Нехлюдов не просто вспоминал поэтические минуты юности с чистой и искренней девушкой, но и давал характеристику нынешней Катюше: «Боже мой, — думал Нехлюдов. — Где она? Где та Катюша, которую я знал? Ведь это мертвая женщина, это ужасный живой изуродованный труп. И я сделал это» [Толстой 33: 83].

Но в постепенном падении Катюши и ее попадании в публичный дом оказывается виноват не только и не столько Нехлюдов, но и сама героиня и окружающая ее среда: сначала Нехлюдов, а потом и Катюша изменяются, черствеют, начиная жить не по велениям сердца. Нехлюдов довольно быстро усваивает, как пишет Толстой, «полу-помешательство» эгоизма. Совесть и Нехлюдова, а потом и Катюши заменяется теми положениями, по которым живет светское общество: «И потому надо было не обращаться к совести, а к судилищу света» [Толстой 33: 56]. В черновиках к роману Толстой многократно подчеркивал особую, даже «бесовскую привлекательность» Катюши [Толстой 33: 102], а также лежащую на ней «печать разврата» [Толстой 32: 103]. Но в окончательном тексте такой характеристики героини мы уже не видим, детали ее портрета становятся нейтральнее, особенность облика этой женщины выдает лишь внимание мужчин.

Вплоть до начала явственного перерождения в третьей части романа Катюша упорно избегает труда. Она и жизнь в публичном доме, «жизнь хронического преступления заповедей божеских и человеческих» [Толстой 32: 10] избирает именно потому, что ей страшна каторжная жизнь женщин, добывающих копейки честным трудом.

Разумеется, не остается для нее и камня на камне от бывшей когда-то в ее душе веры: «Она не верила ни во что и крестилась и кланялась только потому, что все так делали, но оставалась совершенно холодной» [Толстой 33: 152].

Если сравнивать в черновиках и окончательном тексте романа главные женские образы, то большие перемены (по сравнению с образом Катюши) претерпевает образ Мисси Корчагиной (в черновиках — Алины Кармалиной). В окончательном тексте Толстой сразу же передает сущность княжны Корчагиной, намеренно привлекающей к себе Нехлюдова: «Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже два месяца производилась над ним княжной Корчагиной и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней» [Толстой 32: 14].

В черновиках к роману Алина всерьез занималась музыкой, согласно другим вариантам — изобразительным искусством. Художественные увлечения были характерны для героини только до тех пор, пока это была легкая и цельная натура, искренне относящаяся к Нехлюдову, пока чуткое желание героини переделать Нехлюдова: «Исправить не в том смысле, чтобы освободить его от пороков, — она, напротив, считала его слишком добродетельным, — но снять с него его странности, наросты, крайности, удержав его хорошее, снять с него лишнее, нарушающее изящество и гармонию» [Толстой 33: 24], — не переросло в желание владеть им: «Кроме того, он нравился ей, и она приучила себя к мысли, что он будет ее (не она будет его, а он ее), и она с бессознательной, но упорной хитростью, такую, какая бывает у душевнобольных, достигала своей цели» [Толстой 32: 93].

Далее Толстой изменяет весь облик девушки, преобразая его: знакомая и возлюбленная Нехлюдова оказывается чуткой, внимательной, понимающей искусство. Но постепенно Алина, а потом и Мисси из родного Нехлюдову человека (в черновиках романа Алина была другом детства Нехлюдова) становится вновь представителем светского лагеря, оппозиционного герою, в который входят ее родители и большинство гостей их дома. Образ Алины (Мисси) в черновиках был двойственным, даже более, полярным: по мере работы над романом Толстой наделил эту молодую особу духовной жизнью, но потом, в итоге, вернул все на круги свои. А. Г. Гродецкая отмечает очевидные закономерности в изменении текстов Толстого, подчеркивая как раз

крайние состояния и явления, одним из ярких примеров которых может быть образ Мисси: «Так, в черновиках “Воскресения” очевиден радикализм толстовской правки, когда в процессе переработки деталь, мотив, ситуация берутся в резко противоположных, контрастных вариантах. <...> Толстой как будто испытывает тот или иной художественный эффект в его крайних, пограничных возможностях — и между полюсами не может не возникнуть силового поля» [Гродецкая: 83]. Согласно логике становления толстовских героев, а также линии развития образа Мисси, которая до 28 лет воспитывалась в свете, эта девушка не могла стать иной. Не случайно в романе появляется образ дома, где все роскошно, но фальшиво, начиная с лежачей хозяйки и заканчивая установленными приемами.

Одним из самых сложных и позитивных в романе «Воскресение» является образ Марьи Павловны. Сначала героиню мы видим именно глазами Нехлюдова, этот ход был в черновиках, остался он и в окончательном тексте: герой невольно обращает внимание на красивую девушку, причем с первых строк о ней писатель наделяет Марью Павловну именно народными характеристиками женского образа: силой и мягкостью, жизнерадостностью и стойкостью. Героиня уходит в камеру «так же спокойно и жизнерадостно, как будто она шла из гостиной в спальню» [Толстой 33: 178]. А потом уже, после того, как на нее обращает внимание Нехлюдов, Марья Павловна появляется в тексте романа со своей историей.

О перемещении подробного описания этой героини из первой части романа в третью и ее роли в возрождении Масловой в литературоведении уже немало написано, но факт неоспоримого влияния чистой и искренней Марьи Павловны на Катюшу не изменяется с момента задумки Толстым этого образа. «Не только для Катюши, а и для Нехлюдова (да и для самого Толстого!) Марья Павловна была “удивительная совершенно нового типа женщина или, скорее, не женщина, а человек со всей прелестью женщин и без их слабостей”», — отмечал К. Н. Ломунов [Ломунов: 303].

В черновых материалах писатель начинал с изображения трех женщин, находящихся среди политических заключенных, Веры Ефремовны, Ранцевой и Марьи Павловны и далее уже переходил к подробному описанию последней. В итоговом тексте Толстой фактически открывает третью часть романа рассказом о движении партии заключенных и

сразу же рядом с Катюшей показывает Марью Павловну, а уже позднее, раскрывая взаимоотношения заключенных друг с другом, ставит особняком Веру Ефремовну с ее главными идеями и противопоставляет ей живых и деятельных, но различающихся в своем отношении к мужчинам Ранцеву и Щетинину.

В черновых материалах Толстой сначала сообщал о матери Марьи Павловны, которую девушка особенно жалела, но далее информацию эту убрал: Щетинину, как только она осознает несправедливость господской жизни, многое не устраивает в доме отца, из-за чего она и сбегает. Толстой исключает упоминание о юношеском желании Марьи Павловны уйти в монастырь, а потом, после поездки в последний, — о разочаровании в религии и склонности к атеизму. Этот «революционный», отрицающий путь развития героини не устраивал Толстого, так как увлечение идеями отчасти начинало заслонять первоначальное ее желание служить людям. В окончательном тексте Марья Павловна является примером контраста: она, воспитанная барышня, держит себя как простая работница, именно поэтому Толстой убирает все упоминания о «дикой жизни»: отказ ее от роскоши и светских увлечений не мог выглядеть как «дикая жизнь», тем более в описании гувернанток: «Один раз она поехала на бал, но с тех пор решительно отказалась и вела дикую и грубую жизнь, как говорили про нее гувернантки» [Толстой 33: 283].

В черновиках к роману мы узнаем только о том, что героиня поступила на фабрику, потом жила в деревне, в городе на квартире, а далее была неудачно арестована в тайной типографии, где заявила, что стреляла в человека (взяв на себя выстрел другого). Примечательно, что в одной из рукописей (№ 98) Толстой опускает упоминание о знакомстве Марьи Павловны с деятельностью организации «Земля и воля», о которой ей рассказывал троюродный брат, вычеркивает слова «познакомившись с знаменитой Бардиной», хотя в другой рукописи (№ 95) эта фраза присутствовала (Толстым имелась в виду Софья Илларионовна Бардина, революционерка и народница). Несколько сглаживает писатель в итоговом тексте и упоминание о большой физической силе девушки, которая позволяла ей смело давать отпор поклонникам, прельщающимся ее красотой.

В итоговом тексте Толстой сокращает скитания Щетининой до тюрьмы, делает ее «случайной» революционеркой. Действительно,

в образе Марьи Павловны в романе представлен не тип народницы (хотя Н. К. Гудзий писал, что в образе Марьи Павловны присутствуют черты революционерки Н. А. Армфельд, отбывшей каторгу на Каре по делу о вооруженном сопротивлении властям), а тип женщины, старающейся жить ради ближних. В. А. Жданов точно отметил, что «авторские попытки идейно сблизить Марию Павловну с настоящими революционерами не имели успеха» [Жданов: 416]. Мария Павловна, как и Симонсон, которому Толстой отдает Катюшу Маслову, вставшую на путь возрождения, — чистые и невинные герои; в черновиках Толстой отмечал, что Нехлюдов, познакомившийся с Марьей Павловной, был поражен ее нравственной высотой [Толстой 33: 282].

В отличие от многих других героинь, не готовых к труду и не желающих работать, Мария Павловна, генеральская дочь, знающая три языка, «держала себя как самая простая работница» [Толстой 32: 367]. По сравнению с черновыми материалами в итоговом тексте образ Марьи Павловны оказывается даже теснее связанным с образом Катюши: ранее описания Щетининой выглядели более самостоятельными, не исключено, что писатель предполагал сделать фигуру Марьи Павловны одной из основных после главных героев в романе. Вероятнее всего, у Толстого был замысел, согласно которому Мария Павловна должна была еще до Нехлюдова или *даже вместо него* открыть простую, но столь действенную правду: «Радостное сознание, что она пожертвовала собою для общего блага, как бы подчеркнуло для нее прелесть самоотвержения просто для самоотвержения. Кроме того, дожидаясь суда, она в тюрьме, где не давали никаких книг, кроме Нового Завета, в первый раз прочла там Нагорную проповедь. С этой поры, как ни узок был круг ее деятельности в тюрьме, на этапах, она пользовалась всяким случаем сделать усилие, жертву, для того чтобы сделать доброе другим» [Толстой 33: 288]. Так как еще ни в четвертой, ни в пятой редакциях романа мы не видим прозрения героя, найденного им в финале, более того, так как Нехлюдов начинает путаться и думать о славе, о своем положении в обществе, то, вероятнее всего, дорогую для писателя мысль о правильной и праведной жизни, согласно первоначальной задумке, должна была донести до читателя именно Мария Павловна. Она и в итоговом тексте является одним из новых для Толстого женских образов — человеком, лишенным эгоизма и служащим другим. Эти качества Марьи Павловны позволяют

полностью противопоставить ее светской жизни, от которой она и попыталась убежать, оставив родной дом.

Светской антитезой Марье Павловне (обратим внимание на простонародное написание ее имени) является в романе *Mariette*, к мужу которой дает Нехлюдову рекомендательное письмо его тетка, графиня Чарская. В эпизодах с участием *Mariette* писатель делает акцент на игре этой красавицы, старающейся завладеть вниманием Нехлюдова. *Mariette* живет обманом, но, понимая это, Нехлюдов по старой привычке оказывается захвачен волнами шарма и обаяния, а потом с усилием вырывается из Петербургского общества: «Глядя на *Mariette*, он любовался ею, но знал, что она лгунья, которая живет с мужем, делающим свою карьеру слезами и жизнью сотен и сотен людей, и ей это совершенно все равно, и что все, что она говорила вчера, было неправда, а что ей хочется — он не знал для чего, да и она сама не знала — заставить его полюбить себя» [Толстой 32: 302].

К. Н. Ломунов подробно останавливается на том факте, что Нехлюдов сравнивает красавицу *Mariette* с публичной женщиной: «В злом сопоставлении великосветской дамы с уличной женщиной все вещи названы своими именами. Здесь звучит тот же самый мотив обличения светской распущенности и развращенности, с который мы встречаемся в “Крейцеровой сонате”, “Смерти Ивана Ильича”, “Плодах просвещения”, “Отце Сергии” и других произведениях “позднего” Толстого» [Ломунов: 179]. Однако не все так просто и однолинейно у Толстого (вспомним, что и в указанных исследователем произведениях присутствует резкий контраст): сравнение *Mariette* с публичной женщиной, конечно, передает ее распущенность, но при этом оно заставляет читателя вспомнить Маслову, которая уже встала на путь воскресения. Получается, что, несмотря на весь светский обман, путь возрождения не закрыт и для *Mariette*. Только ей нужно захотеть изменений и встать на новый путь.

О. Н. Виноградова справедливо отметила, что «женское имя Мария в романе “Воскресение” встречается вариативно несколько раз. Так, по сюжету Нехлюдов интимно связан с тремя женщинами, и всех их зовут Мария. Эти три женщины — три образа светских женщин вообще, а также и три степени отступления от идеала нравственности Толстого» [Виноградова 2020: 132]. Три эти образа: Мисси Корчагина, которую Нехлюдов уже почти считал своей невестой, Марья Васильевна — жена предводителя (в черновиках к роману эту женщину звали Вера), с ней

у Нехлюдова был роман, о завершении которого читатель узнает в начале произведения, и Mariette. О. Н. Виноградова говорит также и о Марье Павловне как об идеале Толстого: «Марья Павловна — идеал Толстого: целомудренная, соответственно — бездетная, страдающая, все предназначение в жизни которой состоит в том, чтобы помогать другим. Так как она не имеет своих детей, то все дети для нее — как свои собственные» [Виноградова 2020: 134] — и выдвигает предположение о том, что в романе «Воскресение» женщины с именем Мария «выражают отношение писателя к женщинам вообще; это своего рода проекция проблем Толстого, связанных с “женским вопросом”» [Виноградова 2020: 136].

Это очень интересное и глубокое замечание, к которому можно еще добавить, что образы женщин с именем Мария невольно сопоставляются и противопоставляются читателями и могут быть соотнесены с образом св. Марии Египетской, только в разные периоды ее жизни: до покаяния и после. Обратим внимание на тот факт, что 3 августа 1898 г. Толстой записывает в дневнике: «О! как хотелось бы показать женщине все значение целомудренной женщины. Целомудренная женщина (недаром легенда Марии) спасет мир» [Толстой 53: 208]. Житие Марии Египетской четко подразделяется на две части: жизнь в пороке и преобразование, жизнь в пустыне. Нельзя исключать, что всем Мариям в романе Толстой хотел показать этот идеал целомудренной женщины, подразумевая, что каждая из Марий имеет шанс к воскресению. Более того, уместно тут вспомнить и Машу — героиню «Семейного счастья», написанного как раз в то время, когда Толстой определил для себя концепцию оценки женщины, по сути дела, оставшуюся единой на протяжении всего художественного творчества писателя.

Список литературы

Источники

Леонтьев К. Н. Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. М.: Республика, 1996. С. 458–466.

Леонтьев К. Н. О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние (критический этюд). М.: [б.и.], 1911. 154 с.

<Толстая С. А.> Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860–1891. Ред. С. Л. Толстого. Прим. С. Л. Толстого и Г. А. Волкова, предисл. М. А. Цявловского. Л.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928. 212 с.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1928–1958.

Толстой С. Л. Об отражении жизни в «Анне Карениной»: из воспоминаний // Литературное наследство. 1939. Т. 37. С. 566–590.

Феофан Затворник, св. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? М.: Сибирская благовозвонница, 2017. 512 с.

Исследования

Андреева В. Г. О нескольких центральных антитезах в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2012. № 4. С. 114–117.

Андреева В. Г. Романы Э. Треллопа и «Анна Каренина» Л. Н. Толстого: генетические и типологические сходства // Имагология и компаративистика. 2020. № 14. С. 62–89. DOI <https://doi.org/10.17223/24099554/14/3>

Бабаев Э. Г. Лев Толстой и русская журналистика его эпохи. М.: МГУ, 1978. 294 с.

Безчасный К. В. Социально-этические аспекты самоубийства в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (часть 2) // Обзорение психиатрии и медицинской психологии имени В. М. Бехтерева. 2019. № 1. С. 109–114.

Бочаров С. Г. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». М.: Худож. лит., 1987. 156 с.

Бугович В. Женское лицо в отражениях разных зеркал (женские эпизодические образы, персонажи и их роль в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина») // Гуманитарное пространство. 2013. Т. 2, № 1. С. 86–106.

Виноградова О. Н. Отношение Л. Н. Толстого к женскому вопросу на примере вариаций женских образов с именем Мария в романе «Воскресение» // Синтез традиций и новаторства в литературе, языке и культуре. Курск: КГУ, 2020. С. 131–137.

Виноградова О. Н. Эволюция образа Екатерины Масловой в романе Л. Н. Толстого «Воскресение»: од падшей женщины до «очеловеченного» Христа // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. № 8. С. 20–25.

Волубуева Ю. Оппозиция мужского/женского в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина»: язык мужской/женский // Культура и текст. 2005. № 10. С. 208–218.

Гнюсова И. Ф. Совершенствующаяся героиня в творчестве Джордж Элиот и Л. Н. Толстого // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 369. С. 17–24.

Городилова Н. И. Эпическая картина мира в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13. Вып. 9. С. 5–12.

Гродецкая А. Г. Текст «Воскресения» в реконструкции Н. К. Гудзия (Принципы. Polemica. Итоги) // Русская литература. 2012. № 3. С. 73–87.

Громова Л. Д. «Многому я учусь у Пушкина...» // Вестник РГНФ. 1999. № 1. С. 277–282.

Гулин А. В. Идеальный женский образ в русской эпической прозе XIX века. Маша Миронова и Наташа Ростова // Русская словесность. 2019. № 6. С. 71–80.

Гудзий Н. К. История писания и печатания «Анны Карениной» // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1928–1958. Т. 20. С. 577–643.

Жданов В. А. Творческая история романа Л. Н. Толстого «Воскресение». М.: Сов. писатель, 1960. 452 с.

- Зверев А. М., Туниманов В. А.* Лев Толстой. М.: Молодая гвардия, 2007. 782 с.
- Куприянова Г. Б.* Нравственный идеал героев Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. М.: Просвещение, 1988. 256 с.
- Лебедев Ю. В.* Лев Толстой и «толстовство» // Неутомимые странники: сборник научных статей к 80-летию юбилею докторов филологических наук, профессоров Костромского государственного университета Ю. В. Лебедева и В. В. Тихомирова. Кострома: КГУ, 2020. С. 39–50.
- Леннквист Б.* Путешествие вглубь романа. Лев Толстой: Анна Каренина. М.: Языки славянской культуры, 2010. 128 с.
- Ломунов К. Н.* Над страницами «Воскресения». М.: Современник, 1978. 381 с.
- Лученецкая-Бурдина И. Ю.* Стилиевые стратегии Л. Н. Толстого в романе «Анна Каренина» // Ярославский педагогический вестник. 2014. Т. 1, № 4. С. 220–223.
- Мендельсон Н. М.* «Семейное счастье». Комментарии // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1928–1958. Т. 5. С. 304–314.
- Нагина К. А.* В поисках идиллии: дом Ростовых в романе Л. Толстого «Война и мир» // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2012. № 3. С. 16–23.
- Полтавец Е. Ю.* История, народ и героини «Войны и мира» Л. Н. Толстого // Литература в школе. 2020. № 2. С. 26–39.
- Ребель Г. М.* Герои вне времени в произведениях 1859 года: «Семейное счастье» Л. Н. Толстого, «Обломов» И. А. Гончарова, «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева // Вестник Удмуртского университета. Серия История и Филология. 2020. № 5. С. 859–869.
- Реуцкая Е. М.* Идея «женского начала» в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2008. № 3. С. 64–68.
- Саркисова А. Ю.* О влиянии английского романа XVIII–XIX вв. на роман Л. Н. Толстого «Семейное счастье» // Вопросы филологии. 2014. № 1(46). С. 77–82.
- Тхостов А. Ш.* Преступление и наказание женщины (психоаналитическое эссе) // Психологический журнал. 2010. Т. 31. № 6. С. 70–82.
- Ужанков А. Н.* Учение о прилоге как духовная основа художественного образа Анны Карениной // Новый филологический вестник. 2017. № 2 (41). С. 89–100.
- Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой. Семидесятые годы. Л.: Худож. лит., 1974. 360 с.

References

Andreeva, V. G. "O neskol'kikh tsentral'nykh antitezakh v romane L. N. Tolstogo 'Voskresenie'." ["On Several Central Antitheses in Leo Tolstoy's Novel 'Resurrection.'"]. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. A. Nekrasova*, no. 4, 2012, pp. 114–117. (In Russ.)

Andreeva, V. G. "Romany Entoni Trollopa i 'Anna Karenina' L. N. Tolstogo: geneticheskie i tipologicheskie skhodstva" ["Novels by Anthony Trollope and 'Anna Karenina' by Leo Tolstoy: Genetic and Typological Similarities"]. *Imagologiya i komparativistika*, no. 14, 2020, pp. 62–89. <https://doi.org/10.17223/24099554/14/3> (In Russ.)

Babaev, E. G. *Lev Tolstoy i russkaia zhurnalistika ego epokhi [Leo Tolstoy and Russian Journalism of His Era]*. Moscow, MSU Publ., 1978. 294 p. (In Russ.)

Bezchasnyi, K. V. "Sotsial'no-eticheskie aspekty samoubiistva v romane L. N. Tolstogo 'Anna Karenina' (chast' 2)" ["Socio-Ethical Aspects of Suicide in L. N. Tolstoy's Novel 'Anna Karenina' (part 2)"]. *Obozrenie psikhiiatrii i meditsinskoj psikhologii imeni V. M. Bekhtereva*, no. 1, 2019, pp. 109–114. (In Russ.)

Bocharov, S. G. *Roman L. N. Tolstogo "Voyna i mir" [Leo Tolstoy's Novel "War and Peace"]*. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1987. 156 p. (In Russ.)

Bugovich, V. "Zhenskoe litso v otrazheniiakh raznykh zerkal (zhenskie epizodicheskie obrazy, personazhi i ikh rol' v romane L. N. Tolstogo 'Anna Karenina')" ["Woman's Face Reflected by Different Mirrors (Episodic Female Images, Characters and Their Role in Leo Tolstoy's Novel 'Anna Karenina')"]. *Gumanitarnoe prostranstvo*, vol. 2, no. 1, 2013, pp. 86–106. (In Russ.)

Vinogradova, O. N. "Otnoshenie L. N. Tolstogo k zhenskemu voprosu na primere variatsii zhenskikh obrazov s imenem Mariia v romane 'Voskresenie.'" ["Leo Tolstoy's Attitude to the Women's Issue on the Example of Variations of Female Images Named Maria in the Novel 'Resurrection.'"]. *Sintez traditsii i novatorstva v literature, iazyke i kul'ture [Synthesis of Tradition and Innovation in Literature, Language and Culture]*. Kursk, KSU Publ., 2020, pp. 131–137. (In Russ.)

Vinogradova, O. N. "Evoliutsiia obraza Ekateriny Maslovoi v romane L. N. Tolstogo 'Voskresenie': ot padshei zhenshchiny do 'ochelovechennogo' Khrista" ["Evolution of the Image of Ekaterina Maslova in Leo Tolstoy's Novel 'Resurrection': From a Fallen Woman to a 'Humanized' Christ"]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, no. 8, 2019, pp. 20–25. (In Russ.)

Volobueva, Iu. "Oppozitsiia muzhskogo/zhenskogo v romane L. N. Tolstogo 'Anna Karenina': iazyk muzhskoi/zhenskii" ["Opposition of Masculine / Feminine in Leo Tolstoy's Novel 'Anna Karenina': Male / Female Language"]. *Kul'tura i tekst*, no. 10, 2005, pp. 208–218. (In Russ.)

Gniusova, I. F. "Sovershenstvuiushchiasia geroinia v tvorchestve Dzhordzh Eliot i L. N. Tolstogo" ["The Perfecting Heroine in Works of George Eliot and Leo Tolstoy"]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, no. 369, 2013, pp. 17–24. (In Russ.)

Gorodilova, N. I. "Epicheskaia karta mira v trilogii Leo Tolstogo 'Detstvo', 'Otrochestvo', 'Iunost'" ["Epic Worldview in Leo Tolstoy's Trilogy 'Childhood', 'Boyhood', 'Youth'."]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, issue 9, vol. 13, 2020, pp. 5–12. (In Russ.)

Grodetskaia, A. G. “Tekst ‘Voskreseniia’ v rekonstruktsii N. K. Gudziia (Printsipy. Polemika. Itogi)” [“The Text of ‘Resurrection’ as Reconstructed by N. K. Gudzii (Principles. Controversy. Results)”]. *Russkaia literatura*, no. 3, 2012, pp. 73–87. (In Russ.)

Gromova, L. D. “‘Mnogomu ia uchus’ u Pushkina...’” [“‘I Learn a Lot From Pushkin.’”]. *Vestnik RGNF*, no. 1, 1999, pp. 277–282. (In Russ.)

Gulin, A. V. “Ideal’nyi zhenskii obraz v russkoi epicheskoi proze XIX veka. Masha Mironova i Natasha Rostova” [“An Ideal Female Image in Russian Epic Prose of the 19th Century. Masha Mironova and Natasha Rostova”]. *Russkaia slovesnost’*, no. 6, 2019, pp. 71–80. (In Russ.)

Gudzii, N. K. “Istoriia pisaniia i pechataniia ‘Anny Kareninoi’.” [“The Creative and Publishing History of ‘Anna Karenina’”]. Tolstoi, L. N. *Polnoe sobranie sochinenii: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols.], vol. 20. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1928–1958, pp. 577–643. (In Russ.)

Zhdanov, V. A. *Tvorcheskaia istoriia romana L. N. Tolstogo “Voskresenie”* [The Creative History of Leo Tolstoy’s Novel “Resurrection”]. Moscow, Sovetskii pisatel’ Publ., 1960, 452 p. (In Russ.)

Zverev, A. M., Tunimanov, V. A. *Lev Tolstoi* [Leo Tolstoy]. Moscow, Molodaia gvardiia Publ., 2007. 782 p. (In Russ.)

Kupreianova, G. B. *Bravstvennyi ideal geroev L. N. Tolstogo i F. M. Dostoevskogo* [The Moral Ideal of the Heroes of Leo Tolstoy and Fiodor Dostoevsky]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1988. 256 p. (In Russ.)

Lebedev, Iu. V. “Lev Tolstoi i ‘tolstovstvo’.” [“Leo Tolstoy and ‘Tolstovism’”]. *Neutomimye stranniki: sbornik nauchnykh statei k 80-letnemu iubileiu doktorov filologicheskikh nauk, professorov Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta Iu. V. Lebedeva i V. V. Tikhomirova* [Tireless Wanderers: a Collection of Scientific Articles to the 80th Anniversary of Doctors of Philological Sciences, Professors of the Kostroma State University Yu. V. Lebedev and V. V. Tikhomirov]. Kostroma, KSU Publ., 2020, pp. 39–50. (In Russ.)

Lennkvist, B. *Puteshestvie vglub’ romana. Lev Tolstoi: Anna Karenina* [Journey into the Depths of the Novel. Leo Tolstoy: Anna Karenina]. Moscow, Iazyki slavianskoi kul’tury Publ., 2010. 128 p. (In Russ.)

Lomunov, K. N. *Nad stranitsami “Voskreseniia”* [Reading “Resurrection”]. Moscow, Sovremennik Publ., 1978. 381 p. (In Russ.)

Luchenetskaia-Burdina, I.Iu. “Stilevyie strategii L. N. Tolstogo v romane ‘Anna Karenina’.” [“Leo Tolstoy’s Style Strategies in the Novel ‘Anna Karenina’”]. *Iaroslavskii pedagogicheskii vestnik*, vol. 1, no. 4, 2014, pp. 220–223. (In Russ.)

Mendel’son, N. M. “‘Semeinoe schastie’. Kommentarii” [“‘Family Happiness’. Commentary”]. Tolstoi, L. N. *Polnoe sobranie sochinenii: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols.], vol. 5. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1928–1958, pp. 304–314. (In Russ.)

Nagina, K. A. “V poiskakh idillii: dom Rostovykh v romane L. Tolstogo ‘Voina i mir’.” [“Searching an Idyll: the Rostovs’ House in L. Tolstoy’s Novel ‘War and Peace’”]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina*, no. 3, 2012, pp. 16–23. (In Russ.)

Poltavets, E. Iu. “Istoriia, narod i geroini ‘Voiny i mira’ L. N. Tolstogo” [“History, People and Heroines of Leo Tolstoy’s ‘War and Peace’.”]. *Literatura v shkole*, no. 2, 2020, pp. 26–39. (In Russ.)

Rebel, G. M. “Geroi vne vremeni v proizvedeniiakh 1859 goda: ‘Semeinoe schastie’ L. N. Tolstogo, ‘Oblomov’ I. A. Goncharova, ‘Dvorienskoe gnezdo’ I. S. Turgeneva” [“Timeless Heroes in the Works of 1859: ‘Family Happiness’ by Leo Tolstoy, ‘Oblomov’ by Ivan Goncharov, ‘Home of the Gentry’ by Ivan Turgenev.”]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriia Istoriia i Filologiya*, no. 5, 2020, pp. 859–869. (In Russ.)

Reutskaia, E. M. “Ideia ‘zhenskogo nachala’ v romane L. N. Tolstogo ‘Anna Karenina’” [“The Idea of the ‘Feminine Principle’ in Leo Tolstoy’s Novel ‘Anna Karenina’.”]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv*, no. 3, 2008, pp. 64–68. (In Russ.)

Sarkisova, A. Iu. “O vliianii angliiskogo romana XVIII–XIX vv. na roman L. N. Tolstogo ‘Semeinoe schastie.’” [“On the Influence of English Novels of the 18th — 19th Centuries on Leo Tolstoy’s Novel ‘Family Happiness’.”]. *Voprosy filologii*, no. 1 (46), 2014, pp. 77–82. (In Russ.)

Tkhostov, A. Sh. “Prestuplenie i nakazanie zhenshchiny (psikhoanaliticheskoe esse)” [“Woman’s Crime and Punishment (Psychoanalytic Essay)”]. *Psikhologicheskii zhurnal*, vol. 31, no. 6, 2010, pp. 70–82. (In Russ.)

Uzhankov, A. N. “Uchenie o priloge kak dukhovnaia osnova khudozhestvennogo obraza Anny Kareninoi” [“The Doctrine of a Demonic Provocation as a Spiritual Basis of the Artistic Image of Anna Karenina.”]. *Novyi filologicheskii vestnik*, no. 2 (41), 2017, pp. 89–100.

Eikhnenbaum, B. M. *Lev Tolstoi. Semidesiatye gody [Leo Tolstoy. 1870s]*. Leningrad, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1974. 360 p. (In Russ.)

© 2021. В. А. Котельников
Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской академии наук, г. Санкт-Петербург, Россия

Иоанн Дамаскин и эстетический идеал А. К. Толстого

Аннотация: Несмотря на тот факт, что религиозные темы редки в творчестве А. К. Толстого, образу, жизни и деятельности Иоанна Дамаскина он уделил особое внимание. Это связано с тем, что Толстой воспринимал Дамаскина не только как монаха и аскета, но прежде всего как творческую личность, поэта. В статье показано отношение Толстого к искусству, отмечается продумываемая им параллель между собственной судьбой и житием Дамаскина, роль вступления с восточным колоритом в поэме Толстого «Иоанн Дамаскин», которое соотносится с вынужденным нахождением при дворе самого Толстого. В работе демонстрируется, как поэт продуманно и тонко в размышления Иоанна об искусстве вкладывает собственные суждения, свою теорию искусства и происхождения творчества. Автор статьи, следуя за развитием сюжета поэмы, констатирует, где Толстой несколько отходит от жития Дамаскина, а в каких местах максимально приближается к агиографическому повествованию. Особое внимание в работе уделяется анализу реализации в поэме важнейшего толстовского мотива торжества свободного слова.

Ключевые слова: А. К. Толстой, Иоанн Дамаскин, творчество, теория искусства, религиозное служение, житие, аскетический долг.

Информация об авторе: Владимир Алексеевич Котельников, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, наб. Макарова, д. 4, 199034, г. Санкт-Петербург, Россия.

E-mail: vladiko@vk9485.spb.edu

Дата поступления статьи в редакцию: 21.11.2020

Дата одобрения статьи рецензентами: 17.01.2021

Дата публикации статьи: 22.03.2021

Для цитирования: Котельников В. А. Иоанн Дамаскин и эстетический идеал А. К. Толстого // Два века русской классики. 2021. Т. 3, № 1. С. 210–223. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-210-223>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 210–223. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 210–223. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2021. Vladimir A. Kotelnikov
Institute of Russian Literature (Pushkin House)
of the Russian Academy of Sciences
St. Petersburg, Russia

John Damascene and the aesthetic ideal of Aleksey Tolstoy

Abstract: Despite the fact that religious themes are rare in A. K. Tolstoy's works, he paid special attention to the image, life and work of John Damascene. This is due to the fact that Tolstoy perceived Damascene not only as a monk and ascetic, but above all as a creative person, a poet. The article shows Tolstoy's attitude to art, notes the parallel he thought out between his own fate and the life of Damascene, the role of the introduction with an oriental flavor in Tolstoy's poem "John Damascene," which corresponds to the forced presence at the court of Tolstoy himself. The work demonstrates how thoughtfully and subtly the poet puts his own judgments, his theory of art and the origin of creativity in John's reflections on art. The author of the article, following the development of the plot of the poem, states where Tolstoy somewhat deviates from the life of Damascene, and in which places he approaches the hagiographic narrative as much as possible. Particular attention is paid to the analysis of the realization in the poem of Tolstoy's most important motive for the triumph of free speech.

Keywords: A. K. Tolstoy, John Damascene, creativity, art theory, religious service, living, ascetic duty.

Information about the author: Vladimir A. Kotelnikov, DSc in Philology, Director of Research, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, nab. Makarova st. 4, 199034, St. Petersburg, Russia.

E-mail: vladiko@vk9485.spb.edu

Received: November 21, 2021

Approved after reviewing: January 17, 2021

Published: March 22, 2021

For citation: Kotelnikov, V.A. "John Damascene and the aesthetic ideal of Aleksey Tolstoy." *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 210–223. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-210-223>

В круг главных творческих интересов А. К. Толстого религиозные темы не входили. Он обращался к ним обычно или в связи с историческим материалом (как в драматической трилогии, в «Песне о походе Владимира на Корсунь»), или с намерением извлечь сильные художественные эффекты (поэма «Грешница»). В Церкви, в монастыре он не находил предметов для поэтической разработки. Аскетика, подвижничество представлялись ему замкнутыми в себе и чуждыми жизни, хотя он был знаком с наследием Отцов и Учителей Церкви.

Однако деятельность преподобного Иоанна Дамаскина вызвала у него исключительный интерес. Чем это объясняется? Тем, что Толстой воспринимал Иоанна как поэта, чья свободная песнь восторжествовала над теснотой и несвободой существования, над ограниченностью суровой аскезы, и при этом не порывала с религиозно-нравственным служением монашества.

Дамаскин, наряду с богословскими и полемическими сочинениями, сыгравшими большую роль в разъяснении православного вероучения и в победе иконопочитания, выступил, согласно церковному преданию, как автор (и соавтор) церковно-служебных произведений, выдающихся по возвышенному духовному строю и по великолепию языка и стиля. Он недаром был прозван «Златоструйным»: с его именем связывают ряд песнопений Октоиха, Пасхальную службу, каноны на Рождество Христово, на Богоявление, на Вознесение Господне, на Преображение, на Благовещение, Успение, знаменитые погребальные «самогласны» и антифоны. Г. В. Флоровский считал, что его влияние на Востоке «в богослужебной поэзии было решающим, чувствуется оно и на Западе» [Флоровский: 230].

Иоанн обосновался (вероятно, около второго десятилетия VIII в.) в Лавре Саввы Освященного в Иудейской пустыне, где вел подвижническую жизнь, одновременно занимаясь созданием богословских трудов и церковных песнопений. Он выступил самым сильным противником

иконоборчества, за что Церковь прославила его «глашатаем истины». Главным его сочинением на эту тему были «Три защитительные слова против порицающих святые иконы».

Толстой был убежден, что искусство является одной из высших форм духовной жизни, что способность к нему дарована Богом и что свободное творчество, содержание которого есть красота и правда, так же важно, как и религиозное служение, и никто и ничто не должно такое искусство ограничивать. При этом иконопись он считал видом живописного искусства и ценил Дамаскина как ее защитника и поборника. Примеры поэтического творчества Св. Отцов и Учителей Церкви — а таких примеров немало в наследии Симеона Нового Богослова, Ефрема Сирина и других — укрепляли его в этом убеждении. Изображая в поэме драматический эпизод жизни Иоанна Дамаскина, Учителя Церкви и поэта, Толстой хотел показать святость его дара и дела.

Несомненно присутствие у Толстого и автобиографического мотива, что тогда же было замечено Н. С. Лесковым и сказано И. А. Шляпкину: «В “Иоанне Дамаскине” поэт изобразил самого себя» [К биографии: 112].

Как и в балладе «Слепой» (1873), в стихотворении «Б. М. Маркевичу» (1856) Толстой предъявляет в поэме эстетическую декларацию. Но здесь она дана не только в идейных формулировках. Вес и убедительность ей придает весь сложный массив повествования, включающего агиографический сюжет, гимноподобные фрагменты, в которых голос автора сливается с голосом Иоанна, церковно-служебные тексты.

Источником главных, по замыслу Толстого, эпизодов поэмы, как показывает сопоставление текстов, было житие Иоанна Дамаскина, изложенное митрополитом Димитрием Ростовским и входящее под 4 декабря в его «Четыи Минеи».

Однако в начале поэмы Толстой создает детализированное с точным колоритом и отсутствующее в житии описание обстановки, в которой пребывал Иоанн при дворе халифа, и на этом фоне начинается рассказ о духовном томлении героя и разворачивает исполненный романтической патетики диалог между певцом и правителем. Вполне очевидна автобиографическая отсылка: тяготившее Толстого официальное положение при Дворе, стремление освободиться от него и предаться творчеству, объяснения с Александром II по этому поводу.

Он счастлив был бы и убогий,
Когда б он мог в тиши лесной,
В глухой степи, в уединенье,
Двора волнение забыть
И жизнь смиренно посвятить
Труду, молитве, песнопенью.

[Толстой 1: 256]

И транспозиция мотива, который уже давно переживался Толстым и вскоре был прямо изложен в его письме к Императору:

О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!

[Толстой 1: 257]

Так, в августе или сентябре 1861 г. Толстой обращался к Александру II (письмо написано по-французски): «Мои сомнения и колебания я изложил моему дяде в письме, с которым он Вас знакомил, но так как он еще раз подтвердил мне принятое Вашим Величеством решение, я подчинился ему и стал флигель-адъютантом Вашего Величества. Я думал тогда, что мне удастся победить в себе натуру художника, но опыт показал, что я напрасно боролся с ней. Служба и искусство несовместимы, одно вредит другому, и надо делать выбор. Больше похвалы заслуживало бы, конечно, непосредственное деятельное участие в государственных делах, но призвания к этому у меня нет, в то время как другое призвание мне дано. Ваше Величество, мое положение смущает меня: я ношу мундир, а связанные с этим обязанности не могу исполнять должным образом» [Толстой 5: 139].

Именно для этого и понадобилось «восточное» вступление в поэме, придуманное автором, никаких данных для него в биографии Иоанна нет.

В отличие от жития, Толстой кратко упоминает о выступлении Иоанна в защиту иконопочитания, не передает житийный рассказ о его борьбе против «зверонравного царя» Льва Исаврянина, об интриге последнего, в результате которой халиф повелел отсечь Иоанну руку, а Богородица чудесным образом исцелила ее. Затем халиф раскался в своей жестокости, просил прощения и хотел еще более воз-

высить Иоанна, но тот «падъ на ноги князю, моляше его надолзѣ, да отпустить его от себе, и не возбранить ему отити в путь, аможе душа его желаетъ, яко да послѣдствуетъ Господу своему со отвергшими-ся себе, и приѣмшими яремъ Господень иноками». Халиф не отпускал его, но «Иоаннъ, аще и нескоро, обаче добръ умоливъ князя, и дарована бысть ему свобода, да еже угодно ему есть, то творить»¹.

Несколько мягче, чем у Толстого, выглядит в житии объявленное явившемуся в монастырь Иоанну аскетическое послушание, причем примечательно, что старец обосновывает его не только святоотеческим авторитетом, но и ссылкой на греческого мудреца: «Молчаніе имѣй с разсужденіемъ: вѣси бо, яко не точію наши любуудрцы молчанію учат, но и Пиагогоръ оученикомъ своимъ многолѣтное молчаніе завѣщааетъ».

Не упускает Толстой случая среди приписанных Иоанну суждений об искусстве вставить собственные суждения о нем.

Дамаскину, конечно, не могло принадлежать такое определение природы и источников творчества:

То все одно лишь отраженье,
Лишь тень таинственных красот,
Которых вечное виденье
В душе избранника живет.

[Толстой 1: 258]

Это излюбленная мысль самого Толстого, который, создавая свою теорию искусства и происхождения творческого акта, мифологизировал в романтическом духе учение Платона об эйдосах вещей и населял сверхчувственный мир прямыми прообразами искусства, постигая которые в творческом экстазе, художник материализует их, воплощает их в своем произведении. Такую теорию Толстой развивал в программном стихотворении «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..» (1856).

¹ <Димитрий Ростовский, свт.> М<еся>ца Декемврія в Д<4> день, Житіе преподобнаго отца нашего Іоанна Дамаскина // <Димитрий Ростовский, свт.> Книга житий святых. На три мѣсяца вторья, еже есть: Декемврій, Іаннуарій и Февруарій. Кіев: Кієвопечерская Лавра, 1764. Л. 30.

Но затем образ Иоанна возвращается в русло гимнографического его призвания, обращенного к божественному источнику вдохновения:

О мой Господь, моя надежда,
Моя и сила и покров!
Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех песней благодать,
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать!
Не отвержайтесь для другого
Отныне, вещи уста!
Греми лишь именем Христа,
Мое восторженное слово!

[Толстой 1: 261]

Но суровый старец пустыни налагает запрет на его «восторженное слово», что становится трагедией для Иоанна, неудержимо влекущего к поэзии, которая несовместима с аскетическим долгом.

Обреченный на молчание Иоанн переживает его как смерть:

Погибни, жизнь! Погасни, огонь алтарный!
Уймись во мне, взволнованная кровь!
Свети лишь ты, небесная любовь,
В моей ночи звездой лучезарной!
О мой Господь, прости последний стон,
Последний сердца страждущего ропот!

[Толстой 1: 264]

Тут (как и в ряде других мест) Толстой выходит за границы житейного жанра, хотя вообще подобная коллизия может вписываться в сюжет борьбы аскета с одержимостью некоей страстью. Но Иоанн в излагаемых автором стенаниях о своем погибшем даре превращается из воспитанного аскетической дисциплиной монаха в романтического певца, который насильственно подчинен власти старца, и «уставные слова и заученные молитвы» не могут угасить в нем палящую жажду

песнопенья. В нем «мятется сердце непокорно»; погребенный со своим даром в монастыре, Иоанн в отчаянии:

Юдоль, где я похоронил
Броженье деятельных сил,
Свободу творческого слова,
Юдоль молчанья рокового.

[Толстой 1: 266]

Это толстовский реквием по свободе творчества, которую он на разные лады воспевает в поэме.

Не без причины, хотя и не без преувеличения, тридцать лет спустя А. Н. Майков эпиграммой откликнулся на эту тенденцию, уловив слабость эпического начала в произведении и черты поэтической условности в образе Иоанна:

Вот Дамаскин Алексея Толстого — за автора больно!
Сколько погублено красок и черт вдохновенных задаром.
Свел житие он на что? На протест за «свободное слово»
Против цензуры, и вышел памфлет вместо чудной легенды.
Всё оттого, что *лица говорящего* он не видал пред собою...

[Майков 2: 353]

Ближе всего к житийному рассказу (вплоть до совпадения отдельных слов и выражений) те главы поэмы, в которых повествуется о просьбе брата умершего инока сочинить «умилную песнь», о создании ее Иоанном, о гневе внезапно явившегося старца.

Стоит привести эту страницу из «Четий Миней», где появляются психологически тонкие и точные подробности, импонирующие светскому писателю.

По времени же черноризецъ нѣкій от лавры тоя преставися ко Господу, бѣ же у него по плоти братъ, той оставшиися единъ по братѣ своемъ, плакаше по немъ неутѣшнѣ. Утѣшаше же его Иоаннъ многими словесы, но не возможе утѣшити уязвленаго безмѣрною по братѣ печалію. Таже плача нача просити Иоанна, да во утѣшеніе и ослабу печали его надгробную нѣкую умилную пѣснь ему напишетъ. Иоанн же отрицашеся, бояся,

да не преступить заповѣди старца, иже заповѣда ему не творити ничтоже без повѣлѣнія своего, но сѣтующій братъ стужаше ему зѣлнымъ мольбамъ, глаголюще, вскую не помилуеши скорбную душу, и не подаси малыя нѣкоторыя цѣльбы великимъ сердечнымъ болѣзнямъ; аще бы еси врачъ тѣлесный, и случилася бы мнѣ нѣкая болѣзнь тѣлесная, и молилъ бы тя, да врачуеши мя, ты же могій врачевати презрѣлъ бы мя, и умеръ бы азъ от тоя раны, не даль ли бы еси о мнѣ отвѣта Богу, яко могуще мя уврачевати презрѣлъ еси: нынѣ же болшею стражду болѣзнію сердечною, и ищу врачевства малаго от тебе, ты же мя презираеши, и аще от тоя печали умру, то не воздаси ли множайшаго отвѣта о мнѣ Богу. <...> Такowymi словесы преклоненъ Иоаннъ, состави пѣсенныя надгробныя тропари сія¹.

У Толстого сцена представлена так:

...один черноризец,
Пал на колени пред ним и сказал: «Помоги, Иоанне!
Брат мой по плоти преставился; братом он был по душе мне
Тяжкая горестъ снедает меня; я плакать хотел бы —
Слезы не льются из глаз, но скипаются в горестном сердце.
Ты же мне можешь помочь: напиши лишь умильную песню,
Песнь погребальную милому брату, ее чтобы слыша,
Мог я рыдать, и тоска бы моя получила ослабу!»
Кротко взглянул Иоанн и печально в ответ ему молвил:
«Или не ведаешь ты, каким я связан уставом?
Строгое старец на песни мои наложил запрещенье».
Тот же стал паки его умолять, говоря: «Не узнает
Старец о том никогда; он отсель отлучился на три дня,
Брата ж мы завтра хороним; молю тебя всею душою,
Дай утешение мне в беспредельно горькой печали!»
Паки ж отказ получив: «Иоанне! — сказал черноризец, —
Если бы был ты телесным врачом, а я б от недуга
Так умирал, как теперь умираю от горя и скорби,

¹ <Димитрий Ростовский, свт.> М<еся>ца Декемврія в Д <4> день, Житие преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина // <Димитрий Ростовский, свт.> Книга житий святых. На три месяца вторыя, еже есть: Декемврій, Іаннуарій и Февруарій. Киев: Киевопечерская Лавра, 1764. Л. 31 об.

Ты ли бы в помощи мне отказал! И не дашь ли ответа
Господу Богу о мне, если ныне умру, безутешен?»
Так говоря, колебал в Дамаскине он мягкое сердце.
[Толстой 1: 267]

Боящемся нарушить запрет старца Иоанну вещает голос из небесных сфер, как вещал Бог усомнившемуся Иову. Реминисценцией из Книги Иова (особенно в двух последних строфах) Толстой указывает на высшую санкцию творчества, что было главной его идеей в поэме:

Над вольной мыслью Богу неуютны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!
[Толстой 1: 267]

Иоанн возвращается к песнопенью и сочиняет замечательный тропарь на отпевание усопшего монаха.

Перед Толстым возникла трудная для светского поэта задача: придать поэтическую форму церковно-служебному тексту, не вступая при этом в противоречие с подлинным каноном. Толстой прекрасно справился с этим, воссоздав необходимый в эпизоде отпевания почившего монаха текст тропаря.

В чинопоследовании православного отпевания входят песнопения Иоанна Дамаскина – в частности, стихиры (самогласны), гласы 1–8.

Сравним фрагменты текстов Иоанна и Толстого.

В гласе 1: «Кая житейская сладость...», у Толстого: «Какая сладость в жизни сей / Земной печали непричастна?»; в гласе 4: «...где есть золото и серебро; где есть рабов множество и молва. Вся персть, вся пепел, вся сень», у Толстого: «О братья, где серебро и золото, Где сонмы многие рабов? <...> Все пепел, дым, и пыль, и прах, / Все призрак, тень и привиденье»; в гласе 5: «...и паки рассмотрим во гробех, и видех кости обнажены, и рех: убо кто есть царь, или воин, или богат, или убог, или праведник, или грешник», у Толстого: «Средь груды тлеющих костей / Кто царь, кто раб, судья иль воин? Кто царства Божия достоин / И кто отверженный злодей? <...> Среди неведомых гробов / Кто есть убогий, кто богатый?»; в гласе 6: «Тем же, Христе, раба Твоего во стране живу-

щих и в селениях праведных упокой», у Толстого: «Прими усопшего раба, Господь, в блаженные селенья!».

Н. С. Лесков из произведений любимого им Толстого особо выделял «Иоанна Дамаскина». Как вспоминал сын писателя А. Н. Лесков, в домашнем кругу отцом «едва ли не в самом торжественном стиле распевно читался толстовский Дамаскин» [Лесков 1984. 2: 90]. А цитировалась поэма писателем многократно по самым разным поводам, не только литературным, но и очень личным, каковым была для Лескова тема смерти, — например, в письме к А. С. Суворину от 30 декабря 1890 г.: «Помните, как у Алексея Толстого: “меня, как хищник, низложила”. Так все и отлетит прочь — все мечты и упования»¹. К поэме он обращался и в своих произведениях; причем в рассказе «Интересные мужчины» (1885) в эпизоде отпевания покончившего с собой героя стихи из написанного Толстым тропаря исподволь предстают как песнопение самого Иоанна Дамаскина, «его поэтический вопль», который «и жжет и заживляет рану» [Лесков 1958. 8: 97–98].

Приводимые в житии огрублено-бытовые подробности наложенной старцем на Иоанна унижительной епитимьи в поэму не перенесены, подчеркнута только смиренное приятие Иоанном повелений старца.

Речь явившейся старцу Богородицы Толстой действительно передает сокращенно, но сохраняет и развивает главное для него уподобление, относящееся к песнопениям Иоанна: песня как животворящая вода, свободно истекающая из души творца в мир.

«Почто ты гонишь Иоанна? —
Она монаху говорит. —
Его молитвенные звуки,
Как голос неба для земли,
В сердца послушные текли,
Врачуя горести и муки.
<...>
Да оросят его мечты,
Как дождь, житейскую долину, —
Оставь земле ее цветы,
Оставь созвучья Дамаскину!»
[Толстой 1: 274]

¹ ПД. Ф. 268. № 131. Л. 200.

Признание вразумленным свыше старцем вины перед Иоанном за несправедный запрет и благословение на песнопение излагаются в сходных выражениях в житии и в поэме, тем самым Толстой, опираясь в авторитетном источнике на прочное религиозно-моральное основание, создает в двенадцатой главе гимн свободному творчеству, прославляющему Бога и мир.

Здесь голос автора, как будто обращенный к Иоанну, включает в себя и обращение певца к самому себе, в ходе развития мотива из 150 псалма «Все дышащее да хвалит Господа». Но здесь же излюбленный толстовский мотив торжества свободного слова сопровождается невозможным в устах монаха Дамаскина уничижительным именовани-ем его послушания запрету старца: «коснения долгая плеснь».

Воспой же, страдалец, воскресную песнь,
Возрадуйся жизнию новой!
Исчезла коснения долгая плеснь,
Воскресло свободное слово!

Того, Кто оковы души сокрушил,
Да славит немолчно создание!
Да хвалят торжественно Господа Сил
И солнце, и месяц, и хоры светил,
И всякое в мире дыханье!

[Толстой 1: 275]

И в завершении поэмы все-таки торжествует эстетика с ее непременным у Толстого апофеозом «речи свободной», в сущности независимо от того, чья это речь: монашествующего гимнографа или светского поэта, пишущего на религиозные темы:

То славит речию свободной
И хвалит в песнях Иоанн,
Кого хвалить в своем глаголе
Не перестанут никогда
Ни каждая былинка в поле,
Ни в небе каждая звезда!

[Толстой 1: 276]

Список литературы

Источники

К биографии Н. С. Лескова. Из дневника И. А. Шляпкина // Русская старина. 1895. № 12. С. 205–215.

Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям: в 2 т. М.: Худож. лит., 1984.

Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. / под общ. ред. В. Г. Базанова, Б. Я. Бухштаба, А. И. Груздева и др. М.: Гослитиздат, 1956–1958.

Майков А. Н. Соч.: в 2 т. М.: Правда, 1984. Т. 2. 576 с.

Толстой А. К. Полн. собр. соч. и письма: в 5 т. / гл. ред. В. А. Котельников. М.: РИЦ «Классика», 2016–2018.

Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV–VIII веков. Париж: [б.и.], 1933. 260 с.

References

“K biografii N. S. Leskova. Iz dnevnika I. A. Shliapkina” [“To the biography of N. S. Leskov. From the diary of I. A. Shlyapkin”]. *Russkaia starina*, no 12, 1895, pp. 205–215. (In Russ.)

Leskov, A. N. *Zhizn' Nikolaia Leskova po ego lichnym, semeinym i nesemeinym zapisiam i pamiatiam: v 2 t.* [*The Life of Nikolai Leskov Based on His Personal, Family and Non-family Records and Memories: in 2 vols.*]. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1984. (In Russ.)

Leskov, N. S. *Sobranie sochinenii: v 11 t.* [*Collected Works: in 11 vols.*], ed. by V. G. Bazanov, B. Ya. Bukhshtab, A. I. Gruzdev. Moscow, Goslitizdat Publ., 1956–1958. (In Russ.)

Maikov, A. N. *Sochinenia: v 2 t.* [*Works: in 2 vols.*], vol. 2. Moscow, Pravda Publ., 1984. 576 p. (In Russ.)

Tolstoi, A. K. *Polnoe sobranie sochinenii i pis'ma: v 5 t.* [*Complete Works and Letters: in 5 vols.*]. Moscow, RITs “Klassika” Publ., 2016–2018. (in Russ.)

Florovskii, G., prot. *Vostochnye ottsy IV–VIII vekov* [*Eastern Church Fathers of the 4th–8th Centuries*]. Paris, 1933. 260 p. (In Russ.)

© 2021. Е. А. Михайлова
Российская национальная библиотека
Санкт-Петербургский государственный университет
г. Санкт-Петербург, Россия

Петр I и Петровская эпоха в «Разговорах в царстве мертвых» (по материалам Отдела рукописей Российской национальной библиотеки)

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-09-42025*

Аннотация: Личность Петра I и реалии Петровской эпохи нашли отражение в оригинальном жанре, находящемся на грани исторической науки и литературы, — «Разговоры в царстве мертвых». Этот жанр получил большое распространение в Европе в конце XVII — первой половине XVIII вв. Принято считать, что в России «Разговоры» появились в середине XVIII в. в журнальных публикациях — переводах сатирических произведений Лукиана и Фонтенеля, а также подражаниях им. Однако архивные материалы свидетельствуют о существовании «Разговоров» в русской рукописной традиции уже в первой половине XVIII в., причем это историко-биографические тексты, дающие информацию о ходе Северной войны, европейской обстановке Петровского времени, выдающихся полководцах этой эпохи. Такие диалоги являются переводом с немецкого языка сочинений Д. Фассмана. Сам же Петр I в качестве главного героя «Разговоров в царстве мертвых» в русской рукописной книге (а позже и в печати) впервые появился не в переводных текстах, а в оригинальном произведении. Его автором считается один из первых биографов Петра I П. Н. Крекшин. Этот «Разговор», в том числе и благодаря особой художественной форме, стал настоящим литературным панегириком российскому императору.

Ключевые слова: Разговоры в царстве мертвых, Петр I, Петровская эпоха, П. Н. Крекшин, Д. Фассман, рукописная книга.

Информация об авторе: Елена Андреевна Михайлова, кандидат искусствоведения, Российская национальная библиотека, ул. Садовая, д. 18, 191069 г. Санкт-Петербург, Россия; Санкт-Петербургский университет, Университетская наб., д. 7–9, 199034 г. Санкт-Петербург, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4322-5117>
E-mail: Elena.mihalova@inbox.ru

Дата поступления: 18.10.2020

Дата одобрения статьи рецензентами: 14.01.2021

Дата публикации: 22.03.2021

Для цитирования: Михайлова Е. А. Петр I и Петровская эпоха в «Разговорах в царстве мертвых» (по материалам Отдела рукописей Российской национальной библиотеки) // Два века русской классики. 2021. Т. 3, № 1. С. 224–243. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-224-243>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 224–243. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 224–243. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2021. **Elena A. Mikhailova**
The National Library of Russia
Saint Petersburg State University
St. Petersburg, Russia

Peter I and the Peter's Era in “Dialogues of the Dead” (Based on Materials from the Manuscript Department of The National Library of Russia)

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR), number 20-09-42025.

Abstract: The personality of Peter I and the realities of the Peter's era were reflected in the original genre, which is on the verge of historical science and literature, — “Dialogues of the Dead.” This genre became widespread in Europe at the end of the 17th — first half of the 18th century. It is generally accepted that “Dialogues” appeared in Russia in the middle of the 18th century in journal publications — translations of satirical works of Lucian and Fontenelle, as well as imitations of them. However, archival materials testify that “Dialogues” existed in the Russian manuscript tradition in the first half of the 18th century, and these are historical and biographical texts that provide information about the course of the Northern War, the European setting of Peter's time, and outstanding commanders of this era. These dialogues are translations from German of D. Fassmann's works. Peter I himself, as the protagonist of “Dialogues of the Dead,” first appeared in a Russian manuscript book (and later in print) not in translated texts, but in an original work. Its author is considered to be one of the first biographers of Peter I, P. N. Krekshin. This “Dialogues” became a real literary panegyric to the Russian emperor, also due to its special artistic form.

Keywords: Dialogues of the Dead, Peter I, Peter's era, P. N. Krekshin, D. Fassman, handwritten book.

Information about the author: Elena A. Mikhailova, PhD in Art History, The National Library of Russia, Sadovaya 18, 191069 St. Petersburg, Russia; St. Petersburg University, Universitetskaya nab., 7–9, 199034 St. Petersburg, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4322-5117>

E-mail: Elena.mikhailova@inbox.ru

Received: October 18, 2020

Approved after reviewing: January 14, 2021

Published: March 22, 2021

For citation: Mikhailova, E. A. “Peter I and the Peter's Era in ‘Dialogues of the Dead’ (Based on Materials from the Manuscripts Department of The National Library of Russia).” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 224–243. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-224-243>

Существуют сочинения, пограничные между наукой и искусством, историей и литературой, философией и сатирой. Жанры, в которых они созданы, позволяют обсуждать темы с разных ракурсов, точек зрения, выстраивать удивительные концепции. Именно к таким жанрам относятся «Разговоры в царстве мертвых».

С конца XVII в. этот жанр получил большое распространение в Европе, а затем и в России. И это не удивительно: в «Разговорах» заложена очень оригинальная идея — общение персонажей, встреча которых в силу разных обстоятельств была невозможна на этом свете, и даже если бы они и встретились, то их разговор был бы совершенно отличным от того, каким он оказывается в потустороннем мире, с «высоты» прожитой жизни.

Сама форма подачи идеи в виде диалога пришла из Античности, от философских диалогов Платона: уже тогда было ясно, что именно такой способ изложения помогает максимально раскрыть истину, искусно заданные вопросы позволяют постичь обсуждаемый предмет в объеме, в его многогранности. Во II в. нашей эры происходит расцвет «платоновских» школ и эту форму — форму диалогов — мы видим уже не только в области философии, но и в раннехристианских сочинениях полемического характера (таковы диалоги «Прение Иасона и Паписка о Христе», приписываемый Аристону из Пеллы, «Октавий» Минуция Феликса, содержащий полемику с язычеством [Зуева 2011а: 9–10], «Диалог с Трифоном Иудеем» Св. Иустина Философа [Зуева 2011а; Зуева 2011б: 194] и другие). В форме диалогов писал свои произведения и один из ярких писателей эпохи Второй софистики Лукиан из сирийского городка Самосаты¹. Классическую форму диалога он использовал для литературных целей и, главным образом, акцентуации сатирического подтекста. Его произведения пользовались большим успехом у публики.

¹ Годы его жизни: ок. 125 — после 180. О нем см.: [Гаспаров].

Именно Лукиан стал основоположником жанра «Разговоры в царстве мертвых». Под таким общим названием он объединил группу небольших диалогов (этих диалогов тридцать). Герои литературных миниатюр — Харон (перевозчик умерших через реку Стикс), Гермес (проводник душ в царство мертвых), бог подземного царства Плутон, философы, исторические деятели — цари, зодчие и пр. Стоит отметить, что диалоги людей и богов, оказавшихся в потустороннем мире, встречаются не только в этом произведении: можно назвать и отдельные сочинения, такие, как «Переправа или Тиран», «Менипп или Путешествие в подземное царство». Есть и «обратный» вариант диалога: Харон поднимается на землю, на которой никогда не был (для него «потусторонним» оказывается наш мир).

Таким образом, тема переосмысления определенных явлений в царстве живых и в царстве мертвых очень занимала Лукиана. Царство мертвых становится неким зеркалом мира живых, но зеркалом, в котором всё отражается с другим знаком: богачи здесь страдают, расставшись с богатством, красавцы — расставшись с красотой, бедные же радуются, потому что теперь им не надо думать, где достать кусок хлеба¹. Нередко в диалогах Лукиана противопоставлены не только миры — мир живых и мир «потусторонний», — но и сами герои: богатый и бедный, молодой и старик, и т. д. При этом форма диалога и обстоятельство, в котором происходит разговор (в царстве мертвых), позволяет максимально выявить суть проблемы, наиболее ярко выставить характер противопоставлений образов и явлений.

Интерес к оригинальной литературной форме и самой идее, найденной Лукианом, с особенной силой возродился в эпоху Ренессанса. Сочинения самого Лукиана публикуются в XVI–XVII вв. А в контексте так называемого «спора о древних и новых», развернувшегося во Франции во второй половине XVII в., неудивительно, что появляется произведение, продолжающее и развивающее идею «Разговоров в царстве мертвых» Лукиана: в 1683 г. из печати выходят «Новые диалоги мертвых» Бернара де Фонтенеля [Fontenelle]. Фонтенель представил, как могла бы сложиться беседа великих людей на том свете при обсуждении философских, социально-политических и тому подобных тем, чем вызвал в обществе немалые споры [Момджян: 47]. Автор с

¹ Здесь напрашиваются параллели с концепцией «изнаночного мира» Д. С. Лихачева (см.: [Лихачев]).

первых же строк говорит о связи своего сочинения с диалогами Лукиана: первый раздел, выполняющий роль авторского вступления, так и назван — «К Луциану». Начинается он так: «Знаменитый Мертвый! Справедливость требует, чтобы я заплатил тебе признательностью за мысль от тебя заимствованную» [Фонтенель: XIX]. Однако, обращаясь к предшественнику, Фонтенель уточняет важный момент: «Ты мог выдумывать некоторых своих мертвых и даже самые приключения, им приписываемые; но я не имею надобности в сем преимуществе. История достаточно снабдила меня подлинными мертвыми и подлинными происшествиями, и избавила меня от труда, вымышлять» [Фонтенель: XXII]. Иными словами, если диалоги Лукиана основаны на вымысле и происходят между вымышленными героями (в том числе и богами), то Фонтенель выстраивает разговор между реально существовавшими лицами, обсуждающими правдивые ситуации. Кроме того, по мнению автора, мертвые умнее живых «по причине их опытности» и рассуждают иначе, чем когда были живыми: «Они лучше судят о здешних высоких предметах, ибо взирают на них с большим равнодушием и спокойствием духа» [Фонтенель: XXI]. Диалоги Фонтенеля чуть более развернуты, чем Лукиановы, и несколько другие по интонации: это светская беседа (по свидетельству первого переводчика «Диалогов» на русский язык, они написаны «языком светским, придворным, щегольским; языком века Людовика XIV» [Фонтенель: X]). Все эти свойства вкуче дают прекрасную возможность оригинальным образом доносить философские идеи своего времени.

Зарубежные исследователи считают, что именно диалоги Фонтенеля установили жанровую модель «Разговоров в царстве мертвых»: это краткий диалог в парах, участники которого — исторические личности, при этом обсуждение касается острой актуальной темы [Correard].

В самом начале XVIII в. тема живых и мертвых захватила и Англию: в 1702 г. Томас Браун с соавторами вводит новый жанровый вариант этой темы: из печати выходят «Письма от мертвых к живым» [Brown]. Семантика диалога сохраняется, но всё же на первое место теперь выходит монологическое высказывание автора письма. В 1708 г. на английский язык переводятся и диалоги Фонтенеля. «Письма от мертвых к живым» не единственный пример обращения к жанру «Разговоров в царстве мертвых» английских писателей XVIII в.: традицию продолжают «Диалоги мертвых» лорда Литтлтона, изданные в 1760 г. [Dialogues

of the Dead]. Причем во многом эти диалоги вновь приближаются к жанровым особенностям «разговоров» Лукиана.

В 1712 г. в Европе появляются очередные «Диалоги мертвых» [Dialogues des morts] — «морально-публицистические рассуждения, ведущиеся от лица великих людей прошлого» [Галицкий]. Их автор — Франсуа де Фенелон (François de Salignac de La Mothe-Fénelon). В каждом диалоге нарочито проводилось житейское или политическое нравоучение: Фенелон был воспитателем внука Людовика XIV и «Диалоги» создавались автором в образовательных целях (что нашло отражение и в полном названии — «Диалоги мертвых, сочиненные для воспитания принца»). В 1725 г. издается «Почта из потустороннего мира» испанского автора Торреса Виллароеля [Correo del otro mundo] — произведение продолжает и расширяет существующие жанровые модели, включая не только формы диалога и письма, но и такие новые явления для данного жанра как сновидения. Кроме того, здесь впервые появляется и автобиографический смысловой план (письма из потустороннего мира получает сам автор повествования).

Германия тоже включается в эту игру жанров вокруг «Разговоров в царстве мертвых», причем дает очередной вариант — публицистический: с 1718 по 1740 г. под таким названием («Gespräche in dem Reiche derer Todten») в Лейпциге выходит журнал, каждый номер которого представляет собой диалог исторических личностей. Идея такого издания и сами тексты диалогов принадлежат Давиду Фассману (David Fassmann). В рамках журнала Фассман издал 16 томов и 240 диалогов. Эти диалоги уже не являются сатирическими: они приближаются к жанру биографии, исторического описания, причем описания довольно развернутого. Новый жанровый вариант спровоцировал и новое обозначение каждого произведения: это уже не «диалоги», не «письма», а «entrevuen» — устаревшее слово, имеющее значение «интервью», что не удивительно, ведь «Разговоры» появились в журнальном варианте. Но именно форма интервью позволяет давать большие монологические фрагменты: в центральной части большинства «Разговоров» каждый герой по просьбе другого рассказывает историю своей жизни, более подробно останавливаясь на тех или иных событиях. В конце разговора является Секретарь и приносит вести с земли, что дает повод героям обсудить и актуальные для читателя проблемы [Sammons].

Параллельная история происходит во Франции: с 1722 по 1724 г. выходят «Беседы теней на Елисейских полях» с подзаголовком «на различные сюжеты истории, политики и морали» («Entretiens des ombres aux Champs Elysées sur divers sujets d'histoire, de politique & de morale»). Их автор — Антуан де ля Мартиньер (Antoine Bruzen de La Martinière). Это тот же жанровый вариант, что и у Фассмана — два персонажа, в долгом диалоге обменивающиеся историей своей жизни. Интервью также выходили раз в месяц, в журнальных публикациях, причем в предисловии автор указывает, что они являются переводом с немецкого произведения под названием «Диалоги мертвых» («Dialoges des morts»), которое появилось в Лейпциге в 1618 г. Это очевидный намек на Фассмана, журнал которого издавался в Лейпциге с 1718 г., хотя его фамилия в предисловии ни разу не произносится. Действительно, отдельные «Беседы с тенями» являются вольным переводом «Разговоров» Фассмана, при этом французский словарь периодики XVII–XVIII вв. утверждает, что тексты «Бесед» вполне оригинальны [Granderoute].

Таким образом, уже буквально в первой четверти XVIII в. в европейской литературе и публицистике виден огромный интерес к жанру «Разговоров в царстве мертвых», причем этот жанр получает массу разновидностей и форм.

Традиционно принято считать, что в России «Разговоры» появились в середине XVIII в. в журнальных публикациях. Действительно, это были прежде всего переводы произведений Лукиана и Фонтенеля и подражания их сочинениям (исследователи относят их к так называемой «менипповой сатире»). Первым же русским автором оригинальных текстов жанра «Разговоров в царстве мертвых» называют Александра Петровича Сумарокова [Синельникова], при этом важно отметить, что он продолжал и развивал именно сатирическое направление, идущее от Лукиана.

Но всё же первой «Разговоры» восприняла не печатная, а рукописная традиция. Архивные документы говорят о том, что это произошло уже в 20-х гг. XVIII в., и тексты представляли собой вовсе не сатирические диалоги: Россию интересовало историко-биографическое направление, которое развивал в своих «Разговорах» Давид Фассман. Насколько нам известно, переводы фассмановских «Разговоров» так и не были изданы в России, и отдельные диалоги существовали на русском

языке только в рукописных списках, в отличие от сочинений Лукиана, Фонтенеля, Фенелона и других авторов.

Крайне интересен и показателен выбор «Разговоров», переведенных и представленных в русской рукописной книге. В журнальных *entrevuen* Фассмана достаточно широко присутствует тема России (что вполне закономерно, ибо важнейшим событием европейской истории начала XVIII в. стало, конечно, включение России в европейскую цивилизацию). Среди вступающих в диалог — Иван Грозный, Петр Великий, Екатерина I, Анна Иоанновна, Петр II, царевич Алексей Петрович, Александр Данилович Меншиков, Василий Васильевич Голицын, называют еще Карла фон Гохмута, с 1704 г. служившего в российской армии, и еще несколько имен, имеющих отношение к России. Некоторые диалоги охватывают не один, а несколько журнальных выпусков. Так, *entrevuen* № 83–86 представляют собой диалог Ивана Грозного и Петра I: европейцам было интересно узнать о наших царях, сопоставить их, а через их беседу сопоставить старую и новую Россию [Скворцова: 280].

Но в России на тот момент знание о том, как нашу страну, нашего императора и нашу историю воспринимают в Европе, было не столь актуально. Зато, очевидно, была большая потребность в информации о ходе Северной войны, о европейских полководцах, о том, как чувствовал и ощущал себя противник, как он видел ситуацию. Поэтому на русский язык оказались переведены другие диалоги Фассмана, и списки этих переводов достаточно широко представлены в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки¹.

Больше всего списков (более 10) представляют собой перевод разговора в царстве мертвых между Карлом XII и герцогом Голштейн Готторпским под названием (с вариантами) «Весьма нечаянное и внезапное пришествие Карола второго надесять в государство умерших». Карл XII — король Швеции, воевавший в Северной войне против России, т. е. главный оппонент Петра Великого. Северная война — большое политическое событие европейского масштаба. «На место Шведского

¹ Основной корпус списков «Разговоров в царстве мертвых» в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, в том числе и связанных с Петровской эпохой, был выявлен Н. Марчалис: [Марчалис]. В данный момент идет корректировка этого списка в отношении произведений, в которых так или иначе затрагивается Петровская эпоха и личность Петра Великого.

королевства, сильнейшей державы балтийского региона, в системе международных отношений вышла Российская империя. Срединными персонами исторического процесса, благодаря деятельности которых политическая карта Европы приобрела иные очертания, являлись Карл XII и Петр I Великий» [Кротов: 396–397]. По мнению П. А. Кротова, именно личные качества и активная антироссийская политика Карла XII «стали одним из главных факторов того, что Россия в ходе Великой Северной войны превратилась в великую державу» [Кротов: 406]. Очевидно, это понимал сам Петр I, и понимали его современники. Поэтому вполне закономерен интерес к его личности — личности, повлиявшей на глубочайшие изменения в жизни российского общества и российского государства.

Король шведский Карл XII умер неожиданно 30 ноября (по старому стилю) 1718 г. от мушкетной пули при осаде крепости Фредрикстен в Норвегии. Очевидно, такая смерть настолько потрясла европейцев, что характер восприятия этого события нашел отражение в самом названии диалога: пришествие Карла XII в царство умерших — «весьма нечаянное и внезапное».

Диалог шведский король вел с Фридрихом IV Голштейн Готторпским, герцогом Шлезвига — своим зятем (Фридрих IV был мужем сестры Карла XII). Герцог был убит в ходе Северной войны в 1702 г., и после его смерти жена и сын были вынуждены искать защиту при дворе Карла XII. Сын Фридриха IV, Карл Фридрих Голштейн Готторпский, после окончания Северной войны переехал в Россию и в 1725 г. женился на дочери Петра I Анне, поэтому личность самого герцога Голштейн Готторпского также была интересна российским политикам и читателям.

После вступительной части к диалогу Карла XII с герцогом Голштейн Готторпским в русских рукописных списках присутствует фраза: «Напечатано во Франкфурте и Лейпциге в 1720 году»¹. Это прямое указание на первоисточник: соответствующий номер журнала Давида Фассмана, содержащий диалог Карла XII с Герцогом Голштейн Готторпским, вышел во Франкфурте и Лейпциге именно в 1720 г. В одном из списков после даты добавлена еще более конкретная информация: «на немецком языке»².

¹ См., например: ОР РНБ. Ф. 775 (Собрание А. А. Титова). № 382. Л. 2 об.

² ОР РНБ. ОЛДП. Ф. 28. Л. 1.

В рукописных списках после основного диалога короля шведского с герцогом Голштейн Готторпским следует особый раздел, который не мог не привлечь пристальное внимание российских читателей: «Географическое описание королевства шведского и принадлежащих ко оному в начале сей войны немецких провинций»¹. В разделе описаны в том числе и земли, приобретенные Россией в результате Северной войны, — а ведь именно эти земли, давшие выход к Балтийскому морю, стали одним из ключевых факторов в стремительном развитии России, а также изменении статуса страны в европейском сознании. Есть упоминание и о построенном «в некотором месте на острове» главном городе Петра — городе «именем Санкт-Питербурх: на Неве реке недалеко от бывшего, а ныне разоренного Ниеншанца»².

Ряд рукописных книг (на данный момент их выявлено шесть), хранящихся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, содержат разговор Иоганна Рейнгольда фон Паткуля с бароном Георгом Генрихом фон Гёрцем. Иоганн Паткуль, лифляндский дворянин, с 1701 г. стал русским офицером в чине генерал-комиссара, вскоре же был произведен в генерал-лейтенанты. Паткуль служил русским послом в Польше, участвовал в некоторых военных операциях, однако предательство Саксонских министров привело к его выдаче шведскому правительству. В 1707 г. Паткуль был казнен. Барон Георг Генрих фон Гёрц же с конца XVII в. служил у герцога Фридриха Голштинского, а вскоре стал членом Голштинского правительства. Однако после смерти самого герцога покинул Голштинию и оказался на службе у Карла XII. После смерти шведского короля барон фон Гёрц был арестован и в 1719 г. приговорен к смертной казни. Таким образом, оба героя диалога были казнены: один по приказу Карла XII, другой из-за того, что выполнял его приказы.

Собственно, именно с темы смерти и разного отношения к шведскому королю и начинается их диалог в царстве мертвых. Центральная часть этого «Разговора», как и многих других фассмановских диалогов, — рассказ главных героев о себе. Поскольку разговор идет в царстве мертвых, особый акцент они делают на том, что их привело к смерти. И в центре внимания, конечно, находится военная обстановка в условиях Северной войны и шведский король Карл XII. Разумеется, в

¹ См., например: ОР РНБ. Ф. 775 (Собрание А. А. Титова). № 382. Л. 251.

² ОР РНБ. Ф. 775 (Собрание А. А. Титова). № 382. Л. 257.

разговоре упоминают и Россию, тем более что Паткуль некоторое время служил нашему государству.

Следует особо отметить окончание вступительного раздела к переводу: «переведено с немецкого на славянский язык в 1722 году»¹. Номер же журнала Фассмана с «Разговором» Иоганна Рейнгольда фон Паткуля с бароном Георгом Генрихом фон Гёрцем вышел из печати в 1719 г., сразу после смерти Генриха фон Гёрца. То есть русский перевод был сделан уже через 3 года после появления немецкого текста Фассмана.

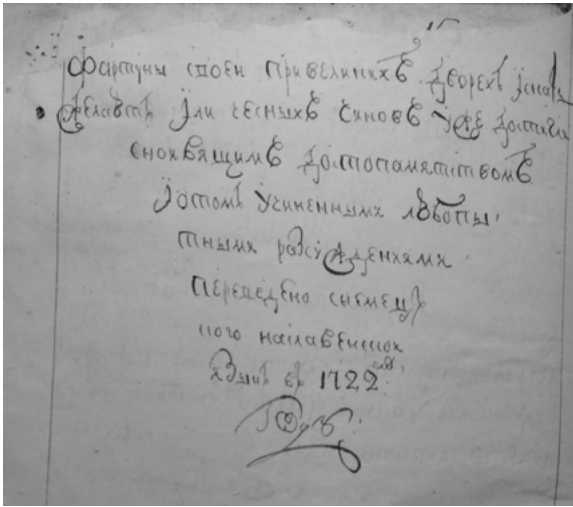


Рис. 1. Окончание вступительного раздела к переводу «Разговора» Иоганна Рейнгольда фон Паткуля с бароном Георгом Генрихом фон Гёрцем.

И еще один диалог встречается в рукописном собрании Отдела рукописей Российской национальной библиотеки — «Разговор между Леопольдом I Цесарем Римским, и Людовиком XIV королем Французским». Это тоже герои рубежа XVII–XVIII вв., бывшие при жизни главными соперниками. «Для чего нам невозможно было во время жизни нашей жить яко добрым друзьям, и какая причина была антипатии между домом аустрийским и домом бурбонским, и для чего [с]только крови пролито»² — вопрошает Людовик в одной из первых же реплик.

¹ См., например: ОР РНБ. Ф. 487 (Н. М. Михайловский). Оп. 2. № 272. Л. 1 об.

² ОР РНБ. Ф. 775 (Собрание А. А. Титова). № 4062. Л. 5.

Конечно, смысловым центром их монологов были войны друг с другом, главным образом — война за испанское наследие. Но общеевропейские проблемы, связанные со Швецией, Померанией и проч., также упоминаются.

В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки хранится рукописная книга, включающая сразу несколько произведений этого жанра¹. В оглавлении указано четыре «Разговора в царстве мертвых»: 1. «Между Леопольдом Первым Цесарем Римским, и Людовиком Четыре надесятым королем Французским»; 2. «Между Густавом Адольфом королем Шведским, и Карлосом Первым королем Английским»; 3. «Между Карлусом Вторым надесять Королем швецким, и зятем Его Герцогом Голштинским» и 4. «Между Генералом лейтенантом Иоганом Ренголтом фон..., Герцом швецким министром» (очевидно, имелось в виду между Иоганном Рейнголтом фон Паткулем и бароном Георгом Гендрихом фон Герцом)². Однако на деле сборник включает только два диалога: между Леопольдом I и Людовиком XIV, а также между Карлом XII и герцогом Голштинским³.

Все диалоги, о которых шла речь выше, описывают европейскую политическую ситуацию Петровского времени, обстановку Северной войны, окружения России, главного противника Петра I — шведского короля Карла XII. А как же сам Петр Великий? Был ли он воплощен более ярко в русской рукописной традиции XVIII в. в жанре «Разговоров в царстве мертвых»?

Образ Петра I в качестве главного героя «Разговоров» в русской рукописной книге (а позже и в печати) впервые предстал не в переводном

¹ ОР РНБ. Ф. 775 (Собрание А. А. Титова). № 4062.

² ОР РНБ. Ф. 775 (Собрание А. А. Титова). № 4062. Л. 1–1 об.

³ В каталоге Н. Марчалис «Разговоры в царстве мертвых в русской литературе XVIII века» диалог между Густавом Адольфом королем Шведским и Карлом I королем Английским ошибочно указан присутствующим в данном сборнике, причем, в соответствии с каталогом, это единственный список Густава Адольфа с Карлом I, представленный в ОР РНБ [Марчалис: 289]. Таким образом, списков данного диалога в ОР РНБ на сегодняшний момент не выявлено. Правда, к Петру I и Петровской эпохе он вряд ли имеет отношение: герои этого диалога жили в первой половине XVII в. Возможно, именно в этом и была причина отсутствующего интереса к данному «Разговору» и, как следствие, отсутствие его в рукописном сборнике.

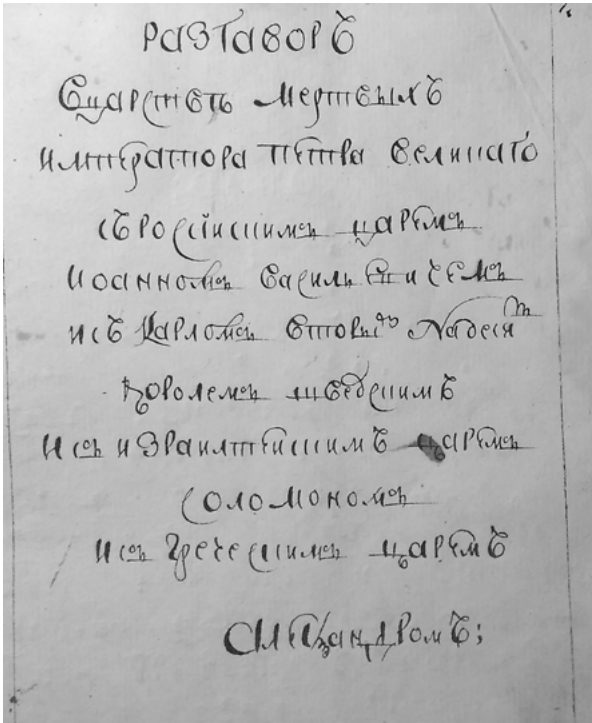


Рис. 2. «Разговор в царстве мертвых Императора Петра Великого с российским царем Иоанном Васильевичем, и с Карлом вторым надесять королем шведским, и с израильским царем Соломоном, и с греческим царем Александром». Титульный лист.

варианте, а в оригинальном тексте. Сочинение это бытовало в рукописной традиции без имени автора, под названием «Разговор в царстве мертвых Императора Петра Великого с российским царем Иоанном Васильевичем, и с Карлом вторым надесять королем шведским, и с израильским царем Соломоном, и с греческим царем Александром»¹.

Чтобы показать особый масштаб личности российского императора и его историческую значимость, автор привнесит новые элементы в жанр «разговоров», причем форма меняется ради достижения определенного художественного эффекта. «Разговоры» состоят из 3-х частей. Первая часть — диалог прибывшего в царство мертвых графа Бори-

¹ См., например: ОР РНБ. Ф. 487 (Н. М. Михайловский). Оп. 2. № 271. Л. 1.

са Петровича Шереметева с царем Иоанном Васильевичем¹. Грозный спрашивает, кто сейчас на Руси царь — и Шереметев ему рассказывает про Петра, отвечая на различные вопросы, интересующие царя. То есть Петр первоначально представлен с помощью косвенной характеристики. Во второй части «Разговоров» в царство мертвых прибывает уже сам Петр I, и следует его диалог с Иваном Грозным. В этом разделе речь идет, в основном, о военных и других достижениях и заслугах Петра. Третья часть сочинения утверждает признание его царями и императорами разных стран и разных эпох, воздающими хвалы Петру Великому, то есть автор выводит его имя как за пределы российской империи, так и за пределы эпохи его правления. Таким образом, это произведение — своего рода литературный панегирик первому российскому императору, преподнесенный в необычной форме разговоров в царстве мертвых.

«Разговор в царстве мертвых Императора Петра Великого...» обогащен и семантикой почтового сообщения между царством мертвых и царством живых. Основной части текста предшествует следующее предисловие: «В недавнем времени прибыл из царства мертвых в мир живущих на земли древний Меркурей, имея у себя великий пакет писем, собранной в царстве мертвых из разных кабинетов о разговорах в царстве мертвых великих монархов, герцогов и славных ковалеров и знатных особ, при разбирании онаго пакета найден был между прочим пакет о разговоре в царстве мертвых Императора Петра Великого с царем Иоанном Васильевичем, и с королем Швециким Карлом Вторым надесять, и с израильским царем Соломоном, и з греческим царем Александром»².

В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки на данный момент выявлены четыре рукописные книги, содержащие это произведение³. Все они по бумаге датируются примерно 1760-ми гг. XVIII в. Изданы же «Разговоры» были лишь в 1788 г., правда, под немного другим названием: «Краткое описание Славных и Достопа-

¹ Б. П. Шереметев умер в 1719 г.

² Вариант предисловия из списка: ОР РНБ. Ф. 166 (Собрание П. П. Вяземского). Q. 11. Л. 1 об.

³ ОР РНБ. Ф. 166 (Собрание П. П. Вяземского). Q. 11; ОР РНБ. Ф. 487 (Н. М. Михайловский). Оп. 2. № 271; ОР РНБ; Ф. 359 (Собрание Н. Я. Колобова). № 401; ОР РНБ. F. XV. 79.

мятных дел императора Петра Великого, его знаменитых побед и путешествий в разные Европейские Государства, со многими важными и любопытства достойными происшествиями, Представленное разговорами в царстве мертвых Генерал-Фельдмаршала и кавалера Российских и Мальтийского орденов Графа Бориса Петровича Шереметева, боярина Федора Алексеевича Головина и самого сего Великого Императора с Российским Царем Иоанном Васильевичем, с Шведским Королем Карлом XII, Израильским Царем Соломоном и Греческим Царем Александром». При этом в предисловии публикатор отмечает, что нашел в библиотеке покойного Графа Петра Александровича Бутурлина «одну старую рукопись, содержанием которой есть разговор в царстве мертвых...» [Краткое описание: 1].

Авторство этих «Разговоров» приписывается младшему современнику российского императора Петру Никифоровичу Крекшину, фактически первому биографу Петра I [Мезин], для которого был открыт доступ к архивам и документам Петра. Действительно ли Крекшин был автором «Разговоров в царстве мертвых Императора Петра Великого...», и если был, то когда их написал — на сегодняшний день неизвестно. Скорее всего, это произошло в елизаветинское время, когда начался рост интереса к личности и деятельности Петра Великого [Вознесенская, Базарова: 10]. На авторство Крекшина в издании есть два указания. Известно, что в 1742 г. П. Н. Крекшин поднес Елизавете Петровне рукопись сочинения под заглавием «Краткое описание блаженных дел великого государя императора Петра Великого самодержца Всероссийского, собранное чрез недостойный труд последнего раба Петра Крекшина дворянина Великого Новаграда» [Плюханова: 17]. Начало названия изданных «Разговоров» — «Краткое описание Славных и Достопамятных дел императора Петра Великого...» — относит читателя к сочинению Крекшина. Но в одном месте, далеко не явном, можно увидеть и непосредственно фамилию Петра Никифоровича. В конце второй части повествования, на странице 67 издания, в тексте обозначен пропуск слова, и внизу страницы — единственное в этой публикации примечание: «В подлиннике оставлено пустое место кажется для того, что или Г. Крекшин не знал о числе Армии, находившейся при осаде Риги, или сие упущение сделалось от переписчиков» [Краткое описание: 67]. Кроме того, исследователи отмечают характерный «панегирический тон изложения» произведений Крекшина, посвящен-

ных Петру I [Никанорова: 119] — и это также корреспондирует с «Разговорами Петра Великого в царстве мертвых...».

Списки сочинений о жизни и деятельности Петра I в середине XVIII в. широко распространялись в российском обществе. Как отмечают Т. А. Базарова и И. А. Вознесенская, труды некоторых авторов, в том числе и Крекшина, «способствовали беллетризации истории петровского времени, превращая ее в увлекательное и поучительное семейное чтение» [Базарова, Вознесенская: 80]. Но еще ранее этому же, несомненно, способствовали и переводы диалогов Фассмана. С другой стороны, в конце 50-х — в 60-х гг. XVIII в. в русской печати появляются переводы лукиановых разговоров, диалогов Фонтенеля и Фенелона, свои «Разговоры в царстве мертвых» создают Сумароков, Херасков, Приклонский, Чулков, издаются и переводы новых европейских произведений, представляющих «Разговоры» Петра Великого с европейскими королями¹. И такому расцвету жанра «разговоров в царстве мертвых» в русской литературе, причем расцвету, связанному с сатирическим пониманием жанра, предшествовала рукописная традиция переводных и авторских сочинений историко-биографического варианта жанра «разговоров» — произведений о петровском времени и о личности самого Петра.

¹ О журнальных публикациях «Разговоров», см., например: [Готовцева].

Список литературы
Источники

Галицкий Л. Фенелон // Литературная энциклопедия: в 11 т. [М.], 1929–1939. М.: Худож. лит., 1939. Т. 11. Стб. 695.

Краткое описание славных и достопамятных дел императора Петра Великого, его знаменитых побед и путешествий в разныя Европейския Государства, со многими важными и любопытства достойными произшествиями, Представленное разговорами в царстве мертвых генерал-фельдмаршала и кавалера российских и Малтийскаго орденов Графа Бориса Петровича Шереметева, боярина Федора Алексеевича Головина и самого сего Великаго Императора с Российским Царем Иоанном Васильевичем, с Шведским Королем Карлом XII, Израильским Царем Соломоном и Греческим Царем Александром. СПб.: Имп. тип., 1788. 104 с.

Фонтенель Б. Разговоры в царстве мертвых древних и новейших лиц / пер. с франц. И. Бутовски. СПб.: Воен. тип. гл. штаба е.и.в., 1821. 379 с.

Brown Th., Ayloff W., Barker H. Letters From The Dead To The Living. London: Printed in the Year, 1702. [16], 264 p.

Correo del otro mundo al Gran Piscator de Salamanca. Cartas respondidas a los muertos por el mismo Piscator. Salamanca, Eugenio García de Honorato y S. Miguel, 1725. 96 p.

Dialogues des morts composez pour l'éducation d'un prince. Paris: Chez Florentin Delaulne, 1712. 314 p.

Dialogues of the Dead. London: Printed for W. Sandby, 1760. 320 p.

Fontenelle B. Nouveaux dialogues des morts. Paris: C. Blageart, 1683. 263 p.

Исследования

Базарова Т. А., Вознесенская И. А. Рукописные сборники о Петре Великом: проблема кодикологического изучения // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2017. Т. 22. № 3. С. 75–84.

Вознесенская И. А., Базарова Т. А. Петровское время в рукописной традиции // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2019. № 4 (97). С. 9–19.

Готовцева А. Г. «Разговоры по подобию Лукиановых»: жанр «разговоров» в журнале Академии наук «Ежемесячные сочинения» // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2018. № 1. С. 9–16. <https://doi.org/10.28995/2073-6355-2018-1-9-16>

Зуева Е. В. Влияние пересказанных диалогов Платона на литературную форму «Диалога с Трифоном Иудеем» Св. Иустина Философа: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2011. 26 с.

Зуева Е. В. Композиционная структура «Диалога с Трифоном иудеем» св. Иустина философа (II в.) на фоне пересказанных диалогов Платона // Индоевропейское языкознание и классическая филология — XV. Чтения памяти И. М. Тронского. СПб.: Наука СПб., 2011. С. 194–205.

Гаспаров М. Л. Вторая софистика. Жанры и представители // История всемирной литературы: в 8 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1983–1994. Т. 1: 1983. С. 493–500.

Исаченко Е. Г. «Разговоры в царстве мертвых» А. П. Сумарокова // Литературная культура России XVIII века / отв. ред. П. Е. Бухаркин, Е. М. Матвеев. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. С. 100–118.

Кротов П. А. Шведский король Карл XII и формирование России как великой державы // Научный диалог. 2019. № 10. С. 396–411.

Лихачев Д. С. Смеховой мир Древней Руси. Л.: Наука, 1976. 204 с.

Марчалис Н. Разговоры в царстве мертвых в русской литературе XVIII века // Europa Orientalis. 1988. № 7. С. 285–305.

Мезин С. А. О первых историках Петра Великого (Заметки на полях современных изданий) // История Петербурга. 2009. № 1 (47). С. 89–94.

Момджян Х. Н. Французское просвещение XVIII века: очерки. М.: Мысль, 1983. 447 с.

Никанорова Е. К. Исторический анекдот в русской литературе XVIII века: Анекдоты о Петре Великом. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 464 с.

Плюханова М. Б. История юности Петра I у П.Н. Крекшина // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1981. Вып. 513. С. 17–39.

Синельникова Г. П. Сатирические диалоги (разговоры) как оригинальный жанр журнальной публицистики XVIII века // Культура и текст. 1998. № 4. С. 41–46.

Скворцова Е. А. Иллюстрации к «Разговору в царстве мертвых замечательного русского царя Петра Великого и ужасного тирана Ивана Васильевича II» (Ивана Грозного) Д. Фассмана (1725) как инструмент конструирования представлений о России в Европе // Slovene. 2017. № 2. С. 276–309.

Correard N. Les dialogues des morts: forme, genre ou module générique? URL: <http://sflgc.org/wp-content/uploads/2019/04/Correard-Nicolas.pdf> (дата обращения: 08.01.2021).

Granderoute R. Entretiens des Ombres aux Champs Elisées // Dictionnaire des journaux. 1600-1789. URL: <http://dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/journal/0368-entretiens-des-ombres-aux-champs-elysees> (дата обращения: 18.01.2021)

Sammons Ch. David Fassmann's Gespräche in dem reiche derer todten // The Yale University Library Gazette, Vol. 46. No. 3 (January 1972). P. 176–178.

References

Bazarova, T. A., Voznesenskaia, I. A. “Rukopisnye sborniki o Petre Velikom: problema kodikologicheskogo izucheniia” [“Handwritten Collections about Peter the Great: the Issue of Codicological Study”]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serii 4: Istorii. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniia*, 2017, vol. 22, no. 3, pp. 75–84. (In Russ.)

Voznesenskaia, I. A., Bazarova, T. A. “Petrovskoe vremia v rukopisnoi traditsii” [“Peter’s Time in the Handwritten Tradition”]. *Vestnik Rossiiskogo fonda fundamental’nykh issledovani. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki*, 2019, no. 4 (97), pp. 9–19. (In Russ.)

Gotovtseva, A. G. “Razgovory po podobiiu Lukianovykh’: zhanr ‘razgovorov’ v zhurnale Akademii nauk ‘Ezhemesiachnye sochineniia.’” [“Conversations in the Manner of the Lucian: the Genre of ‘Conversations’ in the Journal of the Academy of Sciences ‘Monthly Compositions.’”] *Vestnik RGGU. Seriiia “Literaturovedenie. Iazykoznanie. Kul’turologiia”*, 2018, no. 1, pp. 9–16. <https://doi.org/10.28995/2073-6355-2018-1-9-16> (In Russ.)

Zueva, E. V. *Vliianie pereskazannykh dialogov Platona na literaturnuiu formu ‘Dialoga s Trifonom Iudeem’ Sv. Iustina Filozofa: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk* [Influence of the Retold Dialogues of Plato on the Literary Form of “Dialogue with Tryphon the Jew” by St. Justin the Philosopher: PhD Thesis, Summary]. Moscow, 2011. 26 p. (In Russ.)

Zueva, E. V. “Kompozitsionnaia struktura ‘Dialoga s Trifonom iudeem’ sv. Iustina filozofa (II v.) na fone pereskazannykh dialogov Platona” [“The Compositional Structure of ‘Dialogue with Tryphon the Jew’ by St. Justin the Philosopher (2nd Century) Against the Retold Dialogues of Plato”]. *Indoevropskoe iazykoznanie i klassicheskaia filologiia — XV. Chteniia pamiati I.M. Tronskogo [Indo-European Linguistics and Classical Philology — XV. Proceedings in Memory of I. M. Tronsky]*. St. Petersburg, Nauka SPb. Publ., 2011, pp. 194–205. (In Russ.)

Gasparov, M. L. “Vtoraia sofistika. Zhanry i predstaviteli” [“Second Sophistry. Genres and Representatives”]. *Istoriia vseмирnoi literatury: v 8 t. [History of World Literature: in 8 vols.]*, vol. 1. Moscow, Nauka Publ., 1983–1994, pp. 493–500. (In Russ.)

Isachenko, E. G. “Razgovory v tsarstve mertvykh’ A. P. Sumarokova” [“Conversations in the Kingdom of the Dead’ by A. P. Sumarokov”]. Bukharkin, P. E., Matveev, E. M., editors. *Literaturnaia kul’tura Rossii XVIII veka [Literary Culture of Russia in the 18th Century]*. St. Petersburg, St. Petersburg State University Publ., 2014, pp. 100–118. (In Russ.)

Krotov, P. A. “Shvedskii korol’ Karl XII i formirovanie Rossii kak velikoi derzhavy” [“Swedish King Carl XII and the Formation of Russia as a Great Power”]. *Nauchnyi dialog*, 2019, no. 10, pp. 396–411. (In Russ.)

Likhachev, D. S. *Smekhovoi mir Drevnei Rusi [The Laughing World of Ancient Russia]*. Leningrad, Nauka Publ., 1976. 204 p. (In Russ.)

Marchalis, N. “Razgovory v tsarstve mertvykh v russkoi literature XVIII veka” [“Conversations in the Kingdom of the Dead in Russian Literature of the 18th Century”]. *Europa Orientalis*, 1988, no. 7, pp. 285–305. (In Russ.)

Mezin, S. A. “O pervykh istorikakh Petra Velikogo (Zametki na poliakh sovremennykh izdaniy)” [“On the First Historians of Peter the Great (Notes on the Margins of Modern Editions)”]. *Istoriia Peterburga*, 2009, no. 1(47), pp. 89–94. (In Russ.)

Momdzhan, Kh. N. *Frantsuzskoe prosveshchenie XVIII veka: ocherki [French Enlightenment of the 18th Century: Essays]*. Moscow, Mysl’ Publ., 1983. 447 p. (In Russ.)

Nikanorova, E. K. *Istoricheskii anekdot v russkoi literature XVIII veka: Anekdoty o Petre Velikom [Historical Anecdote in Russian Literature of the 18th Century: Anecdotes about Peter the Great]*. Novosibirsk, Sibirskii khronograf Publ., 2001. 464 p. (In Russ.)

Plukhanova, M. B. “Istoriia iunosti Petra I u P. N. Krekshina” [“The Story of the Youth of Peter I in P. N. Krekshin’s Works”]. *Uchenye zapiski Tartuskogo universiteta*, 1981, issue 513, pp. 17–39. (In Russ.)

Sinel'nikova, G. P. "Satiricheskie dialogi (razgovory) kak original'nyi zhanr zhurnal'noi publitsistiki XVIII veka" ["Satirical Dialogues (Conversations) as the Original Genre of Journalism in the 18th Century"]. *Kul'tura i tekst*, 1998, no. 4, pp. 41–46. (In Russ.)

Skvortsova, E. A. "Illiustratsii k 'Razgovoru v tsarstve mertvykh zamechatel'nogo russkogo tsaria Petra Velikogo i uzhasnogo tirana Ivana Vasilevicha II' (Ivana Groznogo) D. Fassmana (1725) kak instrument konstruirovaniia predstavlenii o Rossii v Evrope" ["Illustrations to 'Gespräche in dem Reiche derer Todten zwischen dem vortreflichen Moscowitischen Czaar Petro Magno und dem grossen Tyrannen Ivan Basilowiz II' (Peter the Great and Ivan the Terrible) by David Fassmann (1725) as an Instrument of Constructing a Picture of Russia]. *Slovene*, no. 2, 2017, pp. 276–309. (In Russ.)

Correard, Nicolas. *Les dialogues des morts: forme, genre ou module générique?* Available at: <http://sflgc.org/wp-content/uploads/2019/04/Correard-Nicolas.pdf> (accessed 08 January 2021). (In French)

Granderoute, Robert. *Entretiens des Ombres aux Champs Elisées. Dictionnaire des journaux. 1600–1789*. Available at: <http://dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/journal/0368-entretiens-des-ombres-aux-champs-elysees> (accessed 18 January 2021). (In French)

Sammons, Christa. David Fassmann's *Gespräche in dem reiche derer todten*. *The Yale University Library Gazette*, vol. 46, no. 3 (January 1972). S. 176–178. (In German)

© 2021. И. И. Сизова

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук,
г. Москва, Россия

Проблема критики текста рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и Бог»

Аннотация: Статья посвящена проблеме критики текста рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и Бог» (1885), ее цель — обоснование выбора основного источника текста для публикации и очищение его от искажений. В исследовательской литературе открыт вопрос, связанный с уточнением истории становления художественного целого данного произведения, не восстановлена детализация заключительных этапов в его создании, отсутствует конкретизация эдичии этого литературного памятника. Предлагаемая работа выполнена в определенной последовательности. Сначала были выявлены все разночтения между первыми прижизненными изданиями 1885–1886 гг., затем проведен их сопоставительный анализ с рукописными материалами. На завершающем этапе классификация этих разночтений соотнесена с текстологической практикой предшественников. В результате теоретически обоснован выбор текста рассказа из двенадцатой части «Сочинений графа Л. Н. Толстого» (1886) в качестве основного источника для публикации, составлен и аргументирован перечень рекомендуемых его исправлений по рукописям. Традиция критериев научной критики памятников искусства слова дополнена новыми принципами. Это прозрачность редакторских вторжений в чужой текст, обязательность отсылок к рукописям или к ранним публикациям в перечне исправлений, всестороннее раскрытие его состава (а не усеченный формат), недопустимость для текстолога выступать в роли *соавтора* писателя.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, рассказ, «Где любовь, там и Бог», история и критика текста, эдичия, черновые материалы, датирование, поэтика.

Информация об авторе: Ирина Игоревна Сизова, кандидат филологических наук, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25 а, 121069 г. Москва, Россия.

E-mail: u_sizova@bk.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 29.10.2020

Дата одобрения статьи рецензентами: 27.12.2020

Дата публикации статьи: 22.03.2021

Для цитирования: Сизова И. И. Проблема критики текста рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и Бог» (1885) // Два века русской классики. 2021. Т. 3. № 1. С. 244–261. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-244-261>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 244–261. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 244–261. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2021. Irina I. Sizova

A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

The Issue of Criticizing the Text of the Short Story “Where Love Is, There God Is Also” by Leo Tolstoy

Abstract: The article is devoted to the issue of criticizing the text of Leo Tolstoy’s short story “Where Love Is, There God Is Also” (1885), its purpose is to substantiate the choice of the main source of the text for publication and to cleanse it of distortions. In the research literature, the issue of clarifying the history of formation of the given work as an artistic whole is open, details of the final stages of its creation have not been reconstructed, the editorship of this literary monument has not been concretized. The proposed work was performed in a certain sequence. First, all the discrepancies between the first lifetime editions of 1885–1886 were identified, and then a comparative analysis of them with handwritten materials was carried out. At the final stage, the classification of these discrepancies was correlated with the textual practice of the predecessors. As a result, the choice of the twelfth part of “The Works of Count L. N. Tolstoy” (1886) as the main text source for publication was theoretically justified, a list of recommended corrections based on manuscripts was compiled and argued. The tradition of criteria for scientific criticism of literary monuments has been supplemented with new principles. This is the transparency of editorial intrusions into someone else’s text, the obligatory references to manuscripts or earlier publications in the list of corrections, a comprehensive disclosure of its composition (not a truncated format), the inadmissibility for a text critic to act as a co-author of the writer.

Keywords: L. N. Tolstoy, short stories, “Where Love Is, There God Is Also,” text history and criticism, edition, draft materials, dating, poetics.

Information about the author: Irina I. Sizova, PhD in Philology, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25 a, 121069 Moscow, Russia.

E-mail: u_sizova@bk.ru

Received: October 29, 2020

Approved after reviewing: December 27, 2020

Published: March 22, 2021

For citation: Sizova, I. I. “The Issue of Criticizing the Text of the Short Story ‘Where Love Is, There God Is Also’ by Leo Tolstoy (1885).” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 244–261. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-244-261>

Проблема научной критики текста рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и Бог» (1885) в данной статье двусоставна; она заключается в обосновании выбора основного текста для публикации и его очищения от искажений [Лихачев: 35–40, Громова-Опульская: 476, Щербакова: 119–121]. Над произведением писатель работал с 17 марта по 17 мая 1885 г. [Сизова 2019 б: 53–59]. Впервые оно было опубликовано «Посредником» в 1885 г., перепечатано типографией И. Д. Сытина в 1886 г. С поправками вошло в двенадцатую часть «Сочинений графа Л. Н. Толстого» (1886). Вела это издание С. А. Толстая при активном участии мужа, о чем он, в частности, сообщал своему другу и единомышленнику художнику Н. Н. Ге-отцу в письме от 12–20 (?) марта 1886 г. [Сизова 2017: 62–63; Сизова 2018: 248–249].

В Юбилейном собрании и в «Описании художественных произведений Л. Н. Толстого» второе издание «Посредника» (1886) охарактеризовано как *первая публикация* без должной осмотрительности [Никифоров: 685, Описание: 276]. Не было принято ко вниманию важное обстоятельство: первое издание «Посредника», по существующей договоренности между Толстым, редактором В. Г. Чертковым и издателем И. Д. Сытиным, вышло в 1885 г. *без указания имени автора*.

Реконструкция публикации «Где любовь, там и Бог» в двенадцатой части «Сочинений» раскрывает интересные подробности работы автора и издателя над текстом, выясняет происхождение разночтений и намерения их создателей (см. «Приложение», таблицу № 1). Они принадлежат к типу *сознательных* изменений, имеющих практическое значение, так как возникли в результате издательской подготовки. Следует признать, что эти разночтения *не связаны с идеологией Толстого и становлением содержания*, как в рассказах «Упустишь огонь — не потушишь» или «Ильяс», напечатанных в той же двенадцатой части после первых публикаций в «Посреднике». Этот факт побудил нас расширить традиционные рамки да-

тирования этих произведений [Сизова 2017: 58–59, 62–63; Сизова 2018: 246, 248, 250].

Редактура «Где любовь, там и Бог» в «Сочинениях» представляет собой любопытный образец стилистической отделки. Тщательная работа над художественной формой мотивирована, с одной стороны, вполне обоснованной необходимостью придать некоторым местам законченное выражение, логически соотнести ту или иную часть с целым. С другой стороны, для нее характерна приверженность, строгое следование *типу* издания, предназначенного в обличье от публикаций «Посредника» *интеллигентному, а не народному читателю*.

Выбор источника основного текста А. И. Никифоровым в Юбилейном собрании представляется спорным и несколько формальным, механическим. Он предпочел «печатный текст первого издания “Посредника” М., 1886» [Никифоров: 685]. Однако, как нами было обнаружено, публикация в двадцать пятом томе содержит *наслоения* из двенадцатой части «Сочинений», которые *никак не были оговорены* в списке относящихся к ней «вариантов» и в самом комментарии [Толстой 1928–1958. 25: 480; Никифоров: 681–686]. Тот же текст был републикован в двадцати двухтомном издании без текстологического сопровождения [Толстой 1978–1985. 10: 262–272].

Позицию А. И. Никифорова объясняют нюансы редакторской политики В. Г. Черткова, ее корни уходят ко времени его жесткой конфронтации с С. А. Толстой. Между тем скрытое «присутствие» двенадцатой части понятно и логически оправдано. К этой рецепции не применимы принципы последней или творческой воли автора, их значение в текстологии Толстого преувеличено: приходится учитывать влияние на писателя его последователя В. Г. Черткова, а также критика Н. Н. Страхова [Ореханов: 8–9; Сизова 2019 а: 82].

Определенные (но не *все*) поправки, внесенные в текст рассказа в «Сочинениях» 1886 г., наиболее полно раскрыли авторский замысел, придали художественной форме черты завершенности, составили ядро объективных показателей в пользу его выбора в качестве основного источника публикации. Эти показатели «группируются» вокруг сюжетной структуры повествования, выделяют событийные, реже — смысловые, части. В его основе лежит рождественская история.

Малоимущий сапожник Мартын Авдеич, испытавший много жизненных невзгод, увлечен чтением Евангелия и мечтает гостеприимно

принять в своем скромном жилище Спасителя. Однажды он видит сон, в котором голос сообщает ему, что на следующий день его посетит Господь. Ожидая долгожданную встречу, сапожник совершает добрые дела, помогает людям, которые живут хуже, чем он: помощнику дворника отставному солдату Степанычу, голодной солдатке с ребенком, уличной торговке с мальчиком. Вечером Авдеич загрустил, недоумевая, почему же Иисус Христос не пришел к нему. Новое видение раскрывает ему истину: совершение добрых дел знаменует собой непрестанное общение человека с Богом.

Формирование внутренней и внешней поэтической композиции замысла и ее стилистических признаков от черновых материалов к публикациям 1885–1886 гг. представим так (в скобках назовем порядковый номер рукописей по архивной нумерации как наиболее достоверной и полной): рукопись (опись 1) → первая копия (описи 1 а и 2) → вторая копия (опись 3) → третья копия (опись 4) → наборная рукопись (опись 5) → первая публикация («Посредник», 1885) → двенадцатая часть «Сочинений» (1886, основной текст).

В завязке действия говорится о смерти жены и сына Мартына Авдеича, показаны его душевные переживания, внутренний монолог с Богом. Герой утрачивает интерес к жизни, не видит смысла в своем существовании, укоряет Бога за смерть близких. «Скука такая нашла на Мартына, что не раз просил он у Бога смерти и укорял Бога за то, что Он не его, старика, прибрал, а любимого единственного сына» [Где любовь: 7].

Во фрагменте подчеркнут мотив противостояния героя судьбе. Повтор местоимений смешивал божественное и человеческое начала; более того, здесь была нарушена орфографическая норма («Он» со строчной буквы). Исключение в двенадцатой части лишнего местоимения оправдано и визуально и семантически [Где любовь: 7; Сочинения: 92].

Эпизод вечернего чтения Евангелия совмещает два пласта повествования, реальный и из библейской истории. Краткие предложения с опорными глаголами «прочитал», «подумал», «и опять снял очки», «и опять задумался» раскрывают последовательность душевного осмысления Мартыном учения Спасителя. Добавление в двенадцатой части его отчества («Авдеич») было необходимо для разграничения реального и «волшебного», фантастического пространства [Где любовь: 14; Сочинения: 95].

Ключевой эпизод кульминации рассказа — встреча сапожника и солдатки в лохмотьях с замерзающим младенцем на руках. Откровение нищенки о своей горькой участи насыщено благодарностью людям, которые ей помогают. Авдеич накормил и одел ее, подал двугривенный выкупить заложенный в ломбарде теплый платок. Хозяйка квартиры «жалела» и «держала» своих постояльцев «за ради Христа». Из слов «жалеть» и «держать» проповеди Спасителя соответствовало первое. Поэтому второе слово в двенадцатой части оказалось вычеркнутым [Где любовь: 25; Сочинения: 100].

Завершает кульминацию эпизод о помощи Мартына уличной торговке и мальчику, поссорившимся из-за украденного ребенком яблока. «Коли его за яблоко высечь надо, так с нами-то за наши грехи что сделать надо?» — вразумляет пожилую женщину Авдеич [Сочинения: 102]. Повторение слова «яблоко» излишне концентрировало предмет ссоры и тему вражды. Его исключение сгладило несоответствие [Где любовь: 30; Сочинения: 102].

Внутренние законы литературного творчества для народа в рассказе «Где любовь, там и Бог», помимо образной системы и социально-бытовой проблематики, отражали в том числе и лексические фигуры, которые обладали общими чертами с фольклором. Народно-разговорная речь героев состояла из уменьшительно-ласкательных форм, диалектизмов, жаргонизмов, просторечных элементов, была эмоционально-экспрессивно окрашена. В двенадцатой части «Сочинений» произведение лишилось многого из своей лингвостилистической характеристики (см. «Приложение», таблицу № 1).

Так, подверглась целенаправленной замене на литературные аналоги большая часть форм с субъективно-оценочным значением малого объема («ребеночка» / «ребенка», «лопатку» / «лопату»), неблагозвучных фраз («мерзавцы» / «сорванцы»; «чтобы он неделю на задницу не садился» / «чтобы он неделю этого не забыл»), усилительных частиц и наречий («то», «всё»), разговорных глаголов и предлогов («кликнул» / «крикнул»; «об» / «о»).

К стилистической отделке своей художественной формы Толстой относился амбивалентно. В тех случаях, когда они касались *главной* мысли или идеи произведения, такого рода поправки не допускались. Как показало критическое исследование рукописей, центром «Где любовь, там и Бог» явился насыщенный религиозно-философский кон-

текст, евангельские заповеди и события, отражающие земной путь Спасителя. Тем не менее, народная форма изложения и обороты речи, которые были трансформированы в двенадцатой части «Сочинений», *должны принять свой первоначальный облик.*

Коррекцию системы изобразительно-выразительных средств продолжили и дополнили Юбилейное и двадцати двух томное издания. В этой практике наиболее показательны необоснованные, с нашей точки зрения, *редакторские нарушения* сферы или «поля» автора.

Сначала встреча Мартына и отставного солдата описывалась так: «Вошел Степаныч, отряхнулся от снега, стал ноги вытирать, чтобы не наследить *по* полу, а сам шатается» [Где любовь: 16; Сочинения: 97]. Позднее предлог «по» заменили на современную грамматическую форму «чтобы не наследить *на* полу» вопреки рукописному истоку «*по* полу»¹ [Толстой. 1928–1958. 25: 39; Толстой. 1978–1985. 10: 266].

Диалог Мартына и Степаныча трансформирует евангельскую идею непротивления злу насилием. Этой основе жизни художник следовал сам. Слова о том, что Христос «ником не брезговал» и «водился» с «простыми» людьми, особо трогают гостя. Говорится, что он человек пожилой и чувствительный, «старый и мягкослезый» [Где любовь: 20–21; Сочинения: 98]. В двадцати двух томном издании «неправильное» слово исправлено на «мягкослезый» [Толстой. 1978–1985. 10: 267]. Однако именно эта форма была важна для Толстого: она присутствует не только в черновых материалах рассказа, но и в дневниковых заметках писателя [Толстой: 1928–1958. 48: 293].

Проявлением его индивидуальной поэтической манеры считаем приверженность к безличным предложениям. Эта стилевая особенность часто встречается в черновиках, но настойчиво вычеркивается на этапе публикаций. Как правило, их подготовители следуют субъективной оценке, предпочитают видеть в «назойливой» детали всего лишь механическую опisku.

Полагаем, что приоритетом в данном направлении должен стать *контекст бытования* предмета корректировки. Полезным находим *расширение* границ критического изучения: за основу целесообразно брать не краткое разночтение, а более пространственный фрагмент. Обязательно нужно учитывать «движение» текста в рукописях. Первое ли

1 Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // Отдел рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого (ОР ГМТ). Ф. 1. Оп. 5. Л. 8 об.

это появление фразы или она уже вошла в копию. Была ли она здесь уточнена автором, и если да, то сколько слоев правки имеет к ней прямое отношение. Призываем к осторожности и осмотрительности при внесении исправлений, к размежеванию *чужого* слова от его стороннего трактования.

Диалог Мартына Авдеича и солдатки выдержан в форме безличных предложений. Мужа ее вот уже восьмой месяц как «*угнали* далеко и слуха нет». С ребенком ее «*не стали держать*» в кухарках; «*не берут*» ее и в кормилицы, но вот у купчихи «*обещали*» взять. «Ходила вот к купчихе, там наша бабочка живет, так обещали взять» [Где любовь: 25; Сочинения: 100].

Текстологи разрушили семантическое единство этой части. Следуя их логике, солдатку возьмет на работу некая «бабочка», которая живет у купчихи. «Ходила вот к купчихе, там наша бабочка живет, так обещала взять» [Толстой. 1928–1958. 25: 41; Толстой. 1978–1985. 10: 268].

Безличное пространство диалога сформировано в рукописи. Сначала он выглядел так: «Вот третий месяц без места, проела всё с себя. Ходила к купчихе, там наш мужичок, так обещала взять»¹. Затем односоставные предложения передали новые трагические подробности в жизни женщины².

То же случилось и в развязке рассказа, где «чудесное» видение открывает Мартыну Авдеичу истину. Когда уже совсем стемнело и работать было трудно, Мартын достал с полки Евангелие. «Хотел он раскрыть книгу на том месте, где вчера он обрезком сафьяна заложил, да раскрылось в другом месте»³.

В исправленном варианте акцент сместился на книгу, которая сама «раскрылась» [Толстой. 1928–1958. 25: 44; Толстой. 1978–1985. 10: 271]. Однако безличная форма в данном ракурсе передает действие, которое совершается независимо от желания человека, им руководит воля Провидения. Именно Божий промысел предваряет «волшебное» прозрение Авдеича, которое по стилю выдержано в той же форме: «...Как вдруг послышалось ему...» [Где любовь: 33; Сочинения: 104].

¹ Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 5. Л. 14.

² Там же.

³ Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 3. Л. 10; Оп 5. Л. 19 об.

Историко-литературный анализ доказывает фактическую неточность в неправомерной поправке окончания слова «Батюшко» в народном осмыслении личности Иисуса Христа, допущенную двадцати двух томным изданием [Толстой. 1978–1985. 10: 269].

Старый сапожник дарит солдатке ветхую поддевку, чтобы вернуть в нее замерзшего младенца. В ответ женщина благодарит его за доброту и помощь: «Спаси тебя, Христос, дедушка, наслал, видно, Он меня под твоё окно. Заморозила бы я детище. Вышла я, тепло было, а теперь вот как студено завернуло. И наставил же Он, Батюшко, тебя в окно поглядеть, и меня, горькую пожалеть»¹ [Где любовь: 25–26; Сочинения: 101–102].

Форма окончаний слов на «-о» характерна для жанра былин. В поморском сказании «Гнев» действует «Батюшко Океан, Студеное море». В былине «Вольга-богатырь», которую Толстой выбрал для последней части «Азбуки», для «Четвертой книги для чтения», эта форма окончания применена к образу мужика-пахаря: «Постой ты ратай-ратаюшко!» или «Божья ти помочь, оратаюшко!» [Зайденшнур: 360]. Приверженность писателя к лексическому богатству жанров устного народного творчества в сочинениях для детей нужно *сохранить* и в его народных рассказах.

В таблице № 2 (см. «Приложение») публикуем поправки, которые мы рекомендуем внести в основной текст рассказа «Где любовь, там и Бог» при его переиздании. Ее материал структурно упорядочен. Сначала помещается фрагмент из двенадцатой части «Сочинений» (1886), подлежащий, с нашей точки зрения, замещению, затем предлагается исправленный его вариант с *обязательной* отсылкой к рукописному источнику вносимого изменения. В *художественной оценке* исследуемых материалов, печатных и рукописных, мы руководствовались собственным профессиональным опытом, выработанными нами *правилами* текстологической подготовки народной литературы писателя.

Критически установленный текст в нашем понимании максимально точно передает 1) индивидуальный стиль Толстого, особенности его художественной манеры, 2) композиционные и сюжетные подробности и «реалии» произведения, характеристику образной системы в общем плане и в деталях, 3) особенности народной речи, почерпнутые автором в живом общении с представителями демократических слоев,

¹ Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 5. Л. 15.

4) историко-литературный контекст создания произведений; в данном случае он выражен фольклорной (былинной) и библейской (евангельской) рецепцией. Завершим сказанное наиболее интересными примерами по ходу развития повествования.

При наборе двенадцатой части «Сочинений» в эпизоде о вечернем чтении Авдеича «выпала» фраза из седьмой главы Евангелия от Луки («Ты целования мне не дал»), из той ее части, которая описывает пребывание Спасителя в гостях у богатого фарисея Симона. «И обратившись к женщине, сказал Симону: видишь эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал; а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей оттерла, как я пришел, не перестает целовать у Меня ноги. Ты головы Мне маслом не помазал; а она муром помазала Мне ноги» [Сочинения: 95].

В семантике рассказа и библейской истории этот отрывок развивает темы отпущения грехов за веру и спасения каждого верой, а «целование» осмысляется как способ избавления человека от зла [Феофилакт: 91]. Опорные слова-константы из этого поучения Иисуса Христа Толстой ниже выделяет курсивом. «Прочел он эти стихи и думает: *“Воды на ноги не дал, целования не дал, головы маслом не помазал”...*»¹ [Сочинения: 95]. Непредумышленное «сокращение» из двенадцатой части мы восстанавливаем в списке исправлений.

Мартын Авдеич предлагает «бабушке»-торговке жить «по-Божьему» и рассказывает ей притчу о том, «как хозяин простил оброчнику весь большой долг», а оброчник посадил в тюрьму своего должника, «пошел и стал душисть» его («Притча о немилосердном должнике», Мф: 18, 23–35). «Бог велел прощать, сказал Авдеич, а то и нам не простится» [Сочинения: 102–103]. Под воздействием притчи его слушательница подобрела и смягчилась: «Покачала головой старуха, вздохнула» или «и вздохнула» [Где любовь: 31; Сочинения: 103; Толстой. 1928–1958. 25: 43; Толстой. 1978–1985. 10: 271].

Однако в рукописи прочитывается иное написание слова: «вздохнула»². Обращаем внимание, что эта форма упоминается в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля и наиболее точно передает эмоциональное состояние толстовской героини: «вздыхать, испускать вздохи, дышать тяжело, глубоко, выдыхая из себя воздух

¹ Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 5. Л. 5 об.

² Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 4. Л. 8.

вслух, как бывает при грустном или тревожном чувстве» [Даль: 196]. Считаем, что авторская передача этого слова должна быть восстановлена по рукописи.

Разночтение глагольных форм — «снял лампу» / «взял лампу» — связывает развернутое описание вечерней работы Авдеича. Проводив старуху и мальчика, он вернулся к себе, нашел на лестнице очки, поднял шило и сел доканчивать сапог. Стемнело. «“Видно, надо огонь засвечать”, подумал он, заправил лампочку, повесил и опять принялся работать» [Где любовь: 33; Сочинения: 103]. Докончив начатое дело, Авдеич «сложил струмент», «смел обрезки, убрал щетинки и концы и шилья, *взял лампу*, поставил ее на стол и достал с полки Евангелие» [Сочинения: 104].

Впервые словосочетание «*снял лампу*» появилось во второй копии (опись 3) в результате тщательной обработки этой «сапожной» части. Между строками скопированного текста (расстояние между ними выдержано около 2 см) вписано сжатым почерком три (!) слоя правки¹. Не удивительно, что в наборную рукопись (опись 5) уже проникла ошибка («взял лампу»). Толстой ее не заметил, занятый изменением концовки фразы. Вместо: «...и хотел раскрыть Евангелие...», — в ней стало: «...и достал с полки Евангелие»². Учитывая соотношение этой детали с другими в составе художественного целого (вспомним, что Авдеич «заправил» и «повесил» лампочку), ему более соответствует авторский вариант из ранней рукописи («*снял лампу*»).

Итак, мы пришли к выводу о том, что основным источником текста при публикации рассказа «Где любовь, там и Бог» (1885) является двенадцатая часть «Сочинений графа Л. Н. Толстого» (1886, пятое и шестое издания). На этом этапе в произведении были стилистически уточнены некоторые детали, которые придали законченную форму его построению. Они были необходимы для того, чтобы четко разделить реальное и «волшебное» пространство и образы (завязка, эпизод вечернего чтения Евангелия), адекватно выразить духовную основу христианского учения (отрывок о сапожнике и солдатке), сгладить проявление ссоры и вражды между героями (описание помощи Мартына Авдеича уличной торговке и мальчику). В то же время двенадцатая часть «Сочинений» по своей хронологической

¹ Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 3. Л. 10.

² Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 5. Л. 19 об.

характеристике знаменует собой заключительный период авторской работы, отраженный в его эпистолярном общении с В. Г. Чертковым, С. А. Толстой, Н. Н. Ге-отцом и др.

Мы можем констатировать, что в истории эдиции рассказа «Где любовь, там и Бог» предпринимались редакторские исправления основного текста, которые, на наш взгляд, неправомерны. По нашему наблюдению, в двенадцатой части «Сочинений» (1886) они касались лингвостилистической характеристики этого сочинения и проводились с учетом типа издания, посвященного интеллигентному, а не народному читателю.

Последующая текстологическая практика Юбилейного и двадцати двух томного собрания сочинений Толстого, как мы видим, уже активно исправляет не только народную или «устаревшую» лексику, но и индивидуальный стиль писателя. Приходится признать, что тогда наиболее пострадали безличные формы синтаксиса; показателен пример искажения фольклорной (былинной) рецепции. Эти вторжения привели к трансформации содержания.

Результат проведенного нами критического исследования текста рассказа (рукописи → ранние публикации → позднейшие издания) отражает список рекомендуемых исправлений его основного источника, помещенный в «Приложении» (таблица № 2). Впервые он аргументирован отсылками к рукописям: тем самым был реализован подход открытости и прозрачности при внесении изменений. В составе перечня семнадцать позиций. В Юбилейном издании опубликована сокращенная версия, тринадцать разночтений [Толстой. 1928–1958. 25: 480].

Оценивая их художественную сторону, мы опирались на *объективные* данные в истории создания рассказа. Сначала учитывали его назначение, жанр, историко-литературный и религиозно-философский генезис, своеобразие художественной манеры писателя. На стадии обращения к рукописям стремились не допустить образования внутренних противоречий повествования при расслаивании верхних и нижних пластов и при внесении поправок. Расширение контекста бытования предмета коррекции в черновых и печатных материалах позволило избежать неотвратимые при текстологическом вмешательстве стилистические нарушения отдельных взятых фрагментов и в целом — предотвратило *искажения* авторского замысла.

Приложение
Appendix

Таблица № 1 — Разночтения текста рассказа «Где любовь, там и Бог» в первой публикации «Посредника» (1885) и в двенадцатой части «Сочинений графа Л. Н. Толстого» (1886)

Table 1 — Variant readings of the story “Where Love Is, There God Is Also” in the first publication of “Posrednik” (The Mediator, 1885) and in the twelfth part of “The Works of Count L. N. Tolstoy” (1886)

«Посредник» (1885)	Двенадцатая часть (1886)	Тип поправки
Скука такая напала на Мартына, что не раз просил он у Бога смерти [Где любовь: 7]	Скука такая напала на Мартына, что не раз просил у Бога смерти [Сочинения: 92]	Исключение неуместной по контексту части речи (личное местоимение «он»)
И опять снял очки, положил на книгу и опять задумался [Где любовь: 14]	И опять снял очки Авдеич, положил на книгу и опять задумался [Сочинения: 95]	Добавление нового слова для разграничения пластов повествования
Об себе помнил, а об госте и заботушки нет. [Где любовь: 14]	Об себе помнил, а об госте и заботушки нет. [Сочинения: 95]	Грамматическая поправка предлога в слого автора (об / о)
Степаныч прислонил лопатку к стене [Где любовь: 17]	Степаныч прислонил лопату к стене [Сочинения: 96]	Замена формы слова с уменьшительной на полную; коррекция народной речи
вышел в дверь и на лестницу и кликнул [Где любовь: 22]	вышел в дверь и на лестницу и крикнул [Сочинения: 99]	Изменение просторечной формы глагола
Что же ты так на холоду с ребеночком стоишь? [Где любовь: Где любовь: 22–23]	Что же ты так на холоду с ребенком стоишь? [Сочинения: 99]	Замещение формы слова с уменьшительной на полную; коррекция народной речи
Спасибо, хозяйка жалеет, держит нас заради Христа на квартире. [Где любовь: Где любовь: 22–25]	Спасибо, хозяйка жалеет нас заради Христа на квартире. [Сочинения: 100]	Смысловая поправка, отказ от совмещения высокого и материального, возвышенного и земного
И Авдеич взял из лукошка яблоко и дал мальчику. [Где любовь: 30]	И Авдеич взял из лукошка и дал мальчику. [Сочинения: 102]	Исключение повторов, семантическое уточнение
Набалуешь ты их так, мерзавцев, сказала старуха. [Где любовь: 30]	Набалуешь ты их так, сорванцов, сказала старуха. [Сочинения: 102]	Замена «неблагозвучных» слов
Его так наградить надо, чтобы он неделю на задницу не садился. [Где любовь: 30]	Его так наградить надо, чтобы он неделю этого не забыл. [Сочинения: 102]	Коррекция стилистически сниженной лексики, грубых выражений

Всем прощать, а несмысленному-то и поготово. [Где любовь: 31]	Всем прощать, а несмысленному поготово. [Сочинения: 103]	Исключение эмоциональной окраски народной речи, ее уточнение в сторону общепотребительной
Покачала головой старуха и вздохнула. [Где любовь: 31]	Покачала головой старуха, вздохнула [Сочинения: 103]	Вычеркивание «лишних» союзов
сила моя уж такая, всё тружусь. [Где любовь: 31]	сила моя уж такая, а тружусь. [Сочинения: 103]	Исправление экспрессивного оттенка народной речи в сторону нейтрального
И это Я, сказал голос и выступила старуха [Где любовь: 34]	И это Я, сказал голос — выступила старуха [Сочинения: 104]	Исключение «лишних» союзов

Таблица № 2 — Рекомендуемые поправки в список исправлений основного текста рассказа «Где любовь, там и Бог»

Table 2 — Recommended improvements to the list of corrections for the main text of the story “Where Love Is, There God Is Also”

Двенадцатая часть «Сочинений»	Поправка и ее рукописный источник
1. а в другой раз и новые головки сделает [Сочинения: 91].	а другой раз и новые головки сделает ¹ .
2. Прочитал эти слова Авдеич [Сочинения: 94]	Прочел эти слова Авдеич ²
3. как я пришел, не перестает целовать у меня ноги [Сочинения: 95].	Ты целования Мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у Меня ноги ³ .
4. чтобы о госте подумать [Сочинения: 95].	чтобы об госте подумать ⁴ .
5. О себе помнил, а о госте заботушки нет [Сочинения: 95].	Об себе помнил, а об госте и заботушки нет ⁵ .
6. и как пройдет кто в незнакомых сапогах, изогнется [Сочинения: 96]	и как пройдет кто в незнакомых сапогах, изогнется даже ⁶
7. а допил стакан [Сочинения: 98]	а допил свой стакан ⁷

¹ Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 2. Л. 1.

² Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 4. Л. 6 об.

³ Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 5. Л. 5 об.

⁴ Там же. Л. 6.

⁵ Там же. Л. 6.

⁶ Там же. Л. 7 об.

⁷ Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 3. Л. 4.

8. вышел в дверь и на лестницу и крикнул [Сочинения: 99]	вышел в дверь и на лестницу и кликнул ¹
9. с ребенком стоишь? [Сочинения: 99]	с ребеночком стоишь? ²
10. даже на лестнице спотыкнулся [Сочинения: 102]	даже на лестницу спотыкнулся ³
11. Набалуешь ты их так, сорванцов, — сказала старуха. — Его так наградить надо, чтобы он неделю этого не забыл [Сочинения: 102].	Набалуешь ты их так, мерзавцев, — сказала старуха. — Его так наградить надо, чтобы он неделю на задницу не садился ⁴ .
12. а несмысленному поготово [Сочинения: 103].	а несмысленному-то и поготово ⁵ .
13. Покачала головой старуха, вздохнула [Сочинения: 103].	Покачала головой старуха и вздохнула ⁶ .
14. Так и я говорю [Сочинения: 103]	То-то и я говорю ⁷
15. а тружусь [Сочинения: 103].	а всё тружусь ⁸ .
16. взял лампу [Сочинения: 104]	снял лампу ⁹
17. выступила старуха [Сочинения: 104]	И выступила старуха ¹⁰

¹ Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 3. Л. 6; Оп. 5. Л. 12 об.

² Там же.

³ Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 4. Л. 7.

⁴ Там же. Л. 7 об.–8.

⁵ Там же. Л. 8.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

⁸ Там же. Л. 8 об.

⁹ Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 3. Л. 10.

¹⁰ Толстой Л. Н. Где любовь, там и Бог // ОР ГМТ. Ф. 1. Оп. 5. Л. 21.

Список литературы

Источники

Где любовь, там и Бог. М.: Тип. И. Д. Сытина и К^о, 1885. С. 5–35.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Дрофа, Русский язык Медиа, 2008. Т. 1. LXXXVIII + 699 с.

Зайденинур Э. Е. Работа Л. Н. Толстого над русскими былинами // Русский фольклор. Материалы и исследования. V. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 331–366.

Никифоров А. И. «Где любовь, там и Бог». История писания и печатания. Описание рукописей // *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: в 90 т. / под общ. ред. В. Г. Черткова. М.: Худож. лит., 1937. Т. 25. С. 681–686.

Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого / под общ. ред. В. А. Жданова. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 634 с.

Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть двенадцатая. Произведения последних годов. М.: Тип. М. Г. Волчанинова, 1886. 599 с.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. / под общ. ред. В. Г. Черткова. М.: Худож. лит., 1928–1958.

Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. / под ред. М. Б. Храпченко. М.: Худож. лит., 1978–1985.

Феофилакт, архиепископ Болгарский. Благовестник, или Толкование на святое Евангелие: в 4 кн. М.: Лепта, 2001. Кн. 3: Евангелие от Луки. 384 с.

Исследования

Громова-Опунская Л. Д. Избранные труды. М.: Наука, 2005. 530 с.

Лихачев Д. С. Текстология. Краткий очерк. М.: Наука, 2006. 175 с.

Ореханов Г. В. Г. Чертков в жизни Л. Н. Толстого. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. 192 с.

Сизова И. И. Актуальные проблемы подготовки народных рассказов и драм Л. Н. Толстого к изданию в академическом собрании сочинений писателя // Материалы Толстовских чтений 2018 года в Государственном музее Л. Н. Толстого. М.: РГ-Пресс, 2019. С. 78–83.

Сизова И. И. История создания и поэтика рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и Бог» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. № 8. С. 53–60. <https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.8.10>

Сизова И. И. Рассказ Л. Н. Толстого «Ильяс»: актуальные проблемы истории создания и эдиции // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 3. Ч. 2. С. 245–251.

Сизова И. И. Рассказ Л. Н. Толстого «Упустишь огонь — не потушишь»: проблемы творческой истории // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 12. Ч. 3. С. 58–64.

Щербакова М. И. Текстология // Введение в литературоведение: учебник. М.: Оникс, 2005. С. 97–150.

References

- Gromova-Opuľskaia, L. D. *Izbrannnye Trudy [Selected Works]*. Moscow, Nauka Publ., 2005. 530 p. (In Russ.)
- Likhachev, D. S. *Tekstologiya. Kratkii ocherk [Textual Criticism. Short Essay]*. Moscow, Nauka Publ., 2006. 175 p. (In Russ.)
- Orekhanov, G. V. G. *Chertkov v zhizni L. N. Tolstogo [V. G. Chertkov in the Life of Leo Tolstoy]*. Moscow, PSTGU Publ., 2014. 192 p. (In Russ.)
- Sizova, I. I. “Aktual’nye problemy podgotovki narodnykh rasskazov i dram L. N. Tolstogo k izdaniuu v akademicheskom sobranii sochinenii pisatel’ia” [“Topical Issues of Preparing L. N. Tolstoy’s Folk Stories and Dramas for Publication in the Academic Collected Works”]. *Materialy Tolstovskikh chtenii 2018 goda v Gosudarstvennom muzee L. N. Tolstogo [Materials of the 2018 Tolstoy Proceedings at the Leo Tolstoy State Museum]*. Moscow, RG-Press Publ., 2019, pp. 78–83. (In Russ.)
- Sizova, I. I. “Istoriia sozdaniia i poetika rasskaza L. N. Tolstogo ‘Gde liubov’, tam i Bog” [“Creation History and Poetics of the Story ‘Where Love Is, There God Is Also’ by L. N. Tolstoy”]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, 2019, no. 8, pp. 53–60. (In Russ.) <https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.8.10>
- Sizova, I. I. “Rasskaz L. N. Tolstogo ‘Ilias’: aktual’nye problemy istorii sozdaniia i editsii” [“Tolstoy’s Short Story ‘Ilyas’: Topical Issues of the Creative History and Edition”]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, no. 3, part 2, 2018, pp. 245–251. (In Russ.)
- Sizova, I. I. “Rasskaz L. N. Tolstogo ‘Upustish’ ogon’ — ne potushish’: problemy tvorcheskoi istorii” [“L. N. Tolstoy’s Short Story ‘If You Miss the Fire, You Won’t Put it Out’: Issues of Creative History”]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, no. 12, part 3, 2017, pp. 58–64. (In Russ.)
- Shcherbakova, M. I. “Tekstologiya” [“Textual Criticism”]. *Vvedenie v literaturovedenie: Uchebnik [Introduction to Literary Studies: Textbook]*. Moscow, Oniks Publ., 2005, pp. 97–150. (In Russ.)

© 2021. М. И. Щербакова
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Корреспондент святителя Феофана «г-жа NN»

Аннотация: В статье представлены материалы о Варваре Александровне Иордан — корреспонденте и духовной дочери свт. Феофана, письма к которой более века печатались как «Письма к г-же NN». Сокрытие подлинных имен корреспондентов свт. Феофана часто диктовалось волей самих адресатов, удалявших при подготовке писем к публикации узнаваемые факты и подробности. Имя «г-жи NN» установлено по упоминанию этой персоны в письме к В. В. Швидковской. Родственными узами В. А. Иордан (в девичестве Пушина) была связана с семьей ректора Санкт-Петербургского университета П. А. Плетнева, через которого познакомилась со своим будущим мужем, известным гравером Ф. И. Иорданом. Атмосфера семейного счастья способствовала успешной работе Иордана над вторым гравированным портретом Н. В. Гоголя; подтверждение — в не опубликованных ранее письмах Ф. И. Иордана к Ф. В. Чижову. Переписка В. А. Иордан со свт. Феофаном началась в 1879 г., за четыре года до кончины мужа. Сохранившиеся письма содержат сведения о внешних событиях жизни В. А. Иордан, а также о ее духовном росте под влиянием свт. Феофана; бесценны его рекомендации и советы, оценки и суждения. В письмах много уникальных свидетельств о том, как протекала в последние годы жизнь Вышенского затворника.

Ключевые слова: духовная словесность, свт. Феофан Затворник Вышенский, В. А. Иордан, Ф. И. Иордан, письма.

Информация об авторе: Марина Ивановна Щербакова, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25а, 121069 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6705-8707>

E-mail: m-shcherbakova@mail.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 17.11.2020

Дата одобрения статьи рецензентами: 29.01.2021

Дата публикации статьи: 22.03.2021

Для цитирования: Щербакова М. И. Корреспондент святителя Феофана «г-жа NN» // Два века русской классики. 2021. Т. 3, № 1. С. 262–283. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-262-283>



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 262–283. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 262–283. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2021. Marina I. Shcherbakova

A. M. Gorky Institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

“Mrs. NN”, Correspondent of St. Theophan

Abstract: The article presents materials about Varvara Alexandrovna Iordan, a correspondent and spiritual daughter of St. Theophan, whose letters to her have been printed for over a century as “Letters to Mrs. NN.” Concealment of true names of St. Theophan’s correspondents was often dictated by the addressees themselves, who removed recognizable facts and details when preparing letters for publication. The name of “Mrs. NN” is defined by the mention of this person in a letter to V. V. Shvidkovskaya. By family ties V. A. Iordan (nee Pushchina) was connected with the family of the rector of St. Petersburg University P. A. Pletnev, thanks to whom she met her future husband, the famous engraver F. I. Iordan. The atmosphere of family happiness contributed to the successful work of Iordan on the second engraved portrait of N. V. Gogol, which is confirmed by previously unpublished letters from F. I. Iordan to F. V. Chizhov. Correspondence between V.A. Iordan and St. Theophan began in 1879, four years before the death of her husband. The surviving letters contain information on external events in the life of V.A. Iordan, her spiritual growth under the influence of St. Theophan; his recommendations and advice, assessments and judgments are invaluable. The letters contain many unique testimonies of how the life of the Vysha hermit proceeded in recent years.

Keywords: Spiritual literature, St. Theophan the Recluse, V. A. Iordan, F. I. Iordan, letters.

Information about the author: Marina I. Shcherbakova, DSc in Philology, Director of Research, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25a, 121069 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6705-8707>

E-mail: m-shcherbakova@mail.ru

Received: November 17, 2021

Approved after reviewing: January 29, 2021

Published: March 22, 2021

For citation: Shcherbakova, M. I. “‘Mrs. NN’, Correspondent of St. Theophan.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 262–283. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-262-283>

После блаженной кончины святителя Феофана, Затворника Вышенского в январе 1894 г. почти две тысячи его писем были опубликованы на страницах журналов «Душеполезное чтение», «Христианин», «Душеполезный собеседник», редакции которых специально обратились к читателям с просьбой присылать сохранившиеся у адресатов письма преосвященного. Известно, что корреспонденты свт. Феофана принадлежали к различным слоям общества: архипастыри и сельские священники, настоятели монастырей, иноки, послушники, петербургские аристократы и мелкопоместное дворянство, чиновники, учителя, купеческие семьи, городское мещанство, крестьяне.

Текстологическая работа с эпистолярными материалами при подготовке к изданию не проводилась, поскольку необычность ситуации ставила публикаторов в сложное положение: наряду с неизмеримой духовной ценностью писем свт. Феофана, в них легко угадывались исповедальные подробности частной жизни адресатов, многие из которых еще были живы и известны в своих кругах. Естественным оказалось решение спрятать подлинные имена за инициалами, в том числе и вымышленными. Но благодаря именно журнальным публикациям значительная часть эпистолярного наследия свт. Феофана сохранилась.

Появившееся вскоре первое книжное издание писем свт. Феофана — в восьми выпусках — осуществил Афонский Русский Пантелеимонов монастырь в 1898–1901 гг. Эти выпуски лишь объединили избранные журнальные публикации двух тысяч писем, повторив их текст.

В 2001 г. издательство «Правило веры» подготовило том, составленный из писем свт. Феофана, не вошедших в афонское издание. В него включена, в частности, переписка с полковником С. А. Первухиным, изданная Киевской духовной академией в 1915 г. к 100-летию преосвященного. Дополнен том и двенадцатью письмами духовных лиц к свт. Феофану. При подготовке этого издания использовалось прило-

жение к диссертационному исследованию архимандрита Георгия (Тертышников) «Письма епископа Феофана к разным лицам, не вошедшие в VIII выпуск».

В 2012 г. тем же издательством «Правило веры» было выпущено Собрание писем святителя Феофана в пяти томах. Не являясь научным, оно объединило письма преосвященного по тематическому принципу: «Письма к мирянам. Наставления о молитве и благочестии», «Укоренение в духовной жизни», «Конкретное духовное руководство. О молитве особо. Духовникам и благочинным монастырей, протоиереям», «Окормление семьи. О христианской жизни» и «О церковной жизни. Об издании своих трудов».

Пятый том завершается обширным «Тематическим указателем к Собранию писем святителя Феофана» с пояснением от Русского Афонско-Пантелеимоновского монастыря: «Указатель сей составлен отцом архимандритом Никодимом, смотрителем Санкт-Петербургского Александро-Невского духовного училища, в одиннадцати отделах: о Боге и Его творении; о созидании спасения в семье, в иночестве, в мире; о делании духовном; о пороках и добродетелях; о болезнях; об исповеди и Святом причащении; смерти и Страшном суде; о Священном Писании, так что каждый желающий легко может отыскать ему потребное во спасение».

Тезис об универсальности «потребного во спасение» представляется не только уязвимым, но и спорным. В Патерике есть рассказ о том, как к одному авве пришел брат с исповедальным вопросом; вслед за ним в келью зашел и другой брат, исповедуясь в том же грехе; но оба они получили от аввы разные советы. Очевидно, что прозорливый старец видел, что кому из них потребно. Напрашивается вывод: читая письма преосвященного Феофана с ответами и наставлениями, важно ясно представлять, кому они адресованы.

В письме свт. Феофана от 2 июня 1889 г. на вопрос корреспондента, «прекратить ли каждодневное служение литургии», следует ответ: «Преградите, ничтоже сомняся. Сколько лиц, говорящих вам это, — и не кое-каких, а главарей... кои все благожелательно к вам расположены! Как не послушать их? Если б о. Иероним был жив — и он то же бы присоветовал. И я присоединяю к ним свой голос. Литургисайте во все воскресные и праздничные дни и во дни нарочитых святых и довольно. Причащаться же, если будет потребность, можно и чаще... без

литургисания» [Творения 2001: 188]. Адресат — настоятель Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне архимандрит Макарий (Сушкин), которому предстояло через полмесяца (19 июня 1889 г.) отойти в мир иной.

На сокрушения еще одного корреспондента, — В. В. Швидковской, — что плохо молится и не держит подвигов, отвечает словами свт. Тихона Задонского: «*Болящему какая молитва? Благодарение и воздыхание*». Тем замещается и всякий подвиг. Благодушествуйте же!» [Творения 1994. 6: 216]. А юной особе, только вступающей на путь ко спасению, пишет строго: «Мускулы и всего тела держите в напряжении — в струнку, не распуская ни одного члена сибаритно. Если вы одни, жгутом или четками отдуйте себя по плечам, до боли порядочной. Это успешнее всего злую рабу плоть обращает к покорности и смиряет. Из еды — все жирное и крепко питательное устранить надо на это время, и поменьше есть. Можно выбрать пищу не горячую, а холодящую. Вместо мягкого кресла для сиденья — возьмите жесткую табуретку. Спать — снимите тюфяк... и постелите одно одеяло... И покройтесь чем-либо прохладным... В комнате поменьше тепла... Освежаться на воздухе хорошо... но и чувства блюсти. Все же упование возверзите на Господа» [Творения 1994. 4: 96–97]. Не менее твердо наставляет свт. Феофан молодого человека, приводя пример некоего дворянина: «Борьба у него была с блудной страстью. Он держал под подушкой плеть... и как плоть начинала свои тревоги, он дул себя без жалости плетью... и усмирил плоть. Попробуйте...» [Творения 1994. 5: 104–105].

В письме к монастырскому духовнику, обращавшемуся за советами, свт. Феофан наметил необходимость такого рассудительного подхода: «Хорошо делаете, что сокрушающегося разрешаете прямо, не налагая епитимии; но говорите ему: брате, сохрани сей дух сокрушен и подновляй его, когда ослабевает. — А тому, кто холодно исповедуется, — тому, разрешив его, скажите: брате, позаботься стяжать и утвердить в себе дух сокрушен, — а для сего — клади по три земных поклона в церкви или дома, с молитвою: дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно даруй мне Господи!» [Творения 1994. 5: 216].

Как видим, вопрос об адресате — один из важнейших при подготовке научного издания писем свт. Феофана. Задача современных исследователей — восстановить исторический контекст, установить адресатов, снабдить эпистолярные документы реальным комментарием.

В составе первого афонского выпуска писем свт. Феофана опубликованы «Письма к г-же NN, сообщенные г-м К. Е.» — всего семь документов с пояснением: «К ней же будут напечатаны еще четыре письма в одном из следующих выпусков» [Творения 1994. 1: 265].

1879: 18 октября

1880: 18 мая, 18 июня

1881: 28 апреля, 4 декабря

1882: 13 января, апрель.

Продолжение публикации последовало в четвертом выпуске; но не четыре письма, а 35 — с пояснением: «Первых 7 писем в I выпуске стр. 115 №№ 114–120» [Творения 1994. 4: 3].

1882: 28 октября

1883: 23 февраля, март, 22 апреля, 26 июля,

1887: апрель

1888: 6 июня, 26 октября, 20 декабря,

1890: 22 февраля, 3 июля

1891: 13 января, 22 августа

1892, 23 января, 17 февраля, 24 марта, 15 апреля, 3 июня, 10 сентября, 5–11 октября, 15 ноября, 17 ноября

1893: 17 января, 11 февраля, 8 марта, 13 апреля, 28 апреля, 16 июня, 11 июля, 22 сентября, 22 ноября, 30 ноября, 3 декабря, 15 декабря, 29 декабря.

Раскрыть имя адресата оказалось возможным по письму от 26 октября 1888 г. В нем, в частности, свт. Феофан высказывает мысль о том, что человеку, прежде чем покончить земное, надо «сочинить *добрый ответ на судище Христовом по смерти*. Сочинить не мыслями, а делами и написать не на бумаге, а на естестве своем, на душе и теле, чтобы Господу и читать не надлежало, а взглянуть только и все увидеть» [Творения 1994. 4: 21–22]. И далее: «Дозвольте мне задать вам задачу, для решения: *какой ответ на судище Христовом добрый, и в чем он состоит?* Когда решите — напишите. Времени не назначается, хоть всю жизнь свою будете искать решения, только ни одного дня не пропускайте без думанья о сем, а если это мало, то ни одного часа» [Творения 1994. 4: 22].

В параллель этому письму к «г-же NN» и вслед за ним, в тот же день, было написано еще одно — к Варваре Васильевне Швидковской: «“Не

имеете, чем оправдаться на суде... дел нет». Делами оправдаться нечего и думать. Оправдание всецело идет от всех в силу крестной смерти Господа. Но есть побочности, кои тоже стоят, как условия... и хотя в совершенстве мы их представить не можем, но можем искренно желать их и искать, — и некий успех представить... посильный, но в меру всей нашей силы...» [Творения 1994. 6: 186]. Здесь же свт. Феофан сообщал: «Варваре Александровне я задал задачу — решить, в чем состоит добрый ответ на судищи Христовом, о коем молимся в просительной ектении... и написать ответ. Вот и вам то же пришлось написать. Буду ждать ответа. Но Варваре Александровне я приписал: хоть целый век не решит... пусть... только бы каждый день и даже час думала о сем. А вам что написать? Вы решите тотчас и напишите» [Творения 1994. 6: 186].

Текстуальное совпадение задачи, поставленной перед адресатами свт. Феофаном, дало основание считать, что знакомая В. В. Швидковской Варвара Александровна и есть «г-жа NN». Теперь, зная имя и отчество «г-жи NN», нетрудно было установить, что речь идет о духовной дочери преосвященного Феофана Варваре Александровне Иордан (урожд. Пущиной).

Впервые о В. А. Иордан написал Д. А. Чудинов в связи с ее письмами к выдающемуся иерарху Русской Православной Церкви архиепископу Тверскому и Кашинскому Савве (Тихомирову) [Чудинов]. В конце 2013 г. исследователем в фондах Отдела рукописей Российской государственной библиотеки были обнаружены 95 писем В. А. Иордан к преосвященному Савве; в 25 из них — упомянут свт. Феофан. Письма эти, как отметил Д. А. Чудинов, «частично публиковались еще до революции 1917 г. в “Богословском вестнике” — духовном журнале, который издавала Московская духовная академия (МДА), в качестве цитат в “Хронике моей жизни” преосвященного Саввы. Однако некоторое их число не было пропущено в печать цензурой, поскольку Варвара Александровна весьма смело рассуждала о делах духовных и светских, о политике, о церковных иерархах, о министрах и даже об императорской семье, щедро делясь с корреспондентом своими мыслями и соображениями по тому или иному вопросу» [Чудинов].

Вскоре после этой первой публикации В. А. Кислов, краевед из Гатчины, посвятил В. А. Иордан небольшой биографический очерк «Варвара Александровна Иордан (1833–1916)» [Кислов]. В поле зрения Кис-

лова Иордан попала в связи с тем, что с 1897 по 1900 жила в Гатчине: сначала в доме Пожидаева (№ 8) на Елизаветинской (Достоевского) улице, а через год — в доме Елисева № 7 на улице Константиновской (Радищева).

Генеалогические разыскания Кислова дали любопытные результаты: «Варвара родилась в Тамбове, в семье Александра Пущина, сведений о котором мне найти не удалось. Не известно мне и имя его супруги, а это важно, ибо она до брака с Пущиным была женой князя Василия Осиповича Щетинина (1792–1829), и от этого брака родилась в 1828 году единоутробная сестра Варвары Пущиной — Александра Васильевна Щетинина, которая позднее стала женой ректора Петербургского университета, поэта и издателя Петра Александровича Плетнёва (1791–1865)» [Кислов].

Очерк Кислова начинается так: «Эта замечательная женщина за свою долгую жизнь не “отметилась” какими-то достижениями в науке или искусстве. Но свой след в истории России Варвара Александровна все же оставила. И след этот — ощутим и зрим: во-первых, в Тверской картинной галерее находится ее портрет, написанный в 1855 году замечательным русским художником-портретистом С. К. Зарянко; во-вторых, сохранились написанные по ее просьбе и посвященные ей воспоминания (впервые опубликованы в журнале “Русская старина”) ее мужа Федора Ивановича Иордана (1800–1883), одного из лучших граверов России; в-третьих, Варвара Александровна, несмотря на большую разницу в возрасте, была нежна к мужу, вдохновляла его в творчестве, служила утешением в дни его старости» [Кислов].

Федор Иванович Иордан был любимым учеником выдающегося русского гравера академика Н. И. Уткина. По окончании Петербургской Академии художеств, продолжил совершенствоваться граверное мастерство у известных мастеров в Париже и в Лондоне; с 1834 г. много лет провел в Италии, занимаясь подготовкой рисунков мировых шедевров и последующей их гравировкой. Уже в молодые годы Иордан стал членом нескольких европейских академий; в 1844 г. Императорская академия художеств наградила его званием академика.

С семьей П. А. Плетнева Иордана познакомил в 1850 г. его наставник и старший друг Н. И. Уткин. «Отправляясь в этот всеми уважаемый дом, — вспоминал впоследствии Иордан, — мог ли я предполагать, что его семейство будет источником моего будущего счастья?

Входим; при первом знакомстве с П. А. Плетневым, которого я совсем не знал, я был поражен простотою его обращения, какое часто встречаешь в чужих краях, знакомясь с именитыми учеными или художниками. Не прошло и часа, как я был влюблен в этого именитого мужа. Когда же явилась его супруга, когда я увидел ее улыбку, живой блеск глаз, ее очаровательную манеру говорить и рассказывать, то я был совершенно побежден. Эти глазки, опущенные собольими ресницами и бровями, приводили меня в трепет. Прошло немного времени в беседе, но под влиянием их доброты мне казалось, что я был знаком с ними уже несколько лет. Затем, по обычному в России гостеприимству, нас пригласили откусать чай. Вхожу в столовую, очарованный столь неожиданным знакомством, и вижу двух милых девиц в полном цвете лет, дышащих здоровьем и прелестных, как майский день. Едва слышным голоском они приветствовали меня, делая маленький реверанс. Когда добрые хозяева пригласили Н. И. Уткина и меня к столу словами: “Прошу садиться”, — тогда только эти милые девушки подняли на нас глаза и взглянули на меня. Боже мой, что я чувствовал! Мне казалось, что я, подобно холодному куску извести, который закипает, будучи брошен в воду, весь кипел внутри, стараясь казаться хладнокровным. Старшая из двух сестриц, которой очаровательная М-ме Плетнева представила меня, дышала здоровьем, и во всей ее фигуре было что-то решительное. Я не мог, как художник, не рисовать ее в своем воображении... Другая сестрица, на вид моложе первой, была какою-то детски-откровенною и начала осторожно, как будто издали, расспрашивать о моем вояже. Но меня неотразимо привлекала старшая. В младшей все было еще так молодо, а старшая, при всей ее красоте, казалась девицею уже вполне созревшюю; мог ли я в то время думать, что это прелестное создание будет моею подругою в жизни. Вся обстановка дома, доброта хозяев и прелесть невинных двух сестриц — все приводило меня в какой-то неописанный восторг, и хотя я едва успел с ними познакомиться, но когда мы вновь перешли в зало, я не помнил себя и с жаром начал описывать жизнь в Италии, восхищаясь в то же время моими прелестными слушательницами, так мило воспитанными, которые с участием слушали каждое слово моего рассказа. Время было уже позднее и как ни было жаль, но следовало проститься. Выйдя на улицу, я сердечно благодарил Н. И. за столь приятное знакомство; я был в восторге от их милой обстановки, от доброго П. А. Плетнева, от его жены и от ее двух

сестриц, из которых старшая, говорил я моему старичку, совершенная “Таня Пушкина”. Сбросив с себя брентную одежду и улегшись на диван, я долго ворочался во все стороны, пока Морфей не сомкнул моих глаз» [Иордан: 278–280].

Прошло несколько лет. Воспоминания о них в «Записках» Иордана относятся преимущественно к его творческой биографии. Но, как видно, образ семнадцатилетней Варвары Пущиной никуда не исчезал из сердечных глубин. В 1855 г. известие о кончине императора Николай I застало Иордана в Италии. «Много было толков, — вспоминал он, — я же молил Бога, как бы скорее уехать и начать жить дома спокойною жизнью, и, если можно, семейною, о которой я давно мечтал. Я мысленно переносился к тому очаровательному существу, которое я встретил в бытность в Петербурге у П. А. Плетнева, где я так приятно провел вечер» [Иордан: 291].

Уткин, по-видимому, возложил на себя роль свата и нашел благосклонный отклик в семье Плетневых. Но Иордан об этом ничего не знал. «В чудный июньский день, пообедав у Н. И. Уткина, мы по обыкновению отправились пить кофе в сад, прилежащий его квартире. Чувствуя себя в веселом настроении духа, я завел с ним разговор об упоминаемой в его письме награде, которая меня ожидает дома. Смущаясь, он мне отвечает: “Верно, вы сами догадаетесь?” Разумеется, я не задумался ответить, что моею женою будет милая “Таня” Пушкина или никто. Услыхав, что почтеннейшее семейство Плетнева живет в Лесном, я просил Н. И. Уткина посетить его в следующее воскресенье; старичок улыбнулся и немедленно согласился. Разумеется, я предупредил его, сказав: “Если можно иметь надежду, я рад, если же нет, то незачем тратить время, чтобы не навлечь на себя в мои годы каких-нибудь неприятностей, вроде шуток и насмешек, которые меня страшили, когда я думал о ней еще во Флоренции; но припоминая ее годы и ее обстановку, мне кажется, голубчик Н. И., что оно неисполнимо”. Старичок улыбался и потирал руки. “Дождитесь воскресенья, тогда вы ее увидите и сами поговорите”» [Иордан: 293–294].

Иордан «кипел, как кратер Везувия» [Иордан: 295], но сомнения одолевали его с не меньшей силой: может ли он, 55-летний мужчина, далеко не красавец, претендовать на красивую, молодую и отлично воспитанную девицу. Варвара Александровна «имела порядочное состояние, была примерно трудолюбива, наука и хозяйство — ее первые

занятия, встает в 5 час. утра, гостей терпеть не может, в гости ходить не любит и всю свою жизнь посвятит своему избранному. Боже избави, чтобы она решилась прекословить своему мужу. Смирение, кротость и живая молитва к Богу — вот девиз ее будущей жизни — и быть агнцем покорности и кротости перед мужем, во всем его слушать и беспрекословно во всем ему повиноваться» [Иордан: 295–296]. Утром того важного дня, когда должен был прозвучать ее ответ на предложение Иордана, Варвара Александровна «была у обедни, которую простояла на коленях, не переставая усердно молиться со слезами на глазах» [Иордан: 296].

30 октября 1855 г. в церкви св. апостолов Петра и Павла при Петербургском университете состоялось венчание. Посажеными родителями жениха были графиня А. И. Толстая, жена вице-президента Академии художеств Ф. П. Толстого, и Н. И. Уткин; шаферами — хранитель академического музея К. А. Ухтомский и недавно вернувшийся в Петербург В. В. Стасов. «Я стал человеком семейным...», — подвел черту Иордан.

Вскоре Варвара Александровна уехала в Париж, прожив там до марта 1857 г. Иордан был занят гравировкой портрета Н. В. Гоголя с оригинала Моллера («портретом весьма схожим и хорошо написанным» [Иордан: 300]) — во исполнение завещания писателя, вошедшего в «Выбранные места из переписки с друзьями», покупать только тот портрет, на котором будет стоять: «Гравировал Иорданов». «Мне хотелось было выгравировать его строгим манером, но, в силу некоторых личных соображений, я решился выгравировать его рисовальным манером, чему многие удивлялись» [Иордан: 300–301], — вспоминал Иордан.

По возвращении Варвары Александровны из Парижа супруги «свыкались все более и более»: «...она обладала наидобрейшим сердцем и была супругою поистине безупречною, несмотря на многие искушения, которые готовила ей жизнь» [Иордан: 301]. Художник А. А. Иванов, хорошо знавший Иордана многие годы, даже считал, что «жена безграничными ласками мешая его делам, несмотря на искреннюю любовь обоих» [Александр Андреевич Иванов: 347]. Об этом он писал брату 21 июня 1858 г.

Свидетельства семейного счастья Ф. И. Иордана — в его письмах 1860-х гг. к Федору Васильевичу Чижову.

1860, 26 декабря: «Моя женка шлет Вам поклон»¹ (15).

1862, 3 апреля: «Желаю всего лучшего, женку иметь под боком и все милые следствия от супружеского магнетизма или теплой гимнастики. <...> Моя жена присовокупляет к моему почтению Вам свое почтение» (17).

1866, 17 марта: «Моя женочка, я и малютка моя искренне Вам кланяются и ожидаем скорого Вашего приезда, когда и надеемся все вас сердечно обнять» (19).

1866, 10 июня: «Женка и ребенок веселят меня и Вам искренне кланяются. Подарите Вашим ответом, чем одолжите душевно Вас любящего и уважающего друга и медиреза Ф. Иордана» (22).

1866, 3 июля: «Милая моя Варя от всякой работы выжидает от меня себе подарка, что я и выполняю всегда с удовольствием, тем более от священно-законно-живительного подарка она со всею преданностью воли Божией видит себя вполне лишенною, поэтому-то эту потерю я и стараюсь заменить мелкими, по силе гравера возможностями, подарками» (24 об.).

1866, 17 июля: «Жена моя и малютка Саша просят присовокупить их искренний Вам поклон и свое почтение» (29).

1866, 28 июля: «От души посылаю Вам мое искреннее почтение. Варичка и Шура также просят засвидетельствовать Вам свое почтение» (31). К дате письма приписка: «Памятный день: получение согласия Вари в 1855 г. вступить в брак с Ф. И. Иорданом» (30).

1866, 5 сентября: «Мой ангел Варя имела несчастье испытать ненадежность наших дрожек. Отправляясь после святого всенощного бдения, во время говенья, в Гостинный двор с другой девицей, потучнее и повыше себя, и наехав на камень, тучная осталась на месте, а моя бедняжка очутилась на мостовой, чем и повредила себе воистину святые свои голени, на которых, принося Богу свои утренние и вечерние молитвы, по часам дает им чувствовать вес милой своей верхней половины, и поправка этих голеней мне стоит, за каждый визит, оттиска гравюры Министерства финансов на зеленой бумаге (сиречь 3 руб.) (32–32 об.).

1866, 23 декабря: «Женочка моя с малюткою свидетельствуют Вам поклон и всего лучшего на наступающие праздники и Новый год» (35).

¹ *Иордан Ф. И.* Письма к Чижову Ф. В. 1876 // РГБ. Ф. 332. К. 31. Ед. хр. 20. Здесь и далее листы указаны в тексте в круглых скобках.

1867, 24 марта: «...всего лучшего и при засвидетельствовании от меня и от моей милой Вари, которая сегодня исповедуется» (39).

В этих же письмах Ф. И. Иордана к Чижову — многие подробности подготовки им второго гравированного портрета Н. В. Гоголя. Как видно, вдохновение работе придавала любовная атмосфера в семье.

Служебная карьера Иордана складывалась успешно. «Юбилейный справочник Императорской Академии художеств» сообщает: «С 1871 г. ректор живописи и скульптуры. В 1874 г., по случаю 50-летнего юбилея его художественной деятельности, была поднесена ему Академией золотая медаль. В 1875 г. был назначен заведующим Мозаичным отделением (по смерти Бруни). Состоял хранителем Эрмитажа (с 1860 г.). Известны его работы числом до 75» [Юбилейный справочник: 432]. Скончался Иордан 19 сентября 1883 г.; его могила на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга.

Переписка Варвары Александровны со святителем Феофаном началась за четыре года до кончины мужа.

Первое известное письмо преосвященного датировано 18 октября 1879 г. Вопрос, с которым обратилась В. А. Иордан, касался понятия *милость* в Священном Писании. «Есть дела милосердия и милостивость сердечная, — ответил свт. Феофан. — Первые получают цену от последней, но возможно и без нее, и тогда они настоящей цены не имеют. У Апостола имеется в виду этот последний случай. Приложим ли он к вам, сами смотрите. Увидеть это не мудрено. Из сердца ли идут ваши дела, или делаются по каким-либо сторонним движениям, сознание ваше не может ошибиться в определении сего» [Творения 1994. 1: 115]. Следующий шаг, обозначенный свт. Феофаном, — понять природу своей милостивости: является ли она природным расположением или «исходит самодеятельно из любви к Богу и покорности воле Его» [Творения 1994. 1: 115]. Необходимо всякое дело делать, «как бы оно прямо вам самим Богом было поручено» [Творения 1994. 1: 115]. Был у В. А. Иордан и волновавший ее практический вопрос исповедального свойства, на который она также получила ответ: «Серчание, осуждение, неснисходительность, взыскательность к прислуге... все это конечно не добродетели и умаляют общую добротность вашего нрава. Потому подлежат исключению из списка ваших качеств» [Творения 1994. 1: 115]. Письмо завершали рекомендации, как исправить себя.

Круг петербургских корреспонденток свт. Феофана составляли особы из высокопоставленных семей, стремившиеся, как и В. А. Иордан, к духовной жизни. В письмах, отправленных из Вышенского затвора, встречаются имена О. С. Бурачек, М. В. Орловой-Давыдовой, О. Е. Путьятиной, П. В. Саломон, В. В. Швидковской, О. А. Новиковой и др. Преосвященный даже видел возможность составить из них некое общество: «И выйдет не монастырные монахини или вне монастырское подвижничество» [Творения 1994. 4: 53]. Если приходило сообщение о робеющей вступить на путь ко спасению, свт. Феофан требовал от своих адресатов проявить решительность: «Какая еще там красавица все еще мямлит и дороги не находит в обитель! Помогите ей Господи, наконец, встать, топнуть ногою и зашагать бодро, никого и ничего не боясь. Да подаст ей Господи такую благодать» [Творения 1994. 4: 34].

Положение в привилегированном обществе давало возможность адресатам выполнять некоторые поручения свт. Феофана. Так в письме от 18 июня 1880 г. есть указание на то, что В. А. Иордан помогала свт. Феофану собирать материал о пашковщине. Именно ее «записочка с мыслию одной пашковки» [Творения 1994. 1: 119], переданная через О. С. Бурачек, «очень много значит», как подчеркнул преосвященный, при подготовке им для журнала «Душеполезное чтение» четырех «Писем в СПб по случаю появления там нового учителя веры». Распространявшаяся в аристократических кругах Петербурга ересь лорда Гренвиля Редстока и подхваченная «Обществом поощрения духовно-нравственного чтения», организованным полковником В. А. Пашковым, была крайне опасна. «Если оставить Пашкова на свободе действовать, то он образует секту — немецкое молоканство» [Творения 1994. 7: 126], — бил тревогу свт. Феофан. И предупреждал В. А. Иордан: «Они <...> суть истые молоканы и духоборцы. Попытайте и эту сторону дела. Но смотрите, как бы и вас не обуял тот же дух прелести. Он очень льнуш» [Творения 1994. 1: 119].

Еще одна просьба содержится в письме свт. Феофана от 23 января 1892 г.: «Но мне желалось бы знать, что-либо о пр<еосвященном> Леонтии. В газетах *Моск<овские> Ведом<ости>* кое-что пишут. Но в последних номерах поминается университетское торжество, где был и В<еликий> Князь, а владыки не было. Уж здоров ли он?» [Творения 1994. 4: 29–30]. Речь идет о смертельно заболевшем митрополите Московском и Коломенском Леонтии (Лебединском). И здесь же на

В. А. Иордан наложена епитимья — «за то, что вы не прописали мне, как шло дело о назначении владыки митрополитом Московским... Не поленитесь написать, если знаете» [Творения 1994. 4: 30]. Через год свт. Феофан повторил просьбу: «У вас там в Москве есть добрые знакомые. Предпишите им наистрожайше, чтобы писали вам, как все началось, и шло, и идет, а вы известите Вышу, пожалуйста. Пригрозите им, чем знаете, чтобы поскорее написали и подробно. Ну, делать нечего. Будем охать и молиться ко всемилостивому Господу» [Творения 1994. 4: 43].

Корреспонденты становились для Вышенского затворника связующим звеном с внешним миром. «Сколько передали вы в своих письмах новостей приятных и неприятных, но всегда занимательных! Приношу вам за это большую благодарность» [Творения 1994. 4: 33], — писал свт. Феофан В. А. Иордан 24 марта 1892 г.

В контексте переписки эпистолярные документы обладают свойством отражать содержание других писем. Поэтому, даже не располагая письмами В. А. Иордан к свт. Феофану, возможно в общих чертах уловить то, что в них сообщалось, тем более что В. А. Иордан испытывала явную потребность духовного общения, и письма к преосвященному давали ей такую возможность. «Мне совсем не скучно, что вы пишете, — отвечал свт. Феофан. — Потому нечего вам извиняться, что пишете и будто от дела отвлекаете. Разве я все за делом сижу?! Мало ли времени проходит в пустыках» [Творения 1994. 1: 119]. И в другом письме: «Мне не скучно вам отвечать и время можно найти. Потому можете свободно обращаться с своими духовными вопросами» [Творения 1994. 1: 128].

Биографическая канва и духовная биография отражаются, как правило, в разных источниках. Письма свт. Феофана содержат мало сведений о внешних событиях жизни его корреспондентов. Еще раз следует подчеркнуть, что немалую роль в этом сыграла воля самих адресатов, удалявших при подготовке писем к публикации узнаваемые факты и подробности. В то же время в них много сообщений о неустанной духовной работе, о ее трудностях, о преодолении этих преград, о минутах отчаяния и о победах над собой.

В письме свт. Феофана к «г-же NN» от 18 мая 1880 г. дана духовная оценка тех житейских обстоятельств, о которых жаловалась А. В. Иордан: «Прочитавши вами сообщенное, не мог я удержаться, чтобы не

сказать: какая прекрасная у вас обстановка! Разумею в отношении к делу спасения. И вот вам мое решение. Не только все предайте в руки Господа, но еще благодушествуйте, радуйтесь, благодарите. Верно, есть, что из вас выбить, и вот Господь направил на вас столько молотков, которые и колотят вас со всех сторон. Не мешайте же им своим сержанием, противлением, недовольством. Дайте им свободу, пусть, не стесняясь ничем, совершают над вами и в вас дело Божие, к которому Господом приставлены для спасения вашего. Господь любит вас и взял вас в руки, чтобы вытеснить из вас все негодное. Как прачка мнет, трет и колотит белье, чтобы убелить его, так Господь трет, мнет и колотит вас, чтобы убелить вас и приготовить к наследию царствия Своего, куда не войдет ничто нечистое. Так взирайте на свое положение и утвердитесь в нем, и Господу молитесь, чтобы Он утвердил в вас такое воззрение и углубил» [Творения 1994. 1: 116].

Семейная жизнь, очевидно, представлялась В. А. Иордан своего рода преградой к духовному росту. Это распространенное заблуждение она, как можно предположить, поведала свт. Феофану, на что получила ответ: «Брачная жизнь не затворяет двери в царство небесное, может не мешать и в духе совершенствоваться. Не во внешних порядках дело, а во внутренних расположениях, чувствах и стремлениях. Их и поревнуйте всадить в сердце. Читайте Евангелие и Апостол, и смотрите, как следует быть христианину настроену, и позаботьтесь так настроиться. Понемножку все придет и займет свое место. Главное молитва. Она барометр духовной жизни. Непрестанно надо с Господом быть: ибо без Него ни в чем успеха не будет» [Творения 1994. 1: 118].

Обращает внимание, сколь пронизательно видел свт. Феофан в при- сланных ему письмах потребность пишущих; угадывал ее за словами не всегда удачно подобранными и поэтому не всегда точно передающими суть духовного состояния корреспондента; умел определить основную причину внутреннего нестроения и недовольства собой. Видеть свои грехи и правильно определять их — залог верного пути ко спасению. На это свт. Феофан многократно обращал внимание В. А. Иордан.

Художественные приемы в письмах, яркая образность сравнений, легкость стиля, его разговорная форма делали содержание не только понятным, но и прочно укоренявшимся в сознании и в сердце. «Ваших компаньонов или приживалок (малотерпенье и безропотность, гордость, раздражительность, суетность, празднословие, злословие, не-

воздержание в словах и в пище, паче всего леность к молитве), конечно, нельзя похвалить; но то хорошо, что они замечаются, и не только замечаются, но и выставляются на показ, — чего сии сударыни терпеть не могут. Вы всякий вечер доносите на них Господу, когда пересмотрев все прорвавшееся в продолжение дня скажете: “Господи! Ты все видишь! Прости, и дай мне уменье не поскользаться в сем”. Если будете так делать, то они одна за другой забудут и двери ваши. Только одну из них сейчас же уколотите, сожгите и прах по ветру развейте... Это леность к молитве. Разозлитесь на нее и сейчас же уничтожьте, чтоб дух ее не пах» [Творения 1994. 4: 3]. И в других письмах свт. Феофан определял молитву как «барометр духовной жизни» [Творения 1994. 1: 123].

Постепенно в письмах В. А. Иордан стала проступать исповедальная полнота, что сразу отметил свт. Феофан 13 января 1882 г.: «Это первое ваше настоящее письмо: душа писала» [Творения 1994. 1: 123].

В год смерти мужа перед В. А. Иордан особенно остро встал вопрос, как примирить духовное и житейское. «Бросить ваших дел житейских нельзя, — отвечал свт. Феофан. — Вы связаны в отношении к ним заповедями, и нарушая их или не исполняя будете делать неуютное Господу. На все есть заповеди, на все отношения ваши к мужу и слугам, и к родным, и ко всем сторонним. Так уясните себе, как должны вы действовать по заповедям относительно всех и всего и действуйте так... Это конечно будет занимать ваше внимание. Спрашивается, как же Господа при сем иметь во внимании? Так: какое бы дело, большое или малое, вы ни делали, держите в уме, что его вам повелевает делать Сам Господь Вездесущий и смотрит, как вы его сделаете. Так себя держа, вы и дело всякое будете делать со вниманием, и Господа будете помнить. В этом весь секрет успешного для главной цели действия в вашем положении. Извольте в это вникнуть и так наладиться. Когда так наладитесь, тогда и мысли перестанут блуждать туда и сюда...» [Творения 1994. 4: 7].

Нередко В. А. Иордан жаловалась на нехватку времени и получала от свт. Феофана разъяснение, что «Марфа бывает не одна житейская, есть Марфа и духовная»: «То, что у вас времени недостает по причине хлопот и семейных и вне семейных дел, тоже милость. Кому все некогда, тот не имеет, когда поскучать от праздности и безделья; не имеет вместе и опасности, какой подвергаются праздные. Одно только надо бы устранить, — именно душевную из-за того непокойность. И мне

думается, что это удобно достигнуть, не гоняясь за многоделанием, а делая со всем вниманием лишь то, что предлагается сделать течением дел» [Творения 1994. 1: 124]. И еще один важный совет следовал с Выши: «Желаете знать духовное против неудовольствия на прислугу врачевство? Кажется у Лествичника написано: первый прием против сержания — молчание уст» [Творения 1994. 4: 28].

После смерти мужа 19 сентября 1883 г. В. А. Иордан постоянно ощущала потребность уехать из Петербурга, оставить привычную обстановку. Свт. Феофан не соглашался с этими порывами; считал, что необходимо «подладить порядки жизни к требованиям духа» [Творения 1994. 4: 11], что «внутренний строй, или некое в вас настроение <...> с вами поедет, куда ни удаляйтесь! Стало быть, скорее сюда и должно обратить внимание и все усилия; т.е. внутри лад устроить независимо от внешней обстановки» [Творения 1994. 4: 11]. Но по прошествии некоторого времени преосвященный благословил свою духовную дочь на паломничества по святым местам России. «Сколько сокровищ набрали вы во время летнего своего странствия по обителям! — писал свт. Феофан 20 декабря 1888 г. — Читаешь и восхищаешься вместе с вами <...>. Сколько надавали вам сотов духовных. Вот вы сидите теперь и повторяйте вкушение их. Дай Господи на здоровье! Как видится, вас совсем отвяло от <Петербурга>. И пребудьте такими. Жалеть нечего. Если верно, что вы знаете только церковь, да келью, то вам не мудрено к сему приложить, а из кельи на небо будет преблаженное движение» [Творения 1994. 4: 23].

В письме к общей знакомой В. В. Швидковской свт. Феофан упоминает о летнем паломничестве В. А. Иордан: «Варвара Александровна хорошо сделала, что поехала. Теперь не будет уже тянуть ее поездка туда и сюда. В Сергиевой пустыни можно найти покой, если захочет и умудрится. Желая ей покоя внутреннего, паче внешнего» [Творения 1994. 6: 184]. Через месяц, 26 октября 1888 г., тому же адресату: «Варвара Александровна описала коротко все кружение свое по обителям. Впечатление хорошее осталось; и может чрез воспоминание поддерживать добрые ее решения. Описала также прощание с Санкт-Петербургом и петербургскими... Со всеми в ладах рассталась; но не жалуется» [Творения 1994. 6: 187].

Летом 1892 г. свт. Феофан благословил паломничество на Валаам: «Даруй Господи утешиться вам там святым утешением. Наберитесь та-

мошным воздухом побольше, чтобы хватило не на один год» [Творения 1994. 6: 37].

В. А. Иордан ездила и в Кронштадт — к о. Иоанну. О своих впечатлениях писала на Вышу. Свт. Феофан отвечал кратко, но с великим почтением: «О. Иоанн быстротечный... удивляюсь, как он выносит столько хлопот. И труд спасительный, и воздаяние многое. Спаси его Господи!» [Творения 1994. 4: 63].

Неизменную благодарность свт. Феофана вызывали изящные знаки внимания В. А. Иордан, которые он получал преимущественно по почте. «Первое место иконкам. Я их очень люблю. Карандаши какие представительные! Как-то они будут писать и как крепки при заострении!?. Бумага для писем разлинована глазастей, чем обыкновенная. Да и все прекрасно. <...> Чернила и прекрасная чернильница очевидно для чего. — Писать... буду писать к вам письма ими и перьями вашими, как уже и пишется сие письмо» [Творения 1994. 4: 45]. В посылках бывало и то, что «для Выши непостижимо... и я не видывал...» [Творения 1994. 4: 45]. В таких случаях свт. Феофан без обиняков спрашивал: «Теперь поясните мне эти неписанные книжки и книга — что суть и для чего назначаются? Конечно для письма чего-либо, но чего? Уж не дневник ли? Это мне нередко приходило в голову. Но какого содержания следует быть дневнику? Такого ли, как отца Иоанна? Это самое лучшее. — У меня есть сему образчик... в письмах к разным лицам... в конце. — Но порождение таких мыслей прекратилось. Если не воротятся такие мысли, не придется писать такого дневника. Записывать бы текущие дела; например, болезнь владыки Леонтия и под. — Но много ли таких? Выходит, что почти нечего писать. Но пусть полежит. Положу их на глазах и они своим видом, предлагая мне вопрос о себе, доведут когда-нибудь и до решения его. Однако ж это не увольняет вас от показания, с какою мыслью они прибыли на Вышу. <...> Но клею что клеить? Конверты — дело обычное, но что значат листики, наколотые по краям?» [Творения 1994. 4: 45].

Годы переписки сближали корреспондентов и располагали свт. Феофана к воспоминаниям. В этом случае его письма к В. А. Иордан становятся уникальным источником биографии преосвященного. Так упоминание ею митрополита Платона (Городецкого) воскресило в памяти семинарскую юность: «Благой и мудрый владыко! Он был моим наставником в Орловской семинарии, кажется в 29 г. два месяца. Он уехал в

СПб. академию, а к нам приехал ректором архим. Исидор, нынешний владыка С.-Петербургский, и был у нас 4 года с небольшим. Я очень его помню... да и все орловцы помнят. Пр. Серафим Воронежский был его любимый ученик. Также Лаврентий Иверский, настоятель, предивного нрава человек. Других таких не помню. Я при нем был в низшем и среднем отделении семинарии. Он часто назначал меня читать в субботних собраниях мои философские бумагомарания. У него были заведены в первые часы в субботу собрания всех классов в большую залу, на коих ученики всех классов читали свои сочинения, какие Владыке понравились. — Еще помню, — в словесности — первом классе семинарии, почему-то назначено было нам дома, в родительском доме на Рождественском отпуске написать проповедь по своему выбору предмета. Я писал ее с большим воодушевлением, за то отец ректор (теперешний ваш Владыка) повелел мне представить ему список. Тогда я долго не по земле ходил, а выше облаков. Вот сколько я наболтал, забывшись. Прошу извинения. <...> Однако же лучше мне ныне перестать писать, ибо очевидно подлежу недоброму припадку болтливости. Виноват!» [Творения 1994. 4: 31–32].

Когда издательством Афонского Русского Пантелеимонова монастыря были выпущены под одной обложкой избранные тамбовские и владимирские проповеди свт. Феофана «Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество», преосвященный занялся рассылкой этих небольших книжечек (134 стр.) в дар своим духовным чадам. «Мои слова — “напоминание инокиням” — теперь как раз к вам подходят, — писал он В. А. Иордан 8 марта 1893 г. — Шлю их вам десять экземпляров. Недавно получил их. В С.-Петербург моим красавицам pošлю особо... или шлю теперь же» [Творения 1994. 4: 48]. По прочтении, В. А. Иордан написала на Вышу о своем «добром впечатлении» и получила в ответном письме редкое описание того, как рождались многие проповеди свт. Феофана. «Особенность моих проповедей — и этих, и всех других — та, что они не сочиняемы. Обычно бывало вечером, после всеобщей выпью стакан чая, прочитаю Евангелие завтрашнее, потом Апостол... и какая мысль впадет и займет внимание и сердце, ту беру в тему... и проповедь там внутри уж сама собой строится. Час, полтора, много два... и проповедь готова... утром прочитаешь, немножко подладишь. Иногда тему дают внешние обстоятельства, как бывало при посещениях монастырей..., но производ-

ство все то же. Это писанные экспромты; как они не из головы шли, то и представляют подслащенное нечто» [Творения 1994. 4: 50–51].

В письмах к В. А. Иордан также приоткрыты и некоторые подробности жизни преосвященного в затворе. В ответ на заботу о его здоровье свт. Феофан писал: «Целое лето я провожу почти на балконе, а обитель наша в лесу, тотчас за оградой лес. Зимой редко хожу на балкон — боюсь простуды: тут и простудился я теперь. Но комнаты проветриваются кроме форток отворением двери наружу, причем воздух весь переменяется — это почти каждый день. Движение не скупо. Больше хожу, когда читаю; сидя только пишу... что бывает не больше двух, трех часов в день. Усиленные занятия... прошло уже для них время. А когда они были, тогда не чувствовалось утомления. Лучше всего все производить от того, что время силы прошло; настала старость, которая очень податлива на недомогания» [Творения 1994. 4: 27].

О своей затворнической жизни свт. Феофан писал как о счастье. Часто цитируются его слова именно из письма к В. А. Иордан от 15 апреля 1892 г.: «Вы меня называете счастливым. Я и чувствую себя таковым, и Выши своей не променяю не только на С.-Петербургскую митрополию, но и на патриаршество, если бы его восстановили у нас, и меня назначили на него. Но меня не то покоит, что вы разумеете, хоть и это есть и может быть в преимущественной мере, а то, что Бог дал мне охоту к труду бумагомарания и к другому рукодельному. И я не видел... как летело время. Теперь вижу, потому что тот и другой труд пресекался. Бумагу марать позывы пропали, а рукодельничать и леность и ослабление сил не позволяют» [Творения 1994. 4: 35].

Последнее письмо к В. А. Иордан свт. Феофан завершил словами: «*Душеполезное Чтение* я получаю, это единственный журнал, где статьи не отуманиваются мудрованиями» [Творения 1994. 4: 65]. В письмах к архиепископу Савве, выявленных Д. А. Чудиновым, В. А. Иордан подчеркивала, что она является духовной дочерью свт. Феофана. Столь высокая оценка православного журнала «Душеполезное чтение» стала главным и единственным аргументом в решении судьбы хранившихся у нее писем с Выши.

О своем духовном сиротстве после кончины свт. Феофана В. А. Иордан писала архиепископу Савве: «Не могу до сих пор привыкнуть к мысли, что преосвященного Феофана более нет, он как будто все унес с собою»; «Вот и конец года, вот близится и роковая годовщина — кон-

чина преосвященного Феофана и с нею мое сиротство. До сих пор не верится мне, что его нет более. Некоторые из его писем, в числе 45, я послала в “Душеполезное чтение”, это был его любимый журнал»; «Исполнилось 15 месяцев, как скончался преосвященный Феофан. Я всякую субботу служу по нем панихиды и не могу без слез вспоминать о нем...» [Чудинов].

Список литературы

Источники

Александр Андреевич Иванов: Его жизнь и переписка 1806–1858 гг. СПб.: Изд. М. Боткина, 1880. 478 с.

Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собрание писем. Из неопубликованного. М.: Правило веры, 2001. 656 с.

Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собрание писем. Вып. I–VIII. Паломник, 1994.

Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764–1914 / сост. С.Н. Кондаков. СПб.: Тов-во Р. Голике и А. Вильборг, 1915. Т. 2. 454 с.

Исследования

Иордан Ф. И. Записки ректора и профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордана / сост., авт. вступ. ст. и примеч. Н. С. Беляев; науч. ред. Г. В. Бахарева. СПб.: БАН, 2012. 384 с.

Кислов В. А. Варвара Александровна Иордан (1833–1916). URL: <http://kraeved-gatchina.de/ocherki/vydayushchiesya-zhiteli/iordan-varvara> (дата обращения: 10.11.2021).

Чудинов Д. А. Неизвестная духовная дочь Феофана Затворника: из переписки В. А. Иордан и Саввы (Тихомирова). URL: <http://svtheofan.ru/item/1854-chudinov-dmitpiy-aleksandpovich.html> (дата обращения: 10.11.2021).

References

Iordan, F. I. *Zapiski rektora i professora Akademii khudozhestv Fedora Ivanovicha Iordana* [Notes of the Rector and Professor of the Academy of Arts Fedor Ivanovich Iordan], comp., introd. and notes by N. S. Beliaev. St. Petersburg, BAN Publ., 2012. 384 p. (In Russ.)

Kislov, V. A. *Varvara Aleksandrovna Iordan (1833–1916)*. Available at: <http://kraeved-gatchina.de/ocherki/vydayushchiesya-zhiteli/iordan-varvara> (accessed 10 November 2021). (In Russ.)

Chudinov, D. A. *Neizvestnaia dukhovnaia doch' Feofana Zatvornika: iz perepiski V. A. Iordan i Savvy (Tikhomirova)* [The unknown spiritual daughter of Theophan the Recluse: from the correspondence between V.A. Iordan and Savva (Tikhomirov)]. Available at: <http://svtheofan.ru/item/1854-chudinov-dmitpiy-aleksandpovich.html> (accessed 10 November 2021). (In Russ.)

© 2021. Н. В. Яковенко

Институт литературоведения имени Янки Купалы Центра исследований
белорусской культуры языка и литературы
Национальной академии наук Беларуси
г. Минск, Республика Беларусь

Учебник, указующий путь к русской классике¹

Аннотация: Статья представляет собой рецензию на учебник «Русская литература XIX века» в двух частях известного ученого-литературоведа, доктора филологических наук Юрия Владимировича Лебедева. Дается краткое описание издания, его структуры, указаны некоторые проблемы, поднятые автором, и основная концепция учебника, продолжающего целую линию книг автора, выпущенных для школьников и студентов. Ю. В. Лебедев подчеркивает уникальность пути русской литературы, особую миссию, которая всегда лежала на наших писателях, — быть духовными авторитетами, особенно в самые сложные для страны времена. В рассматриваемом учебнике представлены не только персоналии поэтов и писателей, его автор показывает целостный литературный процесс XIX в., тесно связанный с философской мыслью в России и жизнью общества. В своих учебниках Ю. В. Лебедев впервые в пореформенное время в России так ярко и точно говорит о возрождающей и преобладающей человека силе русской классической литературы.

Ключевые слова: русская литература XIX в., русская словесность, классическая литература, личность, национальное своеобразие, православные ценности, народ, историзм, общественная жизнь.

Информация об авторе: Наталья Васильевна Яковенко, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, отдел взаимосвязей литератур, Институт литературоведения имени Янки Купалы Центра исследований белорусской культуры языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, 220072 г. Минск, Республика Беларусь

E-mail: natayakavenka@tut.by

Дата поступления статьи: 14.11.2020

Дата одобрения статьи рецензентами: 26.01.2021

Дата публикации статьи: 22.03.2021

Для цитирования: Яковенко Н. В. Учебник, указующий путь к русской классике // Два века русской классики. 2020. Т. 3, № 1. С. 284–293. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-284-293>

¹ Рецензия на книгу: Лебедев Ю. В. Русская литература XIX века: Курс лекций для бакалавриата теологии. В 2 т. / науч. ред. священник Георгий Андрианов. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издат. дом «Познание», 2020.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 284–293. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 284–293. ISSN 2686-7494

Book Review

© 2021. Natalya V. Yakovenko

Yanka Kupala Institute of Literary Studies of the Center for Belarusian Culture,
Language and Literature Research
of the National Academy of Sciences of Belarus
Minsk, Republic of Belarus

A Textbook Pointing the Way to the Russian Classics¹

Abstract: The article is a review of the textbook in two parts under the title “Russian literature of the 19th century” by the well-known literary scholar Doctor of Philology Yuri Vladimirovich Lebedev. A brief description of the publication, its structure, some of the problems raised by the author, and the basic concept of the textbook continuing the whole line of the author’s books published for schoolchildren and students are given. Yu. V. Lebedev emphasizes the uniqueness of the path of Russian literature, a special mission that has always been with our writers — to be spiritual authorities, especially in the most difficult times of our country. In this textbook presents not only the personalities of poets and writers. The author of the textbook also shows the integral literary process of the 19th century closely connected with philosophical thought in Russia and the life of society. In his textbooks Yu. V. Lebedev for the first time in the post-reform period in Russia speaks so vividly and accurately about the reviving and transforming power of Russian classical literature.

Keywords: Russian literature of the 19th century, Russian literature, classical literature, personality, national identity, Orthodox values, people, historicism, social life.

Information about the author: Natalya V. Yakovenko, PhD in Philology, Senior Researcher, Yanka Kupala Institute of Literary Studies of the Center for Belarusian Culture, Language and Literature Research of the National Academy of Sciences of Belarus, str. Sorganov, 1, build. 2, 220072 Minsk, Republic of Belarus

E-mail: natayakavenka@tut.by

Article received: November 14, 2020

Approved after reviewing: January 26, 2021

Published: March 22, 2021

For citation: Yakovenko, N. V. “A textbook pointing the way to the Russian classics.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 284–293. (In English) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-284-293>

¹ Review of the book: *Lebedev, Yu. V. Russian Literature of the 19th century: A course of lectures for a bachelor of theology*. In 2 volumes, scientific. ed. priest Georgy Andrianov. Moscow, Church-wide postgraduate and doctoral studies of Saints Equal to the Apostles Cyril and Methodius, Publishing House “Poznanie”, 2020. (In Russ.)

2020 year has passed. It was a difficult year for Russia and the whole world when humanity faced with a new viral infection forcing many people to reconsider their attitude to the environment, to reassess their values. We entered the year 2021 with the same deeds and problems, we are still sometimes overcome by the momentary various vanities, we are still worried about unsolvable questions. Science has not yet been able to find an answer to these questions... Maybe science will never find it, but Russian classical literature surprisingly combined the image of the present, the illustration of reality with the striving for an uplifting and spiritualizing ideal knows the answers to these questions.

Amazingly that all of humanity still does not see these lessons of the Russian classics or does not want to see and perhaps cannot see because of its depravity, because of its superficial and one-sided view. I would compare Russian classical literature with a huge temple built on the holy Russian land. And it turns out that Russian classical literature needs servants — those people who would convey its ideas to humanity, become a lamp, a guide to this amazing world which keeps so much simplicity, kindness and truth and at the same time of course beauty and blossoming complexity.

I consider that one of the talented and gifted servants of this temple is Doctor of Philological sciences, Honored Scientist of the Russian Federation, a great scientist known not only in Russia, but also abroad, a wonderful person Yuri Vladimirovich Lebedev. He is the author of many textbooks, teaching aids on Russian literature for schools and universities. All of them have gone through dozens of editions and recommended by the highest expert authorities. Moreover, all of them are recognized and demanded among literature teachers. Yuri Vladimirovich is the head of a large scientific school. He has always taught and continues to teach his students to see life properly, try to look at it as Russian classics saw it in the best moments of their creative path. Of course, this is a view from the perspective of eternity: it does not reject the human, does not lower the values of this sinful world

but tearing away the earthly life in its divine primordial form not spoiled by sinful thoughts and spiritual illnesses.

More than one generation of philologists was formed on the books and textbooks of Yu. V. Lebedev, but an even more important mission of this great scientist seems to us that he is writing for young people, for those who are entering life. We are talking now about the fact that Yuri Vladimirovich manages to work both on scientific research that is significant in the academic environment and on textbooks. Yuri Vladimirovich combines rare gift of a scientist and a teacher freely addressing any audience: to the academic environment, to students, to schoolchildren and to all lovers of Russian words.

In 2020 a wonderful textbook for students of theological specialties in two parts by Yu. V. Lebedev was published. It is an impressive and grandiose work revealing the main features of Russian classical literature and its national identity. It is noteworthy that the textbook opens with a quote from N. V. Gogol and his appeal to young people: “Take with you in the way leaving soft youthful years in severe brutalizing courage, take with you all human movements, do not leave them on the road because will not pick it up later!” [Lebedev: 1, 7]. Following the classic Yuri Vladimirovich speaks about the importance of educating the younger generation, preserving the sensitivity that is inherent in youth and is so often lost later. But this deep and thoughtful beginning we also see another meaning: the whole textbook of Yuri Vladimirovich is a proof of the fact that a man who understands and loves Russian classical literature and lives its precepts even in later years will be young at heart, not indifferent, open to the world and its bright joy. Not unbridled fun, but joy and admiration for the correctly and wisely arranged the Divine world.

Despite the fact that we are separated from our classics of the 19th century on average by more than one and a half centuries Russian literature with all its deep content, the multitude philosophical problems it raises seems to the reader as alive and young and more relevant than ever. Yu. V. Lebedev says about it in the last paragraph of the textbook, which perfectly rhymes with its beginning: “The Lessons of Russian classical literature have not yet been learned or even fully understood, we are still making our way through to understand them passing through the bitter experience of historical upheavals of 20th century. And in this sense Russian classics are still ahead of us not behind us” [Lebedev: 2, 604].

The textbook consists of two large and heavy volumes or books beautifully published. Each of them with over 600 hardcover pages. There are four portraits of classics presented in small circles on the cover of each of the books. Further black and white portraits of writers (or reproductions, illustrations) precede each of the chapters.



Two volumes of the textbook contain 39 voluminous and informative chapters as well as an introduction and conclusion. The introduction sets a special tone for the textbook. The author of the textbook shows from the first lines that Russian classical literature cannot be entertainment and that reading it is an intense spiritual work. Yu. V. Lebedev calls readers to this work, which can open the way for the reader to the values and shrines of Russian classics. More precisely, he does not even call he takes the reader by the hand and leads him to the temple of Russian literature. Yuri Vladimirovich reveals the special attitude of Russian artists to the word, their high desire to transform the world around them. 39 chapters of the textbook are devoted to Russian writers and poets of the 18th and mainly 19th centuries. There are also separate generalizing chapters in the edition — “The Poets of the Pushkin Period,” “Russian literature of the 1840–1860s,” “Russian criticism of the 1850s–60s,” “Russian literature and social movement of the 1870s–1890s.” These chapters convey the features of the literary process of a particular period, the alignment of social forces in Russia, the originality of the literary critical views of various representatives of Russian criticism. In the end of the textbook we see

profound conclusions based on the study of different artistic worlds of Russian writers and poets. Yuri Vladimirovich says that Russian literature for the first time approved the idea of a new man and a new humanity: for our writers personal life separated from the people is only a miserable existence.



Among 39 chapters there are mostly topics devoted personalities — Russian writers and poets from N. M. Karamzin, V. A. Zhukovsky, K. N. Batiushkov to L. N. Tolstoy, A. P. Chekhov, G. Korolenko. Each of the 39 chapters of the textbook is a kind of small monographic research telling about the features of talent that or that writer, his course of life, formation, major milestones creativity, key works and images. Each chapter of the textbook is distinguished by the extraordinary depth of formulation of problems and at the same time the simplicity of their coverage. The knowledgeable reader can see what a tremendous amount of work has done by scientist in writing this text in a form accessible to young readers.

However, it would be a great mistake to think that this wonderful publication is intended only for students studying in the field of “Theology.” In our opinion, it is now the best textbook on Russian classical literature that can be consulted by people of all ages. The book that can help the modern reader to answer many problematic questions, choose the right path and join the values kept by the Russian people for centuries.

Yu. V. Lebedev shows that despite all the differences in the path of Russian writers they all looked at the world and man in the same way since this was

a view from the position of Orthodox-Christian culture rejecting all selfish manifestations. The author shows a special universalism characteristic of the classics of Russian literature, the peculiarities of the worldview of different writers, their spirituality. Yu. V. Lebedev notes both the strengths of artistic creativity and the human weaknesses of Russian artists, but at the same time pays the reader's attention to the path of their spiritual growth and formation that is reflected precisely in literary works.

The author of the textbook shows through numerous examples that all Russian poets and writers saw in artistic creativity not self-expression, but service. To whom? First of all to our neighbors, then to Russia, to all humanity and, of course, to God. "When carefully reading "Boris Godunov," it is difficult to get rid of the feeling that in addition to the visible active heroes of the tragedy there is another hero invisible, not personalized, but also acting constantly giving himself felt. Moreover, this invisible hero is precisely the supreme arbiter..." [Lebedev: 1, 227]. Based on the analysis of a number of masterpieces of Russian literature of the 19th century, Yu.V. Lebedev states that the connection of the writer with the religious shrine of his people is at the genetic level. It manifests itself not only in *what* the writer portrays at work, but also in *how* he sees the world. In other words, this connection is visible in the peculiarities of the *poetics* of Russian classical literature.

A great attention in his textbook Yu. V. Lebedev pays to the language of works. At the beginning of the first chapter of the first part of the textbook the author turned to the question of inheritance of Russian secular literature of the precepts of the Old Russian bookishness that was subordinate to educational and educational goals. The uniqueness of the path of our literature is in the fact that its secular nature according to Yuri Vladimirovich did not deprive the writer's work of its "religious aura".

Yu. V. Lebedev proves that sophisticated and complex hierarchy of values that organizes the Russian literary language is directly connected with the Word of Russian liturgical books and Orthodox Liturgy. Russian language naturally absorbed its high Spirit-bearing fundamental basis.

In turn, the language of the textbook corresponds to the high level indicated by Russian classics. All works of Yuri Vladimirovich are distinguished by the lightness of the style, clarity, consistency, logic, accuracy. It is worth noting how harmonious and evidence-based are all the quotes given by the author in the textbook. As we read the work, we get the impression that not a single line from the text can be either subtracted or added.

For example, the author of the textbook describes the positions of the various representatives of the populist and revolutionary movements comparing them with each other, — and the reader gets the whole picture illustrating the moderate and extreme representatives of populism. The author of the textbook shows us appeal of P. L. Lavrov to Russian intelligentsia, who set his contemporaries a question about the price of progress; the positive side of the populist ideology of N. K. Michalowskii; social position of M. A. Bakunin, who considered “the only fruitful and creative view of the struggle for liberation revolt, anarchist revolution” and the views of P. N. Tkachev, who saw the task of the revolution in the seizure of state power [Lebedev: 2, 59–60]. The author of the textbooks clearly, scrupulously and step by step examines the positions of public figures without what the reader will not be able to understand many of the heroes of the novels created by the writers in the 1870s–1880s. Everything here is very clear: dates, events, quotes, positions, but the textbook of Yuri Vladimirovich is unthinkable without poetry, without vivid comparisons that support thoughts and valuable observations. In order to the reader can once again appreciate and understand the power of spiritual love of peasant Darya to her deceased husband Proclus in the poem “Frost, Red Nose,” Yu. V. Lebedev compares cry of Andromache lost Hector and enumerating the troubles waiting for her in the “Iliad” of Homer and the cry of the Christian Yaroslavna crying not for herself but suffering for her husband. In the best works of Russian classics Yuri Vladimirovich emphasizes the amazing spiritual strength of the Russian people, their ability to forget about themselves in difficult times, to sacrifice personal ones in the name of the people and the happiness of the country.

All Russian writers and poets felt a special responsibility for the fate of the country. It is very interesting how skillfully and subtly the author of the textbook isolates the main motives of different periods of the creativity of this or that writer showing moments of joy, fascination and doubts that replace one another. Yu. V. Lebedev states that the questions of artistic skill for many classics were secondary since on the first plan was not the idea of recognizing the people, but the idea of helping the people, transforming life.

Two volumes of “Russian Literature of the 19th century” by Yu. V. Lebedev especially can be call a textbook remembering the main science that everyone should learn — the science of life, attitude to others. Yuri Vladimirovich teaches the younger generation to live according to the precepts of the classics who in their artistic images reflected the preserved Orthodox model

of life for centuries. Any change in this world as the author of the books shows must begin with the transformation of the human personality: there is no need to aim for grandiose changes it is worth starting with oneself.

It does not mean that Russian writers thought exclusively on the scale of a particular person. From chapter to chapter Yu. V. Lebedev reveals their deep philosophy of history showing an understanding of the Christian precepts: “Dostoevsky’s Christian ideal denies the concept of the collapse and failure of history. He does not accept the socialist utopia of an “earthly paradise.” In this utopia progress is made only in the social sphere and does not imply any ontological improvement of the world and man. For Dostoevsky, the Christian ideal presupposes the transformation of the whole earth and the entire nature of man” [Lebedev: 2, 368].

The textbook is not burdened with numerous references. In our opinion, it is one of the advantage of the publication. At the end of each chapter there are questions. In rare textbooks these tasks for testing students are formulated with such clarity and thoughtfulness, intelligibility. The reader taking up the book of Yu. V. Lebedev and starting to study it, without a doubt, will understand the author’s great love not only for Russian literature but also to all compatriots and to all the people whom the author says with feeling about the truth of life, love, kindness boldly condemning indifference that is so much now in our lives.

Yu. V. Lebedev strives for the correct understanding of the precepts of the Russian classics that still keep many secrets. He like many other authors of works worries about a superficial understanding of literature. For example, in the textbook he says about the reasons of Griboyedov’s painful mood despite the fact that his “Woe from Wit” was recognized, and the author got the opportunity to shine in the glory: “The reasons of deep dissatisfaction of Griboyedov were in another. Apparently, he was not satisfied with the “ease” of perception of the comedy that does not penetrate into the depth of the content, into the seriousness of the problems that were touched upon in “Woe from Wit” [Lebedev: 1, 165].

The painstaking work of Yu. V. Lebedev is amazing: the textbook of one researcher is devoted to a whole large course on the history of Russian literature of the 19th century. And the most important advantage of this book lies in the fact that after treatment to it the reader has a need to take a volume of A.S. Pushkin and L. N. Tolstoy (or any other writer) and start to read and make sure that the words of Yu. V. Lebedev said him about Russian classical literature are true.

Список литературы

Исследования

Лебедев Ю. В. Русская литература XIX века: Курс лекций для бакалавриата теологии: В 2 т. / науч. ред. священник Георгий Андрианов. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издат. дом «Познание», 2020. Т. 1. 656 с.

Лебедев Ю. В. Русская литература XIX века: Курс лекций для бакалавриата теологии: В 2 т. / науч. ред. священник Георгий Андрианов. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. Т. 2. 608 с.

References

Lebedev, Iu. V. *Russkaia literatura XIX veka: Kurs lektsii dlia bakalavriata teologii: v 2 t.* [*Russian Literature of the 19th Century: A Course of Lectures for a Bachelor of Theology. In 2 vols.*], vol. 1, sci. ed. priest Georgy Andrianov. Moscow, Obshchetserkovnaia aspirantura i doktorantura im. sviatykh ravnoapostol'nykh Kirilla i Mefodiia, Izdatel'skii dom "Poznanie" Publ., 2020. 656 p. (In Russ.)

Lebedev, Iu. V. *Russkaia literatura XIX veka: Kurs lektsii dlia bakalavriata teologii: v 2 t.* [*Russian Literature of the 19th Century: A Course of Lectures for a Bachelor of Theology. In 2 vols.*], vol. 2, sci. ed. priest Georgy Andrianov. Moscow, Obshchetserkovnaia aspirantura i doktorantura im. sviatykh ravnoapostol'nykh Kirilla i Mefodiia, Izdatel'skii dom "Poznanie" Publ., 2020. 608 p. (In Russ.)

© 2021. А. А. Федотова
Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского
г. Ярославль, Россия

Опять «против течений»: новая зарубежная монография о Н. С. Лескове¹

Аннотация: В рецензии на монографию польской исследовательницы, адъюнкта кафедры русистики Варшавского университета М. Лукашевич о творчестве русского классика второй половины XIX в. Н. С. Лескова, вышедшую в издательстве Варшавского университета, анализируется структура книги, подчеркивается широта охвата материала, а также привлекательный для широкого читателя и в то же время перспективный научный подход. М. Лукашевич представляет широкую панораму российской религиозной жизни второй половины XIX в., в контексте которой, исходя из задач монографии, и рассматривается творчество Н. С. Лескова. Внимание автора сосредоточено на анализе наименее изученного пласта прозы Лескова — его публицистики. Многочисленные публицистические высказывания писателя, посвященные актуальным вопросам социальной жизни Церкви, осмысляются польским филологом в единстве формы и содержания. В рецензии охарактеризован круг проблем, поднятых в монографии, выделены удачные и нетривиальные наблюдения автора новой книги.

Ключевые слова: Н. С. Лесков, русская литература второй половины XIX в., Русская Православная Церковь, религия, публицистика.

Информация об авторе: Анна Александровна Федотова, доктор филологических наук, доцент кафедры русской литературы, Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, ул. Республиканская, д. 108/1, 150000 г. Ярославль, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9629-6154>

E-mail: gry_anna@mail.ru

Дата поступления статьи: 29.09.2020

Дата одобрения статьи рецензентами: 26.11.2020

Дата публикации статьи: 22.03.2021

Для цитирования: Федотова А. А. И снова «против течений»: новая зарубежная монография о Н. С. Лескове // Два века русской классики. 2021. Т. 3, № 1. С. 294–309. DOI <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-294-309>

¹ Рецензия на книгу: Лукашевич М. «Я не враг Церкви, а ее друг... и уверенный православный». Церковная проблематика в публицистике Николая Лескова. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. 542 s.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dva veka russskoi klassiki,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 294–XXX. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 3, no. 1, 2021, pp. 294–309. ISSN 2686-7494

Book Review

© 2021. **Anna A. Fedotova**
Yaroslavl State Pedagogical University
named after K. D. Ushinsky,
Yaroslavl, Russia

Again “Against the Currents”: New Foreign Monograph about Nikolay Leskov¹

Abstract: In a review of a monograph by a Polish researcher, an adjunct of the Department of Russian Studies at Warsaw University, M. Lukashevich, on the work of a Russian classic of the second half of the 19th century Nikolay Leskov, published by the Warsaw University Publishing House, the structure of the book is analyzed, the breadth of coverage of the material and the scientific approach, attractive for the general reader and at the same time promising, are emphasized. Lukashevich presents a broad panorama of Russian religious life in the second half of the 19th century, in the context of which, based on the objectives of the monograph, Leskov’s work is considered. The author’s attention is focused on the analysis of the least studied layer of Leskov’s prose — his journalism. Numerous publicistic statements of the writer dedicated to topical issues of the social life of the Church are interpreted by the Polish philologist in the unity of form and content. The review describes the range of problems raised in the monograph, highlights successful and non-trivial observations of the author of the new book.

Keywords: Nikolay Leskov, Russian literature of the second half of the 19th century, Russian Orthodox Church, religion, journalism.

Information about the author: Anna A. Fedotova, PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Russian Literature, Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, st. Republican, 108/1, 150000 Yaroslavl, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9629-6154>

E-mail: gry_anna@mail.ru

Article received: September 29, 2020

Approved after reviewing: November 26, 2020

Published: March 22, 2021

For citation: Fedotova, A. A. “Again ‘Against the Currents’: New Foreign Monograph about Nikolay Leskov.” *Dva veka russskoi klassiki*, 2021, vol. 3, no. 1, pp. 294–309. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2021-3-1-294-309>

¹ Review of the book: Lukashevich, Marta. “*I am not an enemy of the Church, but her friend ... and a confident Orthodox*”. *Church Problems in Nikolai Leskov’s Journalism*. Warsaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Publ., 2019. 542 p. (In Russ.)

С каждым новым годом XXI столетия все дальше в прошлое уходит для читателя и исследователя история и культура XIX в., ставшего для отечественной литературы, без всякого преувеличения, золотым. Несмотря на постоянно увеличивающуюся историческую дистанцию, эпоха классической русской литературы не теряет своей привлекательности для ученых. Даже наоборот, она заставляет гуманитариев разных профилей, представителей разных стран и культур вновь и вновь обращаться к объяснению своего загадочного феномена, рождая новые ответы на вопрос о причинах неожиданного выхода отечественной прозы в авангард европейской литературы в целом.

Показательно, что интересует феномен русской классики не только представителей русской филологической науки, что было бы вполне закономерно. Русская классическая литература — это традиционная область научных интересов и западной славистики, о неослабевающем внимании которой к отечественному литературному наследию свидетельствуют, например, программы крупнейшей конференции европейских славистов BASEES, традиционно проводимой в Великобритании.

Визитной карточкой русской литературы второй половины XIX в. для европейских читателей и специалистов-филологов, безусловно, выступает творчество Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Но — возможно, к удивлению отечественных читателей — в последнее время рядом с этими именами стало звучать имя автора, чей статус как «классика» русской литературы в России до сих пор не бесспорен, имя Н. С. Лескова. Значительный вклад в изучение и популяризацию творчества Лескова в Восточной Европе внес профессор университета имени Т. Г. Масарика (г. Брно, Чешская республика) Иво Поспишил. Он является не только автором ряда монографий и серии статей о русском писателе, но и организатором регулярно проводимого в Масариковом университете коллоквиума, посвященного наследию Лескова.

В последнее десятилетие среди постоянных участников этого коллоквиума была и автор рецензируемой монографии, крупнейший на сегодняшний день специалист по творчеству Лескова в Польше, Марта Лукашевич. Во время работы над монографией Лукашевич занимала должность адъюнкта кафедры русистики Варшавского университета. В издательстве университета на русском языке и вышла эта книга.

Объем монографии, заголовок которой — по сравнению с объемом и шириной охваченных в монографии тем и материала — звучит довольно скромно, впечатляет. Около 550 страниц убористого текста, почти 615 пунктов в библиографии, среди которых 220(!) первоисточников, 800 имен в именном указателе. Научной ценности монографии добавляет и то, что в качестве материала исследования привлекается почти 70 публицистических статей и заметок Лескова, которые до сих пор не переизданы и цитируются по журнальным и газетным публикациям. Многие из них впервые вводятся в научный оборот.

Выбранная Лукашевич в качестве своеобразного эпиграфа к монографии малоизвестная лесковская цитата — «Я не враг Церкви, а ее друг... и уверенный православный» — подчеркнуто проблемна, что очевидно каждому читателю, который хорошо знаком с биографией и творчеством Лескова. Более того, вопрос о том, был ли все-таки писатель «другом» православной церкви, в современном лесковедении до сих пор однозначно не решен. Конечно, приверженность идеалам Русской православной церкви раннего Лескова — автора «Некуда» и яркого критика «демократических» писателей во главе с А. И. Герценом — или Лескова-семидесятника — автора «Соборян» — не может быть подвержена сомнению. Но как же тогда относиться к Лескову — автору «Мелочей архиерейской жизни»? Лескову, вступившему в полемику с о. Иоанном (Сергеевым) Кронштадским? Наконец, Лескову — последователю идей Л. Н. Толстого, взгляды которого, как известно, привели последнего к отлучению от Церкви?

К сожалению, формат и цели рецензируемой монографии не предполагают развернутого анализа этих действительно проблемных, а возможно, и ключевых для позднего творчества писателя вопросов. Выбранная исследовательницей цитата, как следует из прочтения монографии, — это, скорее, констатация: да, несмотря на все эти факты, Лесков все-таки осознавал и позиционировал себя как православный человек. Однако православие писателя было далеко от всяких шабло-

нов и стереотипов. Каким же было это православие? И — главное — как оно проявилось в писательском творчестве (преимущественно публицистическом)? Скорее, именно на эти вопросы и дает ответ рецензируемая монография.

Композиция книги удивляет своей продуманностью и четкостью. Монография состоит из 6 глав, каждая из которых посвящена отдельной проблеме религиозной жизни российского общества: взаимоотношения церкви и государства, выборности и самоуправления в церковной жизни, духовного образования, положения приходского духовенства, роли и места в обществе монастырей. Перечисление проблем демонстрирует основной ракурс, с которого смотрит Лукашевич на вопрос о религиозных взглядах Лескова: Православие в монографии рассмотрено преимущественно в социальном аспекте, как социальный институт и в тесном взаимодействии с другими социальными институтами Российской империи.

Акцент на социальном — не исследовательская вольность, он объясняется тем, что именно эта сторона религиозной жизни оказалась в центре внимания русской общественной мысли второй половины XIX в. Как отмечает Лукашевич в первой главе исследования, это время — время кризиса религиозной жизни, когда все больше людей стали испытывать сомнения в необходимости функционирования Церкви как социального института, противопоставив этому «институту» личную религиозность. Реакцией на этот кризис во многом и стали церковные реформы 1860–1870-х гг., реализация которых явилась основной исторической предпосылкой того активного обсуждения в прессе проблем религиозной жизни, которое и исследуется в монографии.

Выбранный Лукашевич ракурс исследования хорошо прослеживается в структуре каждой главы: все части работы состоят из трех параграфов. Первый параграф всегда посвящен широкому историческому контексту, в котором рассматривается тот или иной социальный аспект религиозной жизни. Второй — контексту культурному и литературному, и, наконец, в третьем параграфе речь идет о взгляде Лескова на заинтересовавшую его религиозную проблему. Например, третья глава, посвященная вопросу о выборности в церковной среде, состоит из трех следующих параграфов: в первом рассмотрено административное устройство Русской православной церкви в XIX в., во втором проанализированы дискуссии в прессе о попытках воплощения новых форм

церковного управления, название третьего параграфа говорит само за себя: «Византийская рутинка и разъединенность как главные проблемы церковного управления в публицистике Лескова» [Лукашевич: 5].

Подобная структура работы кажется удачной и целесообразной: она позволяет Лукашевич объединить в единое целое огромный фактический материал и представить широкую панораму российской религиозной жизни второй половины XIX в., в контексте которой, исходя из задач монографии, и проанализировано творчество Лескова. Избранный исследовательницей ракурс обеспечивает и новизну работы.

Впрочем, последняя определяется также тем, что внимание автора сосредоточено на рассмотрении наименее изученного пласта прозы Лескова — его публицистики. Публицистичность закономерно оценивается Лукашевич как важнейшее свойство литературы интересующего ее периода в целом, в случае же Лескова публицистический дискурс необходим не только для выражения автором собственной позиции по актуальным общественным вопросам, но служит также базой для эстетического эксперимента: публицистические стилевые особенности непосредственно повлияли на художественные произведения Лескова, породив особый пограничный жанр художественного очерка. В единстве формы и содержания и анализируются польским филологом многочисленные публицистические высказывания писателя, посвященные актуальным вопросам социальной жизни Церкви.

Начинает свой анализ Лукашевич с одного из самых болезненных для российского общественного самосознания вопросов — проблемы взаимодействия церкви и государства. В результате анализа документальных источников во второй главе книги Лукашевич приходит к выводу о том, что эта проблема уходит своими корнями преимущественно в период правления Петра I, когда был образован Синод (1721) и ликвидирован институт патриаршества (восстановлен в 1917 г.). С этого времени Церковь попала в стесненное, зависимое от государства положение. В публицистике XIX в. эту тесную зависимость духовной власти от власти светской возводили к традициям византийской государственности и называли специфическим термином «византийство» («византизм»). Как отмечает Лукашевич, с негативными оценками «византизма» в XIX в. выступали многочисленные публицисты разных «лагерей», от славянофильски ориентированных (И. С. Аксаков,

С. П. Шевырев, А. С. Хомяков) до представителей демократической критики (Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский).

Проблема «византизма», как известно, широко присутствовала в публицистике Лескова. Наиболее полно она раскрыта в привлекаемых Лукашевич очерках «Борьба за преобладание» («Синодальные персоны»), «Райский змей», «Сибирские картинки XVIII века», цикле прибалтийских очерков («Русские деятели в Остзейском крае», «Ирродова работа» и т. д.) Анализ позиции Лескова по проблеме взаимоотношения православия и государства приводит Лукашевич к достаточно парадоксальному, но вполне объяснимому в контексте творчества Лескова выводу. Писатель, безусловно, отрицательно оценивал зависимость духовной власти от светского управления, однако он не считал возвращение патриаршества основным выходом из этой ситуации. В некоторых из своих произведений Лесков даже поддерживал петровскую идею ограничения власти епископата. Причиной подобных резких взглядов, не совпадавших с основным направлением публицистической мысли, был тот факт, что главными для писателя были не социальные, а нравственные причины. Как точно отмечает Лукашевич, для Лескова первостепенна не форма (патриаршество или синодальное управление), а поведение и решения конкретных личностей, их умение и смелость открыто защищать свою позицию.

Третья глава книги — «Выборность и самоуправление или архиерейское всевластие: “желаемое благоустройство нашей духовной администрации”» — посвящена, как кажется, менее острому, но вызвавшему столь же горячие дискуссии в прессе второй половины XIX в. вопросу внутрицерковного управления. В результате реформ Александра II стало возможным открытое обсуждение и критика таких внутрицерковных проблем, как чиновничество, взяточничество и т. п. Интересно, что публикации подобного рода встречались не только в изданиях демократической направленности («Современник», «Русское слово»), но главным образом в основном органе славянофильства — московской газете И. С. Аксакова «День». Как отмечает Лукашевич, в этой газете утверждение несомненной ценности православия сочеталось с критикой реальной церковной жизни.

Другими проблемами православия, которые анализируются в главе, выступают вопросы выборности и самоуправления, прихода и расширения его прав, а также преобразования церковного суда. Эти

проблемы исследуются на материале малоизученных работ Лескова «Об участии народа в церковных делах», «О христианских братствах в России», «Церковно-приходское хозяйство» и др. Кроме того, Лукашевич отдельно останавливается на исследовании, пожалуй, наиболее спорного лесковского текста на эту тему — цикла очерков «Мелочи архиерейской жизни». Как известно, это произведение быстро приобрело скандальную популярность и стало объектом резкой критики, в том числе со стороны И. С. Аксакова, который до выхода книги очень высоко оценивал лесковскую прозу, посвященную вопросам религиозной жизни.

Проведенный Лукашевич анализ показывает, что, несмотря на расхождение с позицией Аксакова по поводу «Мелочей архиерейской жизни», в целом взгляд Лескова на проблемы внутрицерковного управления был весьма близок славянофилам. Писатель смотрел на Церковь не как на сложившуюся структуру, но как на живой организм, способный меняться. Как доказывает Лукашевич, эта точка зрения Лескова совпадает с взглядами А. С. Хомякова. Анализ статей писателя, посвященных специальным проблемам церковного управления (епископских объездов, духовного суда, брачного законодательства), приводит исследовательницу к выводам не только о том, что Лесков, пожалуй, как ни один из его писателей-современников, хорошо знал подробности церковного быта, но и о том, что в каждом из этих произведений писатель остается верным утверждению идеала простоты и естественности внутрицерковных отношений. Лесков настойчиво указывает также на необходимость укрепления связи между пастырем и народом.

Проблемам пастырства и духовного наставничества, по мнению Лукашевич, особенно актуальным для Лескова на протяжении всей его жизни, польская исследовательница посвящает две следующие главы монографии, на наш взгляд, самые удачные во всей книге в целом. Первая из них — «Проблемы духовного образования в публицистике и беллетристике второй половины XIX века» — знакомит читателей с вопросом о подготовке будущих пастырей. Как всегда, Лукашевич отталкивается от социальных условий и лаконично освящает состояние духовного образования к середине XIX в., подробно останавливаясь на реформах образования 1808–1814, 1840-х и, конечно, 1860-х гг. Реформа 1860-х гг. способствовала, главным образом, тому, чтобы духовное образование стало более открытым и в определенной мере сблизилось

со светским. Не случайно одним из ее положений было разрешение обучаться в семинарии всем желающим, а не только детям священнослужителей, а также — не менее важно — открытость семинарии «на выходе», т. е. возможность семинаристам продолжить свое образование в светских высших учебных учреждениях и даже выбрать себе профессиональную деятельность, не связанную со священнослужением. Впрочем, справедливости ради, Лукашевич отмечает, что уже в 1879 г. возможность поступления выпускников семинарий в университет была отменена в связи со значительным уменьшением числа кандидатов в священники [Лукашевич: 238].

В обстановке относительной гласности, установившейся в русском обществе в 1860–1870-е гг., не вызывает удивления тот факт, что реформы духовного образования вызвали бурную дискуссию. Сделанный Лукашевич анализ многочисленных публикаций этого периода демонстрирует, что в обществе присутствовали полярные взгляды на эту проблему, крайней позицией была идея об устранении семинарий в целом и открытии богословских факультетов при светских учреждениях. Более умеренных взглядов придерживались те, кто указывал на необходимость реформирования семинарий. Но всех публицистов объединяла критика семинарского образования, каким оно сложилось к середине XIX в.: особенно часто подчеркивался низкий уровень бытового обеспечения семинарий, недостаток материальной помощи, низкий уровень образования.

Для выяснения позиции Лескова по проблемам духовного образования Лукашевич вновь обращается к малоизученной публицистике писателя — статьям «Эмансипированные семинаристы», «Семинарские манеры», «Таинственные книги», «Академический магистр» и др. Исследовательница отмечает, что Лесков в них в очередной раз выступает как полемист: он отказывается от ставшей к тому времени традиционной критики материального и бытового положения бурсы, но делает акцент на нравственной составляющей подготовки будущих священнослужителей. Писатель указывает на недостаток умений у молодых священников, необходимых для общения с крестьянством, с одной стороны, и дворянством, с другой. По мнению Лескова, духовное образование — это, прежде всего, средство формирования пастырей. Писатель рассматривал процесс обучения священников как одну из граней вопроса нравственного состояния рус-

ского общества на пути его духовного и умственного просвещения и возрождения.

Подробному анализу темы общественного и пастырского призвания духовенства в публицистике 1860-х гг. в целом и в прозе Лескова в частности посвящена пятая, самая значительная по объему глава монографии — «“Того бо ради пастырский чин от Бога уставлен, дабы от Священного Писания научал вверенное себе стадо”»: положение и призвание приходского духовенства». В начале главы Лукашевич дает общую характеристику положения приходского духовенства в синодальный период. Она отмечает, что к середине XIX в. сложилась особая «клерикальная субкультура», которая способствовала маргинализации духовного сословия. Замкнутость слоя священнослужителей была преодолена в ходе реформ 1860-х гг., которые привели к преодолению сословной ограниченности и профессионализации священства.

Изменение статуса и роли священнослужителя в обществе стали важной гранью в полемике о Русской Церкви в обществе второй половины XIX в. Эта дискуссия привлекает особое внимание Лукашевич. Показательно, что именно в посвященной этой теме главе монографии исследовательница обращается не только к публицистическим, но и к беллетристическим произведениям писателей 1860–1890-х гг., что, безусловно, придает главе большую научную широту и интерес. Именно материальное положение и общественный статус приходского духовенства польский филолог выделяет как главные темы, поднятые во второй половине 1850-х гг. в дискуссиях о положении Церкви в России. В первое время, особенно в светских изданиях, преобладал обличительный тон. Как отмечает Лукашевич, публицистами подчеркивалось, что такие распространенные среди русских людей слабости и пороки, как «пьянство, невежество или грубость, влияют на нравственное состояние духовных лиц, являющихся обычными людьми с множеством земных забот» [Лукашевич: 275].

Впоследствии эта крайность была преодолена, и в публицистике — а за ней и в беллетристике — сформировалась оппозиция, когда негативному образу пастыря, «скопидому» [Лукашевич: 292], «наемнику» и «требоисполнителю» был противопоставлен иной образ священнослужения, основой которого считалась «глубокая вера, которой сопутствовали такие черты, как благочестие, внимательность к окружающему миру, в особенности к потребностям других людей, достоинство

и в то же время смирение и скромность» [Лукашевич: 290]. Круг деятельности пастыря при этом оставался вполне традиционным, в него входили духовные беседы, проповедь, борьба с суевериями, посещение больных и умирающих и т. п.

Интересно и следующее наблюдение польской исследовательницы: охарактеризованная ею оппозиция «пастырь» — «наемник» часто реализуется с помощью конфликта представителей двух поколений духовенства, старшего и младшего. Однако, как отмечает Лукашевич, молодое поколение священников не было однородным, в него входили представители разных направлений и течений, что также отразилось в публицистике и беллетристике тех лет. «Молодой священник» мог быть представлен и как «добрый пастырь», активный приходской деятель, порывающий с рутинной «отцов», но и как «светский франт, новаторство которого сводилось лишь к громким словам и заявлениям в соединении со стремлением отказаться от традиций духовного сословия и уподобить свой внешний вид и образ жизни дворянству» [Лукашевич: 293].

В утверждении нового взгляда на священнослужителя публицистика и беллетристика (Лукашевич анализирует произведения Н. Хвоцинской, публиковавшейся под псевдонимом В. Крестовский, И. Никитина, Ф. Решетникова, М. Осокина, Марко Вовчка — псевдоним Марии Вилинской-Маркович) оказываются тесно переплетенными. Как подчеркивает Лукашевич, и публицистическая, и художественная литература были направлены на достижение одинаковых целей — изменение общественного положения духовенства. По мнению исследовательницы, сдвиг в самосознании священников и изменении их статуса в обществе выразились в деятельности Иоанна Кронштадского — первого канонизированного приходского священника, пользовавшегося авторитетом и популярностью в обществе.

Вопрос пастырского призвания священнослужителя в творчестве Лескова предстает перед читателем разными гранями: от проблемы взаимоотношения священника с паствой, прежде всего крестьянской, до создания образов известнейших приходских священников XIX в. Для того чтобы сформулировать авторский идеал священнослужителя, Лукашевич прибегает к цитате из статьи Лескова, в которой писатель приводит совет старца Ионы: «Не живите особняком от народа, а живите так, чтобы знать каждого прихожанина, и быт его домашний, и

совесть, и огорчения... вот и будете своя от своих и станете пастырем» [Лукашевич: 305].

Показательно, что если в публицистике Лесков был достаточно однозначен в утверждении своих взглядов на проблемы взаимоотношения священника с приходом, то в беллетристике писатель показал сложность и нелинейность отношений самого «доброе» пастыря с его паствой. Как точно пишет Лукашевич, по «глубокому убеждению Лескова», «русский народ не знал заповедей и удивительным образом сочетал в себе прирожденное нравственное чутье с жестокостью и невежественностью» [Лукашевич: 314]. Поэтому подготовку священников к просветительскому служению среди крестьян писатель считал важнейшей задачей духовной школы. Народными просветителями представлены лучшие герои-священники Лескова: отец Алексей из рассказа «Погасшее дело» («Засуха»), протопоп Савелий Туберозов из романа-хроники «Соборяне». И тем не менее в каждом из этих текстов священнослужитель показан как лицо трагическое и одинокое, как человек, который не может найти глубокого понимания со стороны своих прихожан.

В публицистических и художественных произведениях, посвященных приходскому духовенству, Лесков часто прибегал к документальным подробностям и обращался к примерам реальных священников. Лукашевич рассматривает рецепцию писателем деятельности о. Александра Гумилевского, петербургского священника, основавшего при своей церкви в 1863 г. Рождественское братство, которое занималось обширной благотворительностью и просветительской работой. Сделанный исследовательницей анализ демонстрирует, что восприятие деятельности о. Александра Лесковым не было статичным и зависело от эволюции писательского мировоззрения. В 1860–1870-х гг. писатель оценивал его личность исключительно высоко. Между тем к концу жизни, когда взгляды Лескова на Русскую православную церковь, как известно, изменились не в лучшую сторону, в его творчестве появились негативные отклики о личности священнослужителя.

Пожалуй, наиболее спорная страница поздней биографии Лескова — его отношения к о. Иоанну Кронштадскому. Лукашевич, безусловно, не смогла избежать анализа и оценки этой стороны лесковского творчества. Исследовательница оправданно связывает отрицательные отзывы Лескова об о. Иоанне с антитолстовскими выступлениями по-

следнего: как известно, в 1880-е гг. Лесков с большим пиететом относился к деятельности Толстого. Между тем в 1890-е гг., когда Лесков несколько охладел по отношению к Толстому и особенно неприязненно стал относиться к толстовцам, в его прозе изменился — в лучшую сторону — и облик о. Иоанна, что наиболее ярко отразилось в повести «Полунощники».

Начиная с 1870-х гг. Лесков стал освещать очень существенную для него проблему неподготовленности духовенства к пастырской деятельности, которая, по мнению писателя, была одной из весомых причин распространенности в России разнообразных религиозных движений, в том числе старообрядчества и протестантизма. Сделанный Лукашевич подробный анализ публицистики Лескова, посвященной этому вопросу, приводит ее к выводу о том, что «лучшим способом противостояния распространению неправославных религиозных движений публицист считал не борьбу с ними, а духовное возрождение Церкви, оживление ее просветительской и благотворительной деятельности, повышение умственного и нравственного уровня духовенства» [Лукашевич: 404]. При этом писатель полагал, что путь к улучшению церковной жизни лежит именно в развитии образования и просвещения, а не в идеализированном прошлом, к которому постоянно обращались в своих поисках консерваторы. Исторические очерки Лескова свидетельствуют, что нравы и обычаи духовенства в прошлом зачастую были даже хуже современных.

Последняя глава монографии — «Монастыри и монахи в меняющемся обществе эпохи реформ» — по своей проблематике, как видно уже из ее названия, несколько выходит за рамки книги. Если обсуждавшиеся до этого вопросы церковной жизни были напрямую инициированы реформами второй половины XIX в., то, как подчеркивает Лукашевич, «церковные реформы 1860-х – 1870-х гг. почти не коснулись монастырей» [Лукашевич: 414]. Монашеская жизнь, не став объектом пристального внимания церковных реформаторов, в меньшей степени, чем ранее поднятые исследовательницей проблемы, привлекла и интерес публицистов. «Монастырский вопрос» касался двух главных проблем: роли монашества в церковной жизни и устройства монастырей [Лукашевич: 415]. Между тем и в этой главе содержится ряд интересных наблюдений по поводу проблематики и поэтики лесковских произведений. Так, исследовательница утверждает, что, по мнению

писателя, «высокий уровень нравственности насельников, их трудовой и молитвенный подвиг привлекают людей в большей степени, чем чудотворные иконы и мощи святых» [Лукашевич: 471]. Значим и вывод Лукашевич о том, что «монастырский вопрос» появился у Лескова сначала в беллетристике и путевом очерке и «лишь затем вошел в его проблемные статьи, в отличие от других церковных проблем, которые писатель сначала рассматривал в публицистике и потом претворял в художественные образы» [Лукашевич: 472].

Монография польской исследовательницы предлагает русскому читателю — а именно на него и ориентирована в первую очередь книга, ведь она написана на русском языке — новый взгляд на творчество классика русской литературы второй половины XIX в., Николая Лескова. В монографии нарисован живой портрет Лескова — глубокого знатока весьма специальных вопросов церковной жизни Российской империи. Малознакомая даже специалистам, не говоря уже о широких кругах ценителей русской литературы, публицистика писателя стала той призмой, которая позволила Лукашевич собрать в единое целое пеструю мозаику мнений, взглядов на центральные проблемы Русской православной церкви синодального периода.

Реформы 1860–1870-х гг. инициировали небывалую по силе дискуссию по поводу вопроса о состоянии Церкви в России. По глубине поднятых и осмысленных тем, как и по охвату вовлеченных в эту дискуссию крупнейших русских писателей и мыслителей, от Л. Н. Толстого до Иоанна Кронштадского, от Н. Г. Чернышевского до И. С. Аксакова (вспомним 800 имен в именном указателе книги), эта дискуссия, безусловно, не имеет аналогов ни в прошлом, ни в настоящем нашей страны. Проведенная в ходе ее серьезнейшая рефлексия стала основным фактором подготовки к внутрицерковной реформе, которую отчасти реализовал поместный собор 1917–1918 гг.

Сделанный Лукашевич анализ показывает, что в ходе дискуссии Лесков проявил себя не только как глубокий специалист по вопросам религиозной жизни, но и как яркий полемист, не боявшийся утверждать свою точку зрения, даже если она была явно «против» господствующих «течений» (если воспользоваться удачным выражением А. И. Фаресова). Православие писателя предполагало оправданный максимализм в утверждении собственного взгляда на проблемы взаимоотношения церкви и государства, места прихода в церковной жизни, духовного

образования, роли и статуса священнослужителя в обществе. Объединяло разнообразные высказывания Лескова о Церкви главное — постоянный примат личности; утверждение большей роли частного, а не официального; нравственного, а не социального. Идеал сострадания и деятельной любви, пронизывающий прозу писателя на протяжении всего его творчества, стал той мерой, с которой Лесков подходил к человеческой личности. А акцентирование писателем индивидуального опыта церковной жизни, как точно отмечает Лукашевич, стало вкладом писателя в формирование специфического типа религиозности нового времени.

Список литературы

Исследования

Лукашевич М. «Я не враг Церкви, а ее друг... и уверенный православный». Церковная проблематика в публицистике Николая Лескова. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. 542 s.

References

Lukashevich, Marta. *“Ja ne vrag Tserkvi, a ee drug... i uverennyi pravoslavnyi”*. *Tserkovnaia problematika v publitsistike Nikolaia Leskova* [“*I am not an Enemy of the Church, but Her Friend ... and a Confident Orthodox.*” *Church Problems in Nikolai Leskov’s Journalism*]. Warsaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Publ., 2019. 542 p. (In Russ.)

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

Научный журнал
Два века русской классики / Two centuries of the Russian classics



2021 — Т. 3 — № 1

Учредитель и издатель
Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук

Главный редактор
Щербакова Марина Ивановна
доктор филологических наук, профессор,
заведующая отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН

Дизайн обложки и макет журнала **Компьютерная верстка**
Д. К. Бернштейн А. З. Бернштейн

Корректор
В. Г. Андреева

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации: ПИ № Эл 77-76366 от 02.08.2019 г.

Адрес учредителя, редакции и издателя:
121069, Москва, ул. Поварская, 25а

Тел.: (495)690-50-30

E-mail: journal_ork@mail.ru

Сайт журнала: www.rusklassika.ru

Дата размещения сетевого издания в сети Интернет
на официальном сайте <http://rusklassika.ru> 22.03.2021 г.

При перепечатке ссылка обязательна

16+

Ученым
мировой ре-
путации
и.

А. М. Топько
РА

Москва